

Р2
В-35

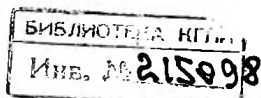


ВЕРСТЫ МУЖЕСТВА

42
В-35



ВЕРСТЫ МУЖЕСТВА



Издательство • СОВЕТСКАЯ РОССИЯ •
МОСКВА-1975

P2
B35

Составитель Н. И. КАМБУЛОВ

820218

В 70302-155 102-75
М-105(03)75

ВО ДНИ ТОРЖЕСТВ И БЕД НАРОДНЫХ

В бурном потоке жизни стремительно проходят годы и десятилетия. Да, время идет быстро. Кажется, еще совсем недавно мы торжественно отметили четверть века со Дня Победы советского народа и его героической армии в Великой Отечественной войне, и вот уже пришел 1975 год, знаменующий собой тридцатипятилетие с той поры, как на землях Европы смокли пушки самой кровопролитной и разрушительной войны, навязанной фашистской Германией советскому народу и народам Европы.

Девятого мая 1945 года советские солдаты, пройдя тысячи километров тяжелой дорогой ожесточенных боев и сражений, от имени Родины подружили Знамя Победы в центре гитлеровской Германии как символ непокориемости первого в мире государства рабочих и крестьян и надежды на светлое будущее всех прогрессивных сил мира.

Ураган войны, ворвавшийся на нашу землю ранним утром 22 июня 1941 года, грозил уничтожить все завоевания Великой Октябрьской социалистической революции, поработить народы Советского Союза.

По зову ленинской партии и Советского правительства страпа тружеников, творцов и мечтателей, могучая и разгневанная, поднялась на священную войну единым боевым лагерем. Перед советскими людьми, солдатами Советской Армии и Военно-Морского Флота грозное время поставило трудную и благородную, всемирно-историческую задачу — не только защитить честь и свободу своей социалистической Родины, но и выполнить свой интернациональный долг в отношении порабощенных фашистскими ордами народов Европы.

Война с первых же дней стала всенародной. В ней испытывалась убежденность и стойкость как отдельной личности, так и всего общества, проявилась полная слитность патриотизма и интернационализма. С особой яркостью война раскрыла богатый внутренний мир советского человека, его неиссякаемый оптимизм,

являвшийся источником безмерного мужества. Подвиг стал поимой поведения каждого гражданина Страны Советов, а сам героизм принял подлинно всеародный характер.

Все это не могло не привлечь и по сей день привлекает внимание художников, живущих интересами народа и поставивших своей целью воспеть красоту и силу человеческого духа. Вот почему десятки писателей Российской Федерации с первых дней войны вступили на солдатскую дорогу, оказались в действующей армии сотрудниками дивизионных, армейских, фронтовых газет и корреспондентами центральной прессы. Немало российских литераторов, как и литераторов других советских республик, влились в действующие войска рядовыми бойцами, командирами и политработниками подразделений и частей и непосредственно с оружием в руках ковали победу.

В годы Великой Отечественной войны советские писатели вновь и вновь проявили себя как истинные патриоты социалистической Отчизны, кровно связанные со своим народом и живущие его интересами и судьбами. Голос их,— как сказал наш великий русский поэт,— поистине

Звучал как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.

Одно из свидетельств тому — многолетняя Всероссийская библиотека «Подвиг», учрежденная пять лет тому назад Государственным комитетом по печати, полиграфии и книжной торговле Совета Министров РСФСР и Правлением Союза писателей Российской Федерации. За пять лет в этой серии вышло свыше ста томов прозаических и поэтических произведений, воспевающих ратный и патриотический подвиг советского человека. В библиотеке «Подвиг» вышли произведения таких мастеров слова, как Александр Фадеев, Александр Серафимович, Дмитрий Фурманов, Леопид Леопов, Михаил Шолохов, Александр Твардовский, Леонид Соболев, Константин Симонов, Борис Полевой, Виталий Закруткин, Юрий Бондарев, и многих других известных прозаиков и поэтов, абсолютное большинство которых — бывшие фронтовики, художники, пропустившие через собственное сердце боль, тяжесть войны и торжество победы.

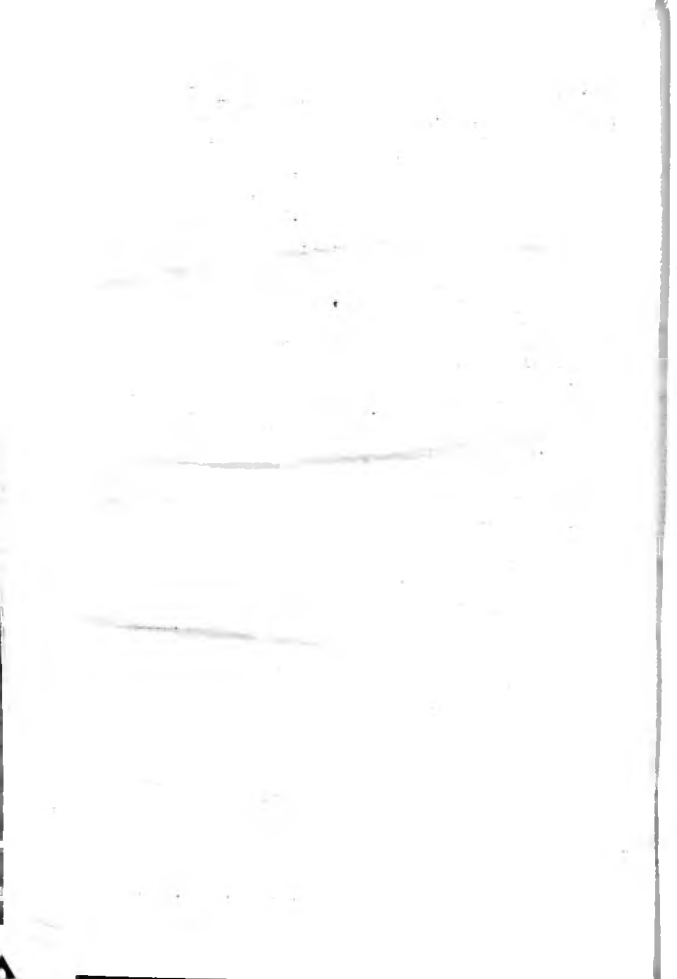
Не потому ли,— если взглянуть на нашу художественную литературу, воспевающую ратный и патриотический подвиг советского человека, в глубоком и широком плаве,— не потому ли ее честный и утверждающий голос слышен далеко за пределами нашей страны, звучит вечным пабатов, зовущим людей к миру, пабатов, обращенным к человеческому разуму!

Сборник «Версты мужества» — очередной том Всероссийской библиотеки «Подвиг». Он поступает к читателям в знаменательные и торжественные дни. В него включены рассказы, написанные и по горячим следам фронтовых событий в землянках, окопах, на аэродромах и партизанских лесах, и по прошествии времени, «памятью войны». Короче говоря, это — именно версты нашей художественной военно-патриотической литературы, выдержавшей проверку временем. Вспомните, какую колоссальную, поистине захватывающую душу силу воздействия имели такие рассказы, как «Русский характер» Алексея Толстого, «Март — апрель» Вадима Кожовникова, «Судьба человека» Михаила Шолохова! Исполненные преклонением перед всепародным подвигом, воспроизводящие подлинное положение дел на фронте и звучащие неистребимой верой в победу над врагом, они волнуют наше воображение своей идейно-художественной высотой, примером гражданского долга писателя.

Рассказы, собранные в этот том, — большое полотно, взволнованно повествующее о людях подвига, людях, раскрывающих свою душу и мысли на трудных верстах жизни. Вместе с тем этот том Всероссийской библиотеки «Подвиг» утверждает силу и значимость жанра рассказа на всех этапах развития нашей советской художественной литературы, которая всегда с пародом и «во дни торжеств и бед пародных».

Давно утихла буря войны, отшумели годы, десятилетия... Страна охвачена великим пафосом мирного строительства. Героизм советского человека, выросший в годы войны в «подвиг парода», и ныне — самая яркая черта советского образа жизни. Слово писателя о ратном и трудовом подвиге, стало быть, не уходит в отставку. Слово «подвиг» священо, как и слова «Родина» и «мать», олицетворяющие нравственный дух поколений.

Михаил АЛЕКСЕЕВ



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, — который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев, я рассказывать не стану, хотя он и носит Золотую Звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает потную лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке — ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого с изъязном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете, и за границей побываешь, но русским званием гордись...»

У него была испека из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесить.

Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но и отца с матерью, и даже животных...» — «Тыфу, бестолковый! — скажет третий. — Любовь, это когда в тебе все кипит, человек ходит вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть. Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь упомянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уж если сказала, что будет ждать, — дождется, хотя бы он вернётся на одной ноге.

Про военные подвиги он тоже не любил разглаживать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его тапка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилов.

«...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горюшки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед, — кричит, — полный газ!..» Я и давай по ельнику маскироваться — вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как следой, ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок — брызги! Как даст еще в башню — он и хобот задрал... Как даст в третий — у тигра изо всех щелей повалил дым, пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Вапья Лапшин из пулемета повел — они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезжизнотел... Фашисты кто куда... А грязно, понимаешь, — другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант даст мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и паехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще — и проутюжил, — остальные руки вверх — и Гитлер капут...»

Так и воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда тапк загорелся. Водитель Чувилов, выскочивший через передний люк, опять взобрался на брону и успел вытащить лейтенанта — он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилов оттащил лейтенанта, тапк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло

метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев. — Слышу, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что мостами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он глянул на свое и теперь не свое лицо. Медсестра, подававшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод, по это делу не помешает, боеспособность восстанавливаю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студеной ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской пасивистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать — при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала поужинать. Все в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он открыл калитку, вошел по дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам будто в первый раз слышал свой голос, изменившийся после всех операций, — хриплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.

— Марья Поликарповна привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

— Жив Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да зайди ты в избу.

Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу, и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя — подробно, как он ест, как пьет, но терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи, страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо гемными, его не видящими глазами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, — бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша разматал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку — ах, знакомая была широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивал, потому что и без того было понятно, зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться — встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.

— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. — Егор Егорович открыл дверцу старепького шкапчика, где в уголку палево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке — они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком — он там и стоял, — где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку

с вином — всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как и в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна, и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перепили, теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездить на побывку. Три года его не видала, чай, взрослый стал, с усам ходит... Эдак — каждый день — около смерти, чай и голос у него стал грубый?

— Да вот придет — может, и не узнаете, — сказал лейтенант.

Спать ему отвоили на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овечьей, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал под крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печки; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинчики пшеничные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, зацепил пояс, и — босой — сел на лавку.

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил ей непременно передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя — поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой

представлялась ему подруга — свежа, нежна, весела, добра, красива так, что вот пришла, и вся изба стала золотая...

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А я уж его жду и день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твердо решил уйти — сегодня же.

Мать напекла пышных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его вонпских подвигах, — рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, оставившись, ударял ладонями себе в лицо, повторял сильным голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его с такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так, — пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати — эту занозу он на сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя — человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, — кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это, — совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын — разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если это был бы он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорил меня Егор Егорович, а материнское сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его выпесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу, — он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня — что было? Или уж вразравду — с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее — на четырех страницах мелким почерком, — он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, прибегает солдат и — Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Визжу — он не в себе, все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — первый». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу:

«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я — не попал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, — а я уже помпал, что всем богатырским сложенцем это был бог войны. «Катя! — говорит он. — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает, — а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собиралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимется в нем великая сила — человеческая красота.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Евгений Григорьевич Левицкий
члену КПСС с 1903 года

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону изредкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом яога и балки, взломан лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроезды.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Буковинскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров, — но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая построженные тащили тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах, под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустальный поблескивающий на солнце ледок, и тащиться по нему было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхам пойме разлилась на целый километр. Переправляться надобно было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозно-

сарас нас ожидал старепький, выдавший виды «впиллкс», оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили непадежную посудину и вытершивали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Елапки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде,— часа через два приедем, раньше не идите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом пачале песпы. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихонерских степей, топувших в сирпевой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению, обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлекаю из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я падеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерко мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с маши-

пой, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным басом:

— Здорово, браток!

— Здравствуй.— Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездим, а он вот эту маленькую машинку голяет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленным, удивленно приподнял белесые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины толстый вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагаешь — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотицу приравниваться. Там, где мне надо раз шагнуть, — я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или леднику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мужицкое это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком.— Он помолчал немного, потом спросил: — А ты что же, браток, свое печальство ждешь?

Мне было неудобно разуверять его в том, что я не шофер, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Но знаешь, скоро ли подойдет лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу свой брат-шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить и помпирать тошно. А ты богато живешь, папирски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак мочелый, что копь лечебный, винуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисот, развернул его, и я успел прочесть вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебединской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая пужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне пришлось, браток, хлебнуть горюшка по поздрп и выше.

Он положил па колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выломал из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивая какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Ипой раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при лсном солнышке... Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милоч, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятшек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только, гляди, ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно, странное па мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, по добротно: и в том, как сшила па нем подбитая легкой, попошепной цигейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их па шерстяной носок, и очень искусный шов па разорванном когда-то рукаве курточки — все выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный и несколькох местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка па выпошепных защитных штанах не пришита как следует, а скорее паживлена широкими, мужскими стелками; па нем были почти новые солдатские ботинки, по

плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух.

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятисотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, пшачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родня — хоть шаром покати, — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почему фунт лиха стоит, может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом недостатке сладкий кусок тебе приготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обвинишь ее, скажешь: «Прости, милая Ирешка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрепаанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие крепделя ногами выписываешь, что со стороны небось глядеть страшно. Тесна тебе улица, да и табачи, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе утреха, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Ирешка, да и то осторожно, чтобы я спянку не обиделся. Разует меня и шепчет:

«Ложись к степке, Андрияша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все похлывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое, жалеет, зная...

Утром она меня часа за два до работы на погн подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленный или еще что-нибудь по легкости, нальет граппеный стаканчик водки. «Похмелись, Андрияша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу, как миленький. А скажи она мне хмельному слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как бог свят, и на второй день напился. Так и бывает в иных семьях, где жена дура; посмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сыпишка родился, через года еще две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю помучку домой песу, семья стала числом порядочная, но до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса...

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им, страсть как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовой и коридорчиком. Ириша купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою

есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я целовко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авпазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот опа, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ириша, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей — не без того, посверкивали слезилки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ириша моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез по просыхала, и утром такая же история... Ириша на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, бесмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а опа упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки ее уговаривают и я, — ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Ириша! Скажи мне хоть слово на прощанье». Опа и говорит и за каждым словом всхлипывает: «Роденький мой... Андрюша... не увидимся... мы с тобой... больше... на этом... свете...»

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывалось, а тут опа с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья: опа попятилась, шага три ступила назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени живню хоронишь?» Ну, опять обнял ее, вижу, что не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то хлопочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, поцупо сложив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...

— Не падо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не слышал моих слов и, каким-то огромным

усплелым волн поборов полпение, вдруг сказал охрипшим, страшно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!..

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал круточку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детшками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих. Гляжу, детшки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не моргнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез... По большей части такой я ее и во сне всегда вижу... Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспоминаю, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне ЗИС-5. На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе ничего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно было написать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог таких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди убьют. И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим несчастным бабелкам и детшкам не слаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашими женщинам и детшкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — трудящую женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу! Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе

бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там я без тебя вою много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, по мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша двадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить потому, что бой приближался к нам: слева чьи-то танки прелят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным...

Командир нашей роты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи моп, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я должен проскочить, и basta!» — «Ну, — говорит, — дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная — пехотка наша и справа и слева от грейдера по чистому полю сыпет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю повсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, по пришлось... Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слышал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета — не воображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темнеет, в левом плече что-то скрипит и похру-

стыбает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе слюзил, по кос-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что лягу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомился и огляделся как следует, — сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какпе я вез, неподалеку моя машина, вся в ключья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то уже сзади меня идет... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный, потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, пелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.

Ну вот, стало быть, лежу я и слышу: тапки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу пропли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал. Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в стах от меня. Гляжу, спарачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот, — думаю, — и смерть моя на подходе». Я сол, неохота лежать помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат спял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы топкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается», — соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, — а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать,

пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, эпатит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Тонай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся к моим сапогам, а они у меня с виду были хорошие, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него сверху вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Выполнил я на дороге, выругался страшным кучерявым, поропежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был пикудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гони их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, повалился со мною и, не говоря худого слова, потыкаешь хлыстом меня ручкой автомата по голове. Упал я, — и он пришил бы меня к земле очередей, но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подобрали еще человек двадцать автоматчиков, погнала нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебе в чистом поле черт так паскосько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусонное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На камешном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штапах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязовые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они носили, что-

бы их от рядовых пельзл было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастеров. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью пошел такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол спелло тяжелым снарядам или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даке в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонились мы в этой церкви, как овцы в темном катухо. Среди почти слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что падо, браток?» Он и говорит: «Я — военврач, может быть, могу тебо чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света не увидал. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больше будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнися я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рвалу». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Рапские есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и потемках свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвой предупредил, еще когда шопарно загоняли нас в церковь. И, как па грех, приписчило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Но могу, — говорит, — осквернить святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даке плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длин-

пую очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень pessелое... А пемного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкрикивать коммунистов, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прятаться! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку спял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты — коммунист и меня агитировал вступить в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, пехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступить в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи,— говорит,— остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлочно-сти. «Нет,— думаю,— не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной псподней рубашке, коленки обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну,— думаю,— не справится этот парнишка с таким толстым мерником. Придется мне его колчать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежащего парня. Он обратво головою кивнул. «Ну,— говорю,— держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да пожмвей!» — а сам упол на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крик-

путь не успел. Поддержал его под собой минут несколько, приподнял. Готов предатель, и язык на боку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводиному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были черпьявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходит к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет да и поймает мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел паверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставлялся мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря могилы рыть для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата умерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и пахли в некошениом овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было по меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карман насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикли трещит... Обормалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустились с меня все мое рванье. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец кобель стал мне на грудь передними лапами и делится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом патравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели ключьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспоминать людские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнить всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях, — сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать...

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб паживал, и в Тюрингии побыл, и черт те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на пух, сволочей, работаешь. Били за то, что не так выглядишь, не так ступаешь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии.

И кормили везде, как есть, одинаково: полтора грамма арза-хлеба пополам с опилками и жидкая балада из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить,

суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить не под силу. А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной питочке в тело держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоропить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и шрут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не поднимаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую землю, просишься. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горлалят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Цельный день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжим; все мы на холодном ветру продрогли как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то шодлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или, по-ихнему, лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навывато. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матерщищать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли, — идет перед строем со своей сворой эссовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свищовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день.

Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был гад, без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить: перед тем как идти ему туку прикладывать, ой, чтобы распалить себя, минут десять перед строем ругается. Он матерщинничает почему зря, а нам от этого легче становится: вроде слова-то паши, природные, вроде ветерком с родной стороны подует... Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет, — уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. «Когда он ругается, — говорит, — я глаза закрою и вроде в Москве, на Зацепе, в пивной сижу, и до того мне пива захочется, что даже голова закружится».

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагер-фюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Поирочался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот я отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — помер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Ирипку и детишек, а потом жаль эта утихла и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидели в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс пьют и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутылка со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Минут оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобой... Кое-как задавил тошноту, по глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играет, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблукками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс

Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно,— говорю,— герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем по двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и паливает полный стакан пива, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но как только услышал эти слова, — меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт тебе умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я пьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою гибель». А что мне было терять? «За свою гибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка выпил его в себя, а закуску не тронул, вежливо вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдемте, распишите меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечая, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил вразяжку, откусил аленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захоте-

лось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, по давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил па груди два железных креста, вышел пз-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат, и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе пзо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо по сказал, сделал палево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит оп мно сейчас промеж лопаток, и пе донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нео потянуло...

Вышел я пз комендантской па твердых ногах, а по дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал па цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Расскаывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по парам, а у самого голос дрожит. «Все поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали па учет, пу, а сала, сам понимаешь, — только губы помазать. Однако поделились без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, па осушку болот, потом — в Рурскую область па шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали плевными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смепу, и какой-то презжпий обор-лейтенант горорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером, — шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферии. Дали нам поношенную спецовку, направили под коповое в город Потсдам. Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений,

Возил я на «оппель-адмирале» немца-инжепера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заднюю плечистый, как справная баба. Спереди над воротником мундира три подборodka висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да копыток из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепало: в дороге остановился, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выкидывает; когда в добром духе — и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запыхиваться на человека, помалу, по стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: почти напролет думал, как бы мне к своим, на родину бежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услышал я в первый раз за два года, как громыкает наша артиллерия, и, знаешь, браток, как сердце забилося? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бой шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцать. Немцы в городе злые стали, первые, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепление строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну, — думаю, — ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собой и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, pilotку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор взять его за город, в направлении Тросницы. Там он руково-

для постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть-чуть высккивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потому остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовые тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у него под боком. Ну, я его и стукнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накрутил на шею майора и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну, и погнал машину напрямик туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между ворошками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очеретели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробито, радиатор попороти пулями... Но вот уже лесок, над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парашка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с собой немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я прирощенный воронежец? В плену я был, понятпо? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им листок и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат».

а дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор... Р
его портфелем нам дорожке двадцати «языков». Буду ходи...
айствовать перед командованием о представлении тебе...
правительственной награде». А я от этих слов его, от доски...
ильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуюсь, только и мо...
з себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислит...
меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Ка-
рой из тебя волка, если ты на погах еле держишься? Сегодня
о отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят,
осло этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а ко-
да вернешься к нам,— посмотрим, куда тебя определить».

И полковник и все офицеры, какие у него в блиндаже
или, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел
копчательно разволнованный, потому что за два года отвык
т человеческого обращения. И замать, браток, что еще долго
как только с начальством приходилось говорить, по при-
мчке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что
и, как бы меня по ударили. Вот как образовали нас в фа-
нстских лагерях...

На госпиталь сразу же написал Ирине письмо. Описал все
коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майо-
м. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба
меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник
осещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто,
наче, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так
ктор сказал. Набрался спленок вполне. А через две недели
ска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться,
тосковал. Еда и на ум нейдет, сон от меня бежит, всякие
рные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе полу-
ю письмо из Воропежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой,
юляр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем
лучать!.. Сообщает он, что еще в июне сорок второго года
мцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала пря-
о в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну,
смет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки —
убокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца.
глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не раз-
мается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал.
идет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе.
чером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять
шел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет про-
ться добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирпиа на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете... А я же тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж! не приспичило ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ирпией и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я — крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на миг умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушьё давит.

Мы закурили. В залитом полной водою лесу звонко выступивал дятел. Все так же лепиво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, палитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, вдать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапятки», имеет шесть орденов и медали. Словом, общепал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, то не шутка! Да еще при таких

орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начался у меня по почтам стариковские мечтания: как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат пялчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Иду по дождю, прямо-таки по чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись. Аккурат девятого мая, утром, в День Победы, убит моего Анатолия пемецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Пропизало меня, будто электрическим током, потому что почувал я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мукайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, уколпечный мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то звал... Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, пемецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воропож? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок,

демобилизованный еще зямою по рапеллю,— он когда-то пригласил меня к себе,— вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домишке на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселились у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сыпком, вот с этим, какой в песке играет.

Из рейса, бывало, вернешься в город — попятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и стограмм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этаким маленьким оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытое пылью, грязный, как прах, несчастный, а глазекки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне понравился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился, — кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, поюшкам болтает ю, по всему виду, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Вапюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазекки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и пет-пет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Валя?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горячая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты

знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кипулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабине глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! По в кювет все же печально съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, — побоялся ехать: как бы па кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне из всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукой, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и пошел я своего Ванюшку! Припимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка шей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки сукопные, рубашонку, сапдалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту и качеством пикуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, — говорит, — с ума спятил, в такую жару одевать дитя в сукопные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сун-

дуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютился, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и полюбишься на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах попохачешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закамелело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что падо? Краюшку хлеба и луковницу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему падо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак пельзья. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вчером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и блятаем с ним перед спом.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий поспл такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, пакоротко осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще годик в Урюпинске,

по в поябре случился со мной грех; ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с пог. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбегался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смириться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в нашей области, в Кашарском районе, работает шофером, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сыном и командиремся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случилось у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго заскучиваться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти, — сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и песу, а захочет промяться — слезает с меня и бежит сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня падо менять... Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и пугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Приной и с детшками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, — они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась

за полу отцовского ватника, засеменял рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два оспротивших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом неподданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек неспасаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, может все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранишь сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

ИЗ УТРАЧЕННЫХ ЗАПИСЕЙ¹

В первое лето войны у меня не было никакого письменного «хозяйства», кроме небольшой записной книжки в черной клеенчатой обложке. Книжка эта вместе с кожаной полевой сумкой, служившей мне еще на Карельском перешейке, пропала: я имел дурную привычку носить сумку в руке, как носят их штатские люди. Мне жаль тех коротких и отрывочных заметок, в которых, по крайней мере, была ценность записей, сделанных тогда.

На первой странице книжки, помнится, я записал поразившую меня картину начала войны и первую встречу с тем, на кого тяжкий груз ее свалился в первый же день.

Поезд Москва — Киев остановился на станции, кажется, Хутор Михайловский. Выглянув в окно, я увидел нечто до того странное и ужасающее, что до сих пор не могу отстранить это впечатление. Я увидел поле, огромное поле, но был ли это луг, пар, озимый или яровой клип — понять было невозможно: поле было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на нем людьми с узелками, котомками, чемоданами, тележками, детшками. Я никогда не видел такого количества чемоданов, узлов, всевозможного городского домашнего скарба, паспех прихваченного людьми в дорогу. На этом поле располагалось, может быть, пять, может быть, десять тысяч людей. Здесь был уже лагерь, вокзал, базар, привал, цыганская пестрота беженского бедствия. Поле гудело. И в этом гудении слышались еще возбужденность, горячность недавнего потрясения и уже глубокая, тоскливая усталость, онемение, полусон, как раз как в зало забытого до отказа вокзала ночью на большой узловой. Поло

¹ Из цикла «Родина и чужбина». Страницы записной книжки.

поднялось, зашевелилось, тронулось к полотну дороги — к поезду, застучало в стены и окна вагонов, и казалось — оно в силах свалить состав с рельсов. Поезд тронулся. Мы, люди в военном, нарушая жестокий и необходимый порядок, втапули в вагон одну жепщину, обвешанную узелками, перехватив с рук па руки ее двух детишек — лет трех и пяти. Она была мицчаика, жена командира и, войдя в вагон, спешила подтвердить это документами, — маленькая, замученная, ничем не красивая, кроме, может быть, глаз, сиявших счастьем внезапной удачи. Ей пужно было в Белую Церковь, к родным мужа. Вряд ли она добралась туда — всего через несколько дней я увидел Белую Церковь, оставляемую нами.

Но удивительным и незабываемым было вот что. Жепщина, бежавшая из Минска с детьми в ночь первой жестокой бомбежки, не успевшая проститься с мужем, находившимся теперь бог весть где, не только не жаловалась на судьбу, но велически старалась, чтобы люди, не видевшие, не испытавшие того, что уже довелось ей, не были слишком потрясены, не считали бы ее положение совершенно ужасным. Приткнув детишек в уголок нижней полки нашего купе, она строго, скромно присела там же па краешек, обдернула мгновенно успевшим детишкам рубашечки, вытерла им вспотевшие личики, незаметно прибралась сама и, кажется, более всего была озабочена тем, чтоб не выглядеть слишком усталой, потрясенной и растерянной. Достоинство хозяйки, матери, жепщины, у которой должно быть все в дому не как-нибудь, а хорошо и опрятно, сквозило во всей ее повадке, в сдержанной, экономай хлопотливости.

— Ничего, ничего, — говорила с грустной и самоотверженно счастливой улыбкой, — это еще ничего: дети целы, доберусь как-нибудь. А он напишет туда, старикам. Вот мы и спешимся.

Какие-то еще она говорила слова, в которых была такая самозабвенная готовность все вытерпеть, вынести, не пасть духом и не удручать, не пугать никого своим горем, никому не жаловаться. Как будто в образе этой маленькой матери-беженки первых дней войны дано было увидеть нам все величие женского материнского подвига в этой войне...

Было в той книжке записано еще впечатление природной красоты Украины, от самого своего западного края уходящей у нас из-под ног и колес в отступление. Я ее впервые увидел, Украину, если не считать двух-четырех концов пути в поездах Москва — Севастополь, Москва — Сочи. И увидел

в такую медовоцветущую пору — в последние дни июня. Как поразили меня запах в открытом поле, вдалеке от каких-либо садов или пчельников, — густой медовый запах, исподволь сдобренный еще чем-то вроде мяты. Я спросил у товарища, украинец, чем это так пахнет. Оказалось — пшеницей. Это было по дороге из Западной Украины, когда колонна наша стояла по какой-то причине в степи, на рассвете — еще солнце не показалось. Росный, чистый, медовый рассвет, когда еще пыль, густая, сизая пыль черпозема, похожая на каменноугольный дым из трубы, неохотно поднимается за колесами, как бы стесняясь ложиться на чистые, мокрые с ночи хлеба и травы. Это самый тот час, когда особенно сильно хлеб пахнет медом...

Еще была запись о Каневе, который был последним краем нашей обороны на правом берегу Днепра. Тогда еще был цел каневский мост, железнодорожный, но по нему был сделан настил для автотранспорта. Помню тревожно-чистое, голубое с легкой дымкой и золотистостью небо раннего полдня, нутро автомобильных моторов в пробке, образовавшейся у моста, невозможность податься назад или вперед или выскочить в сторону — к мосту подвела высокая железнодорожная насыпь, с которой не свернешь. И ожидание, ожидание чего-то, что обязательно должно вот-вот произойти. Небо, решетки и переплетения моста, и внизу широкая, густая, отчасти стальная синева Днепра.

— О! — сказал кто-то коротко и, пожалуй, даже раньше, чем белый столб возник из синей воды и послышался тяжелый чох разорвавшегося в воде снаряда.

Машины тронулись, как бы не замечая ничего на свете, кроме своей колеи, неторопливо нащупываемой колесами. Движение было изнурительно медленное, и уже совсем некуда было деться в случае чего с этого конвейера. Перейдя мост, машины пошли по правому срезу у насыпи, по узкому — как проехать одной машине — уступчику. Это была сторона насыпи, обращенная туда, откуда был немец. Мы уже были совсем недалеко от места, где колонна заворачивала под котлован насыпи, чтобы выйти на другую ее сторону, когда снаряд разорвался у самого входа в этот котлован. Из наших товарищей тогда был легко ранен в ногу один. Но это была почти для всех нас первая настоящая близость к войне, если не считать уже пережитых бомбежек...

Еще запись. Люди прошли с боями, со всеми муками отступления чуть не тысячу верст, воевали уже не один месяц, оставили позади большую часть Украины. И, располо-

жившихся теперь на одну из почевок в уже холодающую
к почв степи, полной запахов поздней печальной страды,
запахов картофельника, свежей яровой соломы,— запели.
Запели простую русскую песню, из тех, что подтянуть мож-
всякий. И в той песне не было даже ни слова про войну.
Ни слова в песне не было о войне, зато были слова о жизни,
любви, родной русской природе, давних деревенских радостях
и печалах. И странно: показалось, что ничего этого нет—
ни немцев, ни великого горя,— а есть и будет жизнь, любовь,
родина и песня, в которой только и место горю, по горю уже
пережитому, отошедшему, давшему. Все пройдет. Все еще
будет. Мать обнимет сына. Воин подхватит на руки под-
росшего без него сына...

«ЛЯВОНИХА»

Вечером, по дороге от Вильнюса к Минску, пришлось менять скат. И едва замолчал мотор, как до слуха дошли звуки очень запавшей музыки. Получилось, что мы будто парочно остановились возле этого домика на голом взгорке. Там играла гармонь, но не простая, а не иначе баян — по многоголосию и топкой осложненности простого, совсем-совсем знакомого мотива. И играл, видимо, мастер своего дела.

Мы вслушивались как раз в тот момент, когда он начал как бы пехотя, с такой округлой раскаткой выводя мотив, обещая, однако, вот-вот взять пной темп, — это угадывалось прежде, чем слух определил, что играют «Лявонику», чудесную белорусскую плясовую. В вечернем воздухе, по-осеп-ному чуток, она звучала с такой подмигивающей и щемящей силой, что и водитель, уже поддомкративший задний мост, работал, стараясь не слишком греметь ключом.

«Ах, Лявониша, Лявониша моя...» — словно бы неслоь оттуда, из домика, и казалось, это он сам, небольшой, четырехколенный, опрятный, весь звучал этой песней.

Ах, «Лявониша»! За каждым мотивом, слышанным когда-либо, как за каждым запахом цветка, целая бездна воспоминаний, лучшая половина жизни, а то и целая жизнь.

Ах, «Лявониша»! Впервые я слышал твой славный, ухарски-озорной и вместе печально-печный лад давно-давно, не только до войны, задолго до юности, в детстве, где-то в родных местах, куда его случаем занесло, может быть, с каким-нибудь ярмарочным гармонистом. И, пожалуй, он и тогда уж что-то напоминал мне, точно он вошел в мою душу безвестным путем еще раньше. Много позднее, в юности, когда мне случилось быть на одном из больших белорусских празднеств в столице республики — Минске, я вновь услышал его и увидел эту пляску на сцене большого концертного зала. Здесь я уже знал, что это «Лявониша», и мотив ее еще глубже тронул меня. Прошло еще много лет, прошла молодость, прошло многое безвозвратно, только война не прошла еще, и вот где-то на границе Литвы и Белоруссии я слышу вдруг «Лявонику». Нет, я еще ее где-то слышал, не может быть, чтоб это за всю войну впервые...

Тут мы, вслушиваясь все бережнее и напряженнее, обменивались меж собой от волнения растерянными улыбками, явственно расслышали, что все убыстряемому темпу музы-

ки вторит глухой, грубый, но согласный стук и грохот пляски.

Мы с товарищем по выдержали и пошли к домику по стезе вверх, вдоль грядки с отцветавшим и уже вышедшим в головку маком. Чем ближе мы подходили, тем озорнее и пестрее заливался баян, сбивая с ног. Баянист ударялся вдруг в такие топки, петушиные верха и то вдруг «прорезывал» на басах, — половицы дома тем часом отдавали все, что могли.

Дверь была настежь, всюду, даже в сених, толпились женщины, девушки, много наших бойцов и два-три молодых офицера. Один из них, с трехэтажной панишкой за ранней и орденом, плясал на кругу. Пилотка чудом держалась на его необыкновенно густой копне темно-русый волос с выцветшими от солнца чубами налево и направо. В паре с ним плясала девушка в военном. Широкие кирзовые голенища сапог свободно ходили вокруг ее стройных, хотя и довольно полных якр, а форменная юбка была в объёмку. Но это не мешало ей плясать легко, с неприпущенной прыгкостью, с настоящим и неуступчивым вызовом ко отношению к лейтенанту в пилотке. Пилотка у него вот уже вот должна была упасть — так же он штуки выделял — и все держалась, точно прихваченная к волосам шпилькой.

За многолюдьем круга не вдруг было рассмотреть, где же баянист. Он сидел на лавке спинной к столу, на котором была небрежная посуда, тихо позвякивавшая и словно ходившая по столу в темпе пляски. Это был немного сонный парень с широким, здоровым лицом, на котором выражение сопливости и снисходительной важности становилось тем заметнее, чем тише и забористее он выводил виртуозные обороты плясовой. А короткие загорелые пальцы бойца как будто и не торопились бегать по белым пуговицам, как будто они только следили за порядком, а играл сам баян — на то, мол, и инструмент такой дорогой.

И удивительно было, что при всеобщем внимании к той веселой и полной какого-то особого жара борьбе, что происходила на кругу, гулянка, неизвестно по какому поводу возникла, гудела разнообразной, рассредоточенной по всем углам жизнью. Мне запомнилось особенно, как в полутьме, за кругом, под шум и грохот веселья, один боец, увешанный медалями и значками, говорил что-то пожилому крестьянину, должно быть хозяину дома, не то поляку, но то белорусу. Ни одного слова я не слышал из того, что он говорил, но

жестикуляция его была так выразительна, что я наверняка знал, о чем он мог говорить. Вот он охватывает пространство перед собой обеими руками так жадно и решительно, что слушатель чуть подастся назад. Потом ладонями рук делает загребавшие, манящие движения — сюда, мол, сюда, — потом быстро сдвигает ладони клешнями и сводит их вместе, но не просто, а с видимым усилием. Затем быстро взбрасывает обе руки со сжатыми по-особому кулаками и торчком, торчком, с яростью месит то пространство, что он только что обозначил сведенными вместе руками... Это был не иначе обзор операции по окружению и уничтожению войск противника.

Но где же я еще на войне слышал «Лявониху»?..

Вот баянист налегает грудью на свой горделивый инструмент и, чуть ли не хмурясь от важности, выводит что-то уж совсем небывалое, но как раз то, что нужно разгоряченному ходу пляски. Вдруг лейтенант взбрасывает головой, пилотка наконец валится с головы, едва зацепившись за чуб, — но нет, это он нарочно. Следующим, столь же ухарским движением головы он садит ее на место и, продолжая выделять колено за коленом, прижимает руки к груди, кланяется, отступает, паталкиваясь спиной на тесно стоящих зрителей: «Весь, не могу больше...»

«Ага, — руками, ногами и всей наступательной выходкой как бы говорит девушка, — ага, весь? Нет, держись, если взялся, воин».

— Митя, не уступил — подает кто-то отчаянный призыв из толпы, видя все это.

— Нет, боюсь, шов разойдется, — шутит, запыхавшись, лейтенант, все еще продолжая плясать.

И девушка с выраженным ласковым и лукавым торжеством на потном, раскрасневшемся лице и в больших серых влажных глазах начинает щадить его, тоже отступая и раскланиваясь на ходу.

И, прежде чем гармонист оборвал, я вспомнил, когда еще я слушал такую игру на баяне и смотрел пляску вроде этой. Это было где-то под Юхновом, в зимнем лесу, полном дыма и пара, шедшего из сугробов, под которыми глубоко в промерзшей земле укрывалась окопная жизнь. Как это далеко отсюда, как это давно было!

Плясала тогда на кругу, под сосновыми пакатами большого блиндажа, одна женщина с петлицами военного врача. Она была родом из Белоруссии и запомнилась мне еще потому, что при вручении ей в тот вечер ордена сказала

вместо: «Служу Советскому Союзу» — «Служу советскому народу», — и страшно смутилась, думая, что допустила непоправимую ошибку. А потом разошлась и плясала до потной родную «Лявониху».

Ах, «Лявониха», милая песня, воп как ты далеко побывала и назад воротилась!..

Мы потихоньку вышли. Застоявшийся «впллс» рванулся по еще светлому шоссе. И долго в пути его ход складывался нам на мотив: «Ах, Лявониха, Лявониха моя...»

И я вспомнил, что мог вспомнить из этой песни, подбирая строчку к строчке и, должно быть, изменяя что-нибудь, путая белорусский с русским, подставляя недостающие слова, чтобы только не терять лада, надолго в пути захватившего мою душу:

А Лявониху Лявон полюбіў,
Лявонісі чаровічкі купіў,
Лявоніха, душа ласковая,
Чаровічкамі паллелівала.
А чому ж тебе Лявон не забіў,
Як ты мяне у маладосці любіў...

МИРОВОЙ ДЕД

Где-то на Вптебщине, не то еще где в Белоруссии в пору, когда фронт уже откатился далеко на запад и о войне в той местности пачали забывать, вдруг на околице тихой лесной деревушки упал и с жестким грохотом разорвался снаряд. Затем другой, третий, пошло и пошло греметь. Убило корову и поранило девочку лет семи-восьми, что стояла при ней с хворостипой. Загорелась чья-то банька, с треском упала старая, дуллистая груша, оставляя высокий расщепленный пенек. Разрывы отпосило все южнее, юго-западнее, и видно было, что обстрел идет по какой-то дуге или по кругу. Вскоре люди опамитовались, кинулись туда-сюда, поскакали верхомые, затрещали сельские телефоны, всполошились власти. Из района на место прикатили две грузовые машины с вооруженными людьми. Народ все бывалый, давай по слуху угадывать, откуда идет пальба. Оцепили лес, подбираются ближе и ближе на звук выстрелов.

Все можно было думать, по то, что обнаружили в лесу, на пустынной полянке, в голову не могло никому прийти. На полянке стояла легкая полевая пушка, вокруг валялись снарядные ящики, прикрытые давно осыпавшимся хворостом, а возле пушки управлялся один-единственный совершенно одичалого вида немец. Он был в лохмотьях, без шапки, длинные волосы и борода склеились, как птичье гнездо. Движения немца были, как у заведенного, равномерны и безостановочны: он заряжал и стрелял в белый свет, разворачивая свою пушочку во все стороны. Признаки безумия были палицо. Дикий, потерявший рассудок немец-окруженец палил и палил куда попало. Не могло быть и речи о том, чтобы живьем взять его. На оклик «хенде хох» он с яростью начал кидаться ручными гранатами, и его пришлось прикончить.

Эту полуфантастическую историю рассказал мне житель некогда прифронтовой, а теперь оставшейся в глубочайшем тылу стороны, запятный и пехлопотливо приветливый старик. Он сидел возле избушки, срубленной на бревен, на которых еще видна была окопная глина.

На нем был солдатский ватник и штаны из маскировочной материи с зелено-желтыми разводами. Он сосал трубку, чашечка которой представляла собой срез патрона от крупнокалиберного пулемета.

— Далеко-далеко погнали его, — без особой горячности похвалил он в моем лице войска, что стояли когда-то здесь,

а теперь воюют уже в самой Германии. — Ничего. Так-то он еще подходяще...

Я не заметил, как дед перевел речь с истории об этом немце, которую он, может быть, сам наполовину выдумал на немца в большом смысле:

— Теперь он, значит, дома. Свет прошел, назад воротился, а толку что? А? Ну, хотя он свой толк знает. Он думает: «Я буду все-таки сопротивляться до последней возможности, а там еще, может, что-нибудь...» Да-да... А может, он вообще того и не думает, а видит одно — что ему прыгнуть некуда. «Час, думает, день — и тот мой». Я так считаю, такое мое личное мнение...

Я любовался спокойной важностью и достоинством, с каким старик не то вел беседу, не то размышлял вслух.

— Да. Такое мое личное мнение, — задумчиво повторил он, поглаживая на-под пизу свою негустую, серую, точно в золе, бородку.

Из малых расспросов короткой встречи я узнал, что дед этот почти слепой, что война его лишила двора и имущества и многих близких и что хозяйственные его дела и сейчас не блестящи.

— Картошка-то хоть есть у тебя?

— Картошка что! Картошка — не хлеб.

— Ну, а с хлебом как?

— Вот где хлеб, — он кивнул на гиблую соломку ржипы, белеющей кое-где под проволокой небрежных заграждений. Но кивнул он с рассеянным человеком, занятого каким-то другим, гораздо более важным соображением. И вдруг, вынув изо рта свою трубку и показав ею куда-то через плечо, он закашлялся и рассмеялся. — Румыния-то? А? А-я-я-я-яй! Ну, он — хорошо, он-то хоть силу имел, и то где он теперь? А куда этим было лезть? А-я-яй! — Он вертел головой, как бы показывая, что не в силах выразить полную степень своего насмешливого сожаления к незадачливой державе. — А-я-яй!..

Мне хотелось знать поточнее местность, где произошла история с диким немцем, но старик только показал опять своей трубочкой через плечо.

— Да вот... было...

Я наугад подсказал один из районов, где проезжал летом, когда в лесах еще бродили остатки немецких разбитых и окруженных войск.

— Вот-вот, там, говорят, он и стрелял из пушки, — с го-

товпостью согласился дед, хотя я был уверен, что, назови я другой какой-нибудь район, он не стал бы спорить.

— Все-таки странно,— заметил я,— как этот дикий немец сохранился в лесах один, как он набрел на эту пушку? Допустим, что это брошенное немцами орудие. Но все-таки вряд ли все это было в точности так.

— Понятное дело, люди что хочешь придумают,— согласился мой собеседник, и я увидел, что для него суть дела не в том, насколько достоверен сам этот факт. Он не думал настаивать на его достоверности. Это было для него не более чем притчей, пришедшейся к разговору.

— Но вот что скажем теперь,— опять вернул меня дед к общим вопросам.— Ведь он-то, немец, потерял уже всякое понятие. Ему уже все равно. И никак, никак с ним нельзя иначе поступить, как только вот...— Он сделал рукой нетеропливое захватывающее движение и как будто зажал что-то в большом узловатом кулаке.— Только!

В словах этого деревенского полятика, во всей его свободной и полной достоинства осанке виделось что-то до того правдивое, народное, русское, горделивое в горести, сдержанное в торжестве и в целом такое победительное.

Мы уже развернулись, чтобы снова выехать на шоссе, когда старик крикнул нам вслед с такой будничной хозяйской озабоченностью, но опять же без лишней восторженности:

— А что все-таки Турция сама себе думает?

Я не успел ответить, только помахал ему рукой, отъезжая, да вряд ли он пуждался в моей оценке поведения Турции. Это было так просто: да, мол, кстати, чуть было не забыл про Турцию...

— Мировой дед,— сказал вдруг водитель, сержант Лукных, когда мы уже далеко-далеко отъехали по шоссе от бывшей линии фронта.

В САМОЙ ГЕРМАНИИ

Глубокая Германия, а спешные поля, вешки у дорог, колонны, обозы, солдаты — все как везде: как в воронежской степи, как под Москвой, как было в Финляндии.

Пожары, безмолвие... То, что могло лишь присниться где-нибудь у Погорелого Городища, как сладкий сон о возмездии. Помню, отъезжали на попутной машине от фронта с давно уже убитым капитаном Гроховским: горизонт в зоревых, грохот канонады, а по сторонам шоссе осевшая мгла, пустые, темные хаты. Помню живую боль в сердце: «Россия, Россия-страдалица, что с тобой делают!»

Но тот сон о возмездии, явившись оп тогда, был бы слаще того, что видишь теперь в патуре.

«Помать — не стропть» — все чаще вспоминаются эти невыразимо вместительные слова солдата-дорожника.

* * *

В горящем, шипящем и осыпаемом с неба снегом с дождем городе без единой души жителей, в пустом ресторане, при трех зажженных свечах, сидит мокрый и заметно хмельной солдатик, не то чуваш, не то удмурт, одян как перст.

— Что тут делаешь?

— В тристоране сижу. Три года воевал, два раза ранен был, четыре года буду в тристоране сидеть.

— Что ж тут сидеть? Нет ничего ни выпить, ни закусь.

— Не надо! Выпил уже там, — кивок в сторону окранных города-фронта. — Хочу сидеть. Три года воевал.

— Попадет тебе, брат. Шел бы, договял своих.

— А это что? — заворачивает рукав шинели — там грязная бинтовка повыше запястья. — Я в госпиталь направлен. А я в госпиталь не хочу. Хочу сидеть в тристоране. — Удар кулаком здоровой руки по стойке, одна свеча падает. — Четыре года буду сидеть!

* * *

Еще одно воспоминание от Погорелого Городища.

Ночь, у шоссе костер на мокрой осенней земле. Разные военные люди — кто на короточках, кто на чурке какой-нибудь; греются, курят. Рассказывает какой-то авиатехник, недавно приехавший из Ташкента:

— В саду музыка, пиво, ходишь в одной гимнастёрке, тепло, милиционеры за порядком следят. В домах свет...

Слушают с осуждением и вместе с такой мечтательной завистливостью, крикают:

— Да-а!

— И говоришь — война. А?

— Война.

Среди военных, в кружке, стоит девочка лет десяти-одна-дцати, в мокрых, рваных больших ботинках на погах, которые она изредка и робко поднимает к огню.

Девочку то и дело кликают с какой-то машины, где слышатся голоса детей, бабка какая-то, все там промерзшие, промокшие на машине. Везут их от фронта, они погорельцы. А девочка только отмахивается, точно боясь головой на всякий оклик. Лицо у нее усталое и по-взрослому сердитое — лобик с поднятыми вверх морщинками. Но слушает она про Ташкент с такой детской завороченностью, не теряя все же выражения усталости и сердитости. Наконец жалостно-требовательный, расслабленно-тягучий голос выводит ее из оцепенения:

— Анютка, поди, малый совсем зашелся!

Она оборачивается, отрывается от огня и сказки, с жестоким раздражением и слезами в голосе кричит:

— А ну вас всех в ж... от меня!

И идет к машине в слабом свете костра, ступая по грязи как-то одними каблуками, хотя, должно быть, передала ботинок уже мокрым пазвозь.

* * *

Немка, первая жительница, которую я увидел в Германии, была не то больная, не то обезумевшая. В деревянных башмаках, в обтянувшейся трикотажной юбке и какой-то зеленой, с бантиком, шляпке, она стояла у дороги, в одной руке длинная палка, в другой — хлеб, паш черный армейский хлеб — дал кто-то из бойцов. На нее смотрели как на диковинную зверушку, никто ее не обидел, наоборот, ее жалели, но жалели именно как зверушку.

Теперь их уже много прошло, немки, прислуживающих, убирающих помещения, берущих белье в стирку. Что-то тягостное и неприятное в их молчаливой работе, в безнадежном непонимании того, что произошло и происходит. Если бы они знали, вернее — признавали хоть одно то, что их мужья и родственники вот так же были у нас в России, так же

давали стирать свое солдатское белье, — да не так же, а гораздо грубее, с гораздо большим подчеркиванием права и бедителей, — если бы хоть это они понимали. Но похоже, что они ничего не понимают, кроме того, что они несчастные согнанные со своих мест, бесправные люди завоеванной страны, люди, которым мыть полы, стирать, убирать, услуживать, а кому — не все ли равно: тому, чья сила.

• • •

Вдруг вспомнилось, не то привиделось во сне, но с утра живу под впечатлением того, как ходил когда-то на станции Пересна за книжками в волостную библиотеку. По возрасту — мальчик-полупопаша, время года — предсенокосное, относительно свободное от работ по хозяйству. Зеленая рожь, прохладный ток стежки под босой ногой, ощущение свежей рубашки на теле, здоровья, свежести во всем мире. И надежда было вспомнить все это здесь, в поломанном войной городишке Восточной Пруссии!

Рядом с этим вспомнил уже сам, сознательно, как с братом Костей ездил в ту же Пересну на мельницу впервые. Таскали мешки к песам, ночевали в ожидании своей очереди, ели холодную баранину. Не знаю, как брат, но я был полон необычного и радостного чувства взрослости и связан с выполнением такого хозяйственного, серьезного дела, не замечая, что уже в том, что нас двое помольщиков с одним возом, есть что-то детское.

Там-то я слушал слепого Сашку, что пел по старой памяти про царя и Распутна, припевая после каждого разоблачительно-непристойного куплета:

Это правда, это правда,
Это правда все была...

Потом, вспоминая, дошел до возвращения домой, где никто особенно не приветствовал нас и не дивился — все так, как и надо. И покамест я рассказывал дома про мельницу, про большой завоз, очередь и немалые трудности помола, брат по-будничному отрягал коня и занимался на дворе всем другим, что положено.

КЕНИГСБЕРГ

Дощечки с надписями: «Проезда нет» и «Дорога обстреливается» — еще не убраны, а только отвалены в сторону.

Но очевидным опровержением этих надписей, еще вчера имевших полную силу, уже стала сама дорога. Тесно забитая машинами, подводами, встречающимися колоннами пленных немцев и возвращающихся из немецкой неволи людей, она дышит густой, сухой пылью от необычного для нее движения.

Липовые аллеи, прореженные и иссеченные артиллерией, всевозможное полузаваленное и вовсе заваленное траншейное рытье, воронки, нагромождения развалин — привычная картина близких подступов к рубежам, за которые противник держался с особым упорством.

И на повороте свежая, не тропутая еще ни одним дождем, не обветренная дощечка указателя: «В город».

В город-крепость, в главный город Восточной Пруссии, в ее столицу — Кенигсберг.

Давно уже не в повинку эти стандартно-щеголеватые домики предместий, старинные и новейшей архитектуры здания немецких городов, потрясенные тяжелой стопой войны.

Но Кенигсберг прежде всего большой город. Многого из того, что на въезде могло сразу броситься в глаза — башни, пиилы, заводские трубы, многоэтажные здания, — повержено в прах и красно-кирпичной пылью красит подошвы солдатских сапог советского образца, мутно-огненными облаками висит в воздухе.

И, однако, тяжелая громада города-крепости и в этом своем полуразмолотом виде предстает настолько внушительно, что это несравнимо со всеми другими, уже пройденными городами Восточной Пруссии.

И так же, как в зрелище развалин, законченных огнем, в горах щебенки, загромождающих улицы и проезды, мы не можем не видеть живого напоминания о разрушенных пом-цах городах нашей Родины, так же нельзя не видеть во всем этом живого подтверждения всеокрушающей ударной мощи нашего оружия.

— Почти Смоленска сработано, — вроде как шутки ради говорят бойцы, вступающие в улицы города. Но в усталом, суровом и прямом взгляде их глаз справедливое торжество и горделивое сознание собственной силы.

А сплал эта во всем вокруг. И прежде всего в этом великом людском потоке, заполнившем узкие улицы чужого города своей слаженной, внутренне деловитой суетой, своими командами, своей родной речью, песнями, музыкой, пронзительными песнями из какой глубины России, своим большим воинским праздником победы.

Пехота на машинах, на броне танков и самоходных орудий, шоферы, дружелюбно перебирающиеся из дверей в дверцу, регулировщики в форменных белых, немновки великоватых перчатках, мотоциклисты, верховые и пешие, — смотришь и невольно думаешь в простодушном и радостном изумлении:

«А и много же, ах как много нас, русских, советских людей!

Так много, что хватает и на то, чтоб держать в полном рабочем порядке необозримый наш тыл, пахать землю и ковать железо; и на то, чтоб поднимать к жизни столько отвоинанных у врага городов и сел; и на то, чтоб пройти столько верст, запать столько городов и земель противника; и на то, чтоб в три дня штурмом сломить его сопротивление на таком вот рубеже, на такой точке, как этот город Кенгисберг; и на то, чтоб в первый же день по взятии города заполнить его такой массой людей и колес. На все хватает!»

Грохот боя, откатившийся уже далеко за город, не тревожит разнообразного, делового и праздничного шума и говора на марше по главной улице.

Каких только лиц солдатских здесь не увидишь! И усталые, будто бы сопливые, но полные энергичной выразительности лица пожилых, и молодые, по успешнее возмужавшие на войне, по-мужски загорелые и по-солдатски серьезные, а все-таки юнцовые, и белокурые, с черной копоти на висках, и чернявые, припорошенные серой и ржавой пылью, и пылые...

И на всех лицах — отражение для большой и гордой победы.

Но город, там и сям горящий, там и сям роняющий с шумом, треском и грохотом сдвинутую огнем степу, там и сям содрогающийся от взрывов, — чужой и враждебный город. Он таит еще в теснинах своих развалин и уцелевших степ, в подвалах и на чердаках алчные души, способные на все в отчаянии поражения.

Группа бойцов-автоматчиков полубегом в тесноте улиц и движения пробирается к переулку, где на окошек-амбразур полуподвала в безумном упорстве, возможно, не знающие

о полном поражении, немцы еще ведут пулеметный и винтовочный огонь.

Угнать их спаруживается довольно трудно с помощью одного только пехотного оружия. Тогда с истинно русской щедростью на них отпускается три-четыре снаряда тапковой пушки — по числу окошек.

Слышно, как гремят раздельно, твердо и жестко выстрелы в упор.

В переулке наступает, как у нас говорят, полный порядок.

У МОРЯ

До самого берега проехать на машине было нельзя. Осталось каких-нибудь триста-четыре метра, где не было ни дорог, ни объездов, ни даже проторенных троп. Местность представляла собой нечто вроде огромного двора, заваленного и захламленного всевозможным горелым и догравшим ломом, трупами людей и лошадей и вдобавок перепаханным фугасками. Черепичная скорлупа битых крыш перемешалась с белой и синеватой землей, вывороченной из пластов, покоившихся на глубине ниже уровня моря, моря, что уже блеснуло за безобразными зубцами обрушенных стен и ломаным лесом мачт, труб и вышек пристани.

Дальше можно было пройти только пешком, как прошли здесь напп, добравшись до немцев, стрелявших, по выражению одного бойца, из воды, стоя по колено, по пояс в прибрежном мелководье. Надо было прыгать с камня на камень, с брони всаженного в землю танка на гусеницу, расстилавшуюся ровной дорожкой еще на пять шагов к морю, с гусеницы на бревна засыпанного блиндажа, по лошадиной туше, охваченной пламенем и уже затоптанной сапогами.

Наконец море у самых ног, море, окаймленное чуть видным леском знаменитой косы, замыкающей залив. Жаль, что оно не во всю свою ширь видно здесь.

Но все же море есть море. Голубое, близкое к цвету неба вдаль и желтовато-серое, будто мыльное, у самого берега, оно тихо и мягко, но с присущей только морю скрытой силой и тяжестью поталкивает в каменную стену мола.

Немецкая каска, залитая наполовину, покачивается на мели, то черпая воду через край, то сплескивая ее через другой. Погромыхивают пустые гильзы оружейных снарядов, перекатываемые волной.

Журчит своим порядком весенний ручей, нечистый, как будто крашенный кирпичной пылью. Мокрое тряпье, рвань и неизменная плесень серого пуха, намокшего и подсыхающего на солнце по всему берегу...

И все же море есть море, и его сырой и солопавато-мыльный, здоровый запах перебивает, если близко стоять, тяжелые запахи всяческой гарп и разложения, столь знакомые всем на войне.

— А я, знаете, впервые его вижу, море, — признался с некоторым смущением офицер, чьи бойцы первыми вышли на этот берег и теперь охраняют его. — Все, знаете, как-то

некогда было. То учеба, то работа, то служба, то война... Вот уже сорок лет округляется, а моря не видел, какое оно.

И очень многие, особенно молодые паши войны, с этого моря пачали свое знакомство с тем, что составляет половину красы земной. У нас немало морей, но так велика страна, что можно прожить долгую жизнь, совершить не одно путешествие при современных средствах передвижения, прослыть заслуженно бывалым человеком и при всем том не успеть посмотреть моря...

Правее маленького городка с гаванью, которая была последней для немцев, прппертых к воде, встретили мы па мысе Кальхольцер-Хакеи троих наших бойцов, только что вышедших из боя, потому что не с кем уже было воевать на этом участке.

Невысокий, бледный от бессонья рядовой Мпхапл Медюк был из Белоруссии, сержант Николай Малышев, более видный, как говорится, со щетки парень, оказался волжским, а высокий, но худощавый, под стать Медюку, Иван Шахлевич — не то из той же Белоруссии, не то с Украины.

Все трое — солдаты не первого года службы, люди, прошедшие из боя в бой от Москвы и Волги до этого Балтийского побережья, до этих болотистого вида камышей, откуда еще час назад в них стреляли немцы, — все трое видели море первый раз в жизни.

Может быть, лучше было бы увидеть его впервые не вдали от родины и не в горячке и напряжении трудного боя, а в мирное время, с террасы дома отдыха на Крымском или Кавказском побережье.

Но если суждено всякому человеку запомнить навсегда день и час первой встречи с морем, то добытая с бою встреча сухопутных русских, белорусских и нных советских людей с этим морем будет самой памятной и самой гордой датой их жизни.

Право, жаль, что оно в этих местах такое неказистое, болотистого вида, и не дает глазу того неоглядного простора, ограниченного только небом, какой обычно волнует душу на морском берегу.

И все же это море, какое оно есть, будет для тысяч наших людей самым памятным и прекрасным. Они дошли до него, сражаясь за свои земли, они увидели его как знамение конца одной из самых жестоких и щедрых славой битв Великой войны.

И разве не освящены эти воды тем, что мы пришли к ним, творя наше правое дело защиты Родины и возмездия за ее

страдания? И разве эта земля, чуждая нам по всему, что было на ней, не полита кровью наших братьев? А о земле, что полита родной кровью, что пройдена нашими, советскими людьми в трудах и испытаниях долгих и страшных боев, — о такой земле мы долго будем вспоминать.

На взгорке, круто обрывающемся к мелководью поросшего камышом взморья, под березкой, с трогательной опрятностью насыпанный и выровненный могильный холмик. На нем еще даже нет того скромного знака памяти, какие сооружают на войне из белых досок, фанеры и медных спаряженных стаканов. Может быть, в полуразбитом домике, что стоит на южном скате этого взгорка, сейчас составляется надпись на фанерной дощечке и заодно пишется посвящение родным либо близким об одном из тех, кто уже не уедет отсюда со своим полком или батареей на другой участок продолжающейся борьбы.

Крутом праздник. В домике с осыпавшейся черепичной крышей кто-то нацупывает на оставленном пемцами плавнишко какую-то пехитрую, но милую сердцу мелодию деревенского вальса. В далекой Москве уже написан и подписан приказ о завершении борьбы на этом побережье, на этом мысе с длинным и трудным названием Кальхольцер-Хакеи. И в приказе не забыты торжественные и строгие слова о вечной памяти бойцам, павшим в боях за свободу и независимость Родины на любых рубежах, в любых землях, у любых побережий...

Пройдут годы и годы, и пусть имя воина, еще не обозначенное на белой либо красной дощечке намогильного знака, уйдет из обихода списков, упоминаний, скажем просто — забудется. Но чье-то сердце, чья-то неостывающая любовь и память — матери ли, возлюбленной или друга — долго и долго будет тянуться светлым лучом с восхода к этому безымянному взгорку над морем, к этой могиле под белой березой — родным нашим деревом, выросшим так далеко на западе.

КОНСТ. ФЕДИН

СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ

КОМАНДИР ДИВИЗИИ

Армия наша молодая, судьбы ее воплов стремительны. Полковник Кубасов начал войну капитаном и летом 1943 года получил дивизию, наступающую на Орел. Перед приходом Кубасова дивизию три дня подряд бомбил противник, она перетерпелась от непрерывного огня с воздуха, — это было первое впечатление, полученное новым командиром. Он сказал в полушутку, но внушительно:

— Конечно! Приехал Кубасов — бомбить больше не будут.

И все шутя стали передавать по полкам: приехал Кубасов — конец бомбежкам!

Подоплекой шутки было обстоятельство, известное немногим, кроме командира: его дивизия только поддерживала наступление на Орел с севера, и неприятель, уразумев маневр, должен был перенести свои главные оборонительные усилия на другие участки. Так и случилось: он вдруг совсем перестал бомбить, как отрезал. И прибавка пошла ходить по дивизии веселее и веселее, и в какое-то особое ее значение кемпужко верили даже очень трезвые люди: приехал Кубасов — бомбить не будут.

Отдавая приказание о наступлении, Кубасов добавил, что действовать надо быстро, чтобы вечером попить чайку в Орле.

Полковник Макаров, будучи в двенадцати километрах от города, так и повторил приказание по своему полку:

— Вечером пить чай в Орле!

А разведчик капитан Бодаев на следующий день доложил Макарову:

— Ваше приказание выполнено: попил чайку в городе Орле, и даже не пустого, а с кофлячком.

Надо тут сказать о двух вещах. Во-первых, с кофлячком — дело не выдуманное, а истинное: человеку повезло, он вакал на счастливица, не только радовавшегося приходу советских войск, но и прятаншего для праздничного дебутылочку «Арабата». Бодаев тщательно записал себе в кофлячку адрес доброго орловца и его имя и запомнил обидную прозвищу орловцу фашистами (это был телеграфист с двадцатилетним стажем, Голубев; фашисты его от телеграфа отстранили и поставили чистить уборные). Во-вторых, Бодаев не из тех, кто любит красное словцо, а из тех, кто берет города. Немцев в спину он видел под Орлом не впервые, но об этом речь пойдет дальше.

Дело же с чайком заключилось в том, что Бодаев попил его в шесть часов утра, зайдя в Орел с севера, в то время, когда части других дивизий уже вошли в него ранним утром с северо-запада и с юга. Так что тема о чайке в дивизии Кубасова долго оставалась острой, командиры полков возвращались к ней как к вопросу, подлежащему серьезному разбору, вроде задачи по тактике.

Но словечко — «попить чайку в Орле» — без всяких заминков ходило по дивизии, и Кубасов это знает.

Понимание роли «словечка», его значения для солдата на войне пришло к Кубасову от суворовско-кутузовской школы, не только прививаемой нашему командованию, но от природы близкой, присущей ему. Кто из нашего офицерства не помнит и не любит знаменитого словечка Отечественной войны 1812 года: «Препекал Кутузов бить французов»!

Кубасов от природы быстр в движениях, и видно, что быстроту свою все время сдерживает, как люди молодые, работающие над своей выправкой. Его житейскую манеру лучше всего назвать отчетливостью: вокруг него нет ничего лишнего, так же, пожалуй, как в нем самом. Палатка его натянута, точно на вбитых барабанах. Графин с водой, над ним прищеплена картинка, на чернильном приборе ни одного пятнышка. Это — все.

— Пошли, — говорит он, оттягивая за спину складки гимнастерки: ему все кажется, что можно было бы собрать себя всего крепче, потуже, хотя он и так собран крепко — невысокий, мускулистый, гибкий.

Мы идем леском, где проторенная от палатки тропа узенько обнесена слегами, подвешенными к деревьям, чтобы нельзя было уклониться с тропы ни на шаг; по сторонам

бродят с минометчиками саперы — неприятеля только что выгнали отсюда.

У опушки выстроены пополнения, прибывшие в дивизию и состоящие из бойцов, возвращенных фронту госпиталями. Люди разных возрастов, бывалые, серьезные. Когда Кубасов обходит строй, они глядят на него прощупательными глазами солдат, привыкших распознавать начальника и оценивать его по первой встрече. А его взгляд кажется еще опытнее, искушеннее, и это краткое знакомство рядовых со своим командиром, который, может быть, сегодня же пошлет их в бой, протекает в настороженной тишине. Слышно птичье перепархивание в кустах опушки, шум листвы, да вдруг наплывает гул артиллерийской дуэли, напоминающий, что бой не прекращается ни на час.

Кубасов начинает говорить, как будто отвечая самому себе и в то же время вызывая на ответ солдат:

— Ну, обувь вам выдана... шинели у вас есть... гимнастерки есть...

— Есть... есть, — все гудеет раздается в строю.

— Чего же недостает? — спрашивает полковник, вдруг поднимая голос.

Секунда проходит в молчании, потом сразу несколько человек отзываются громко и одинаково, точно сговорившись:

— Впитовок!

— Правильно. Сейчас вас направят в части, и вы получите винтовки. Но вот, я смотрю, один из вас успел запастись и винтовкой. Откуда?

Загорелый, темноволосый, с широкими сердитыми бровями солдат из первого ряда — единственный во всем пополнении с винтовкой на плече — отвечает, надергивая голову:

— Подобрал на дороге, товарищ полковник.

Кубасов быстро берет у него винтовку, поднимает ее обеими руками над своей головой и с расстановкою, словно читая приказ, произносит:

— Красноармейцы! Военный закон без малейшего снисхождения карает людей, нерадиво относящихся к своему оружию. Но вот рядовой, который на тяжелом переходе подобрал брошенное оружие, привел его в порядок, вычистил и вернул его в строй. Как фамилия?

Темноволосый, сурово поводя бровями, выговаривает глухо:

— Павлов.

— Объявляю благодарность красноармейцу Павлову.

Кубасов возвращает солдату винтовку, приветствует его

под козырек и сильно пожимает ему руку. Тышина словно
возрастает, все стоит смирно. Мимолетно улынувшись, Ку-
басов оглядывает весь строй, спрашивает:

— Может, еще кто подобрал что-нибудь?

Озорной, но неуверенный голос, по-молодому оскешис-
отозвался из дальних рядов:

— Вот я тоже вещь одну нашел... ракетницу, товарищ
полковник.

— В добром хозяйстве ракетница тоже пригодится, —
сказал Кубасов, смеясь, — смотри чисто ее хорошенько.

Одобрительно-веселый говор легко прошел по рядам
и видно было, как в этом дуновении шума создалось ощу-
щение, что разговор командира с рядовыми состоялся. Пол-
ковник был весел, потому что подтвердилась его уверенность,
что он возбudit доверие и расположение к себе солдат, а они
были довольны, что, оценивая их, он показал цену и себе.

Импровизация, находчивость в речи с подчиненными —
стиль Кубасова, и так как он говорит родной своей
городской скороговоркой, просто, без затруднения отыскивая
слова, то общение его с людьми непринужденно и очень
живо. Он весел не потому, что хочет быть веселым, а ему
на самом деле доставляют радость всевозможные отрадные
обстоятельства.

Мы опять у него в палатке, и он по полковому телефону
поздравляет награжденных орденами командиров частей
своей дивизии. Улыбка удовольствия не сходит с его лица,
как будто это его награждают орденами и он принимает по-
здравиения. Хотя он произносит всего одну фразу и в одной
интонации, но мне начинает казаться, что он рассказывает
какую-то историю возрастающей увлекательности и рассказ
ему самому становится все интереснее.

— Поздравляю вас, товарищ полковник, и желаю вам
дальнейших боевых успехов!

На другой день он вручает ордена награжденным, и опять
я вижу его счастливо-приводящим, и снова одна и та же
фраза, тихо, даже интимно, проносимая, очень разнообра-
зно выражает его праздничное расположение духа:

— Поздравляю вас, товарищ капитан, с высокой прав-
дотворительной работой и желаю вам...

Полки. Как зеленый обруч в нескошенной траве, вокруг
них — зеленые от ветра березы. Посередине выстроились офи-
церы. Офицеры из других полков идут к столу, принимают
из рук командира дивизии ордена и, возвратившись, стано-
вятся впереди строя. Волнуясь, они неловко помогают друг

другу закрепить ордепа, делаясь в этом занятии похожими на молодежь военных училищ, которую только что произвели, и она еще не освоилась с непривычным мундиром.

По синему небу летят разрозненные облака, и пятна света ярко пробегают по поляне. Веселое это движение заставляет меня яснее увидеть переметчивую историю клочка земли, на котором мы находимся.

Здесь домовито жили немцы. Вон стоит приземистый, обложенный дерном блиндаж. Здесь обитала германская команда. Здесь долгими зимними вечерами она строчила письма, вырезала картинки из газет, чирикала на губных гармошках. Отсюда она методически, утром и вечером, по часам, стреляла из тяжелого орудия, защищенного бруствером, который тоже обложен дерном и высится поодаль от блиндажа. Отсюда она высылала своих солдат в лес на дозоры и в разведку. Здесь шли проверки, раздавались обрывистые выкрики фельдфебеля.

Вся эта заведенная машинка разлетелась: наши части встали здесь только след убежавшей немецкой команды — почтовый ящик на блиндаже, картинки по стенам, недочитанные газеты, нерасстрелянные снаряды да развеянный по траве мусор.

Поляна перевоплотилась. Вчера здесь собрались военные девушки дивизии — Татьяны и Лизы нашего времени, прошедшие с боями по землям Орловщины, заслужившие имя освободительниц. Тут были связистки, медсестры, регулировщицы, саптарки, машинистки. Трудно сейчас представить себе Красную Армию без этих лиц. Женственные улыбки их сохранились нетронутыми, но к ним добавилось знание жизни, какой она раскрылась в войне — с горем, с беспощадностью, с требованием неустанной доблести и железного терпения. И когда девушки на поляне поднимались, как одна, чтобы почтить память своих друзей, отдавших жизнь в орловских сражениях, глаза их наполнились слезами, по все они, пока оркестр играл печальный марш, стояли в крепкой выдержке солдат, неподвижно, ровно, мыслью и чувством принадлежащие долгу, на верность которому они присягнули. Их голоса были чисты и звонки, когда, призывая друг друга к мужеству, они обращались к собравшимся со словами жепских увещаний:

— Девушки, мы — будущие матери... наши дети спросят нас, что мы сделали для защиты Родины... Мы, девушки, сможем взглянуть в глаза нашим детям открыто и прямо...

Я рассмотрел и сразу узнал среди этих юнцов сап-

тарку с лицом, о каком говорится — маков цвет. Пробирался узенькой лесной дорожкой между участков, только что обставленных надписями: «Мины», мы чуть не задавили выскочившую из-за кустов девушку с санитарной сумкой.

— Стой! — крикнул мой спутник, сползая от толчка с спидея. — Зачем ты лазишь по минным полям?

Поправляя пилотку и раскосматившиеся волосы, поддерживая коленкой расстегнутую сумку, девушка проговорила, выдохнувшись:

— Там, товарищ подполковник, слышали? Мина подорвалась... я думала, может, кому попало...

— Я спрашиваю, зачем ты бегаешь по минным полям? Кто тебя послал?

— Я думала, товарищ подполковник, может, кому попало, так перевязка потребуется...

— Кто тебе приказал?

— Я, товарищ подполковник... думала, может, перевязка пужна будет... если кому попало...

Так и не удалось с ней сговориться, потому что она считала своим призванием спешить туда, где может понадобиться ее помощь.

Сейчас, на поляне, она слухала с неподвижным возбужденным взглядом, и лицо ее было таким же, каким я увидел его, когда она выбежала с минного поля, — маков цвет. В словах «Мы, девушки, сможем взглянуть в глаза нашим детям открыто и прямо», в этих словах она, наверно, не видела ничего героического, исключительного или великого. Они были для нее только правильными...

Назавтра, перед закатом, та же поляна была свидетельницей другой встречи. Молодые офицеры штабов, сиди в кружок перед огромной картой, пристроенной к жердям, слушали доклад начальника штаба дивизии о положении на фронтах. Зеленая краска карты сливалась с окрестной зеленью леса. Кончик очищенного прута медленно двигался по зигзагам рек, от города к городу, указывая завоеванные территории. Воображение слушателей проектировало действительность, отталкиваясь от масштаба карты, а в эту минуту жизнь действительности врывается в жизнь карты, стараясь изменить движение указки: пад головами слушателей пролетали самолеты, по одиннадцати машин в отряде, непреклонным курсом на врага, и уже содрогалась окрестность гулом нещадной пашей бомбежки.

Так складывалась переменчивая история лесной поляны. Складывал ее полковник Кубасов, выступавший и на сове-

щаши девушек, и перед штабными офицерами, и при награждении отличившихся старших командиров.

Он паходил язык с любым солдатом, с любым офицером. Для него в дивизии были, конечно, люди более или менее значащие. Но людей незначащих для него не существовало. Он мне сказал однажды:

— Писарь на войне тоже пужен. Войско — это симфония. Устраи один инструмент — и полнота гармонии невозможна.

Он видит себя со стороны — организатором, дирижером своей войсковой симфонии. Но в этом взгляде, в этой оглядке на самого себя нет рисовки. Мне кажется, чуть-чуть заметной улыбкой он сдерживает свое желание видеть себя, чтобы оно не развилось в самолюбование. Он контролирует даже свое здоровое военное честолюбие.

Отчетливая зоркость к своим людям и к самому себе — одна из новых черт нового командира. А полковник Алексей Федорович Кубасов — молодой и вполне новый командир.

СОЛДАТЫ

Разгадкой феномена, который называется русским солдатом, занимались многие иностранные историки. Они приписывали за ним всевозможные достоинства, от выносливости до ярости. Один французский историк, рассказывая об осаде Севастополя, говорил о русском солдате как об одаренном «редчайшими военными качествами, бесстрашном, упорном, не впадавшем в уныние, напротив, после каждого поражения бросавшемся в бой с возросшей энергией».

Каждое из этих качеств, наряду с другими, о которых свидетельствуют наши отечественные документы и крупнейшие писатели, заставляет глубоко задуматься над природой людей, бросившихся в бой под Москвою, когда Гитлер считал, что советская столица лежит у него в кармане; под Сталинградом, когда враг полагал, что открыл ворота в Индию; под Орлом, когда противник собирался повторить великоордынский пабег на Центральную Россию.

Для нас, кто всем сердцем прислушивается к движению души солдата Красной Армии, необычайно ценно увидеть людей, добившихся победы в переломной Орловской битве, после которой гитлеровские войска начали свое роковое отступление на запад. Люди эти простые. Лев Толстой заставил своего героя Пьера Безухова доискиваться главной причины,

приведшей русских солдат к победе под Бородином. И Пьер Безухов приходит к выводу, что солдаты завоевали победу потому, что они «не говорят, по делают».

Под Орлом русский солдат «делал», действовал, следуя велениям своей души и применяя свои разносторонние качества воина.

Штаб полка, куда я прибыл, маскировался рупнами деревни. Сам командир, полковник Макаров, стоял в разломанной сараях хибаре с одной уцелевшей горницею. Вишневый сад крестьянской усадьбы наполовину был выкорчеван бомбежкой, наполовину еще обвивал своими изогнутыми деревцами несчастную, ископанную воронками землю. Хибара прикрывалась этими остатками вишняка.

Мы лежали на земле и пили чай такого вкуса и букета, каких я не встретил во всей армии, в чем, к удовольствию полковника, и признался подававшей стаканы Катюше — почтенной и грозной женщине в красноармейской форме, с медалью. Как часто бывает, она оказалась женщиной мягкого сердца, и в ответ на мою похвалу последовало малиновое варенье к чаю.

Именно чай подходил к нашему разговору, который Макаров вел уравновешенно, поторопливо. Все в его повестях было прочно, устойчиво, они обладали истинным героизмом, далеким от показной красоты.

Он велел принести полковое знамя, и через пять минут я помог ему разерпнуть красное шелковое полотнище, и мы долго смотрели на него. Оно дочерно опалено разрывами авиабомб и разорвано по углам в клочья. Оно пробито осколками в десятке мест. От его древка не осталось следа. Его несли и защищали по очереди пять знаменосцев. Все они были убиты. Кровью они отстояли святыню, слава их смерти сделалась славой полка.

Макаров разглядывал большой рукой спутанные нитки почерневших клочьев шелка.

— У меня просили его отдать в музей, — сказал он. — Я отказался. Наш полк будет хранить его всегда. Мы так и будем жить под ним, на войне и после войны.

Мы сложили знамя опять.

Это исторически живое напоминание о самом горячем деле дивизии — о переправе через Оку при деревне Савинково. Много отлщилось здесь людей, сам Макаров носит за него орден Александра Невского. Страшная память об этом деле осталась у артиллеристов, принявших удар немецкой авиации. Но слава только и приходит тогда, когда преодолен

страх и кровь пролита не даром: Ока была форсирована, путь к Орлу завоепан.

Вот тут, у Савинкова, среди прочих прославился и тот разведчик, капитан Бодаев, который потом попил чаю с копытчиком в Орле. Тут он увидел немцев в спину, к чему, как я писал, начал уже привыкать, потому что столкнулся с немцами первый раз под Малоярославцем, второй — под Серпуховом, где трижды был рапеп, и вот теперь третий раз принудил их к повороту.

Разведчик всегда уходит далеко вперед со своей частью. А под Савинковым, после того как гитлеровцы нахлынули со множеством танков и самолетов и наша пехота под их давлением должна была отойти на позиции, Бодаев очутился оторванным с горсткой автоматчиков. Он объединил их под своим командованием с десятью солдатами, и у него получился отряд в двадцать пять человек. С одним противотанковым ружьем и с пятнадцатью автоматами он начал обороняться.

Очевидно, там, где дело идет о человеческом духе, математика отступает и соотношение сил намеряется как-то иначе. Бодаев остановил семь самоходных орудий, два танка и батальон пемецкой пехоты. Он захватил трофей и среди них — противотанковое орудие. И он перебил целую роту противника.

Подобный материал совершенно непригоден для арифметических задачникков. Но зато на войне его применение дает отличный результат. Капитан Бодаев сказал мне, что после Орла ему приходилось не раз захватывать в плен гитлеровских солдат, и первое, что они при этом кричали, было: «Я — поляк, я — поляк!» А ныне, в отчаянии забегаая вперед, кричали: «Гитлер — капут!»

В полку Макарова я слушаю эпопеи солдатских деяний и убеждаюсь, что воинские подвиги совершаются глубоко сознательно, но в пылу страсти. Сами герои воспринимают их как нечто подразумевающееся, естественное и рассказывают о них, будто мастер о проделанной работе, но о такой работе, которой он отдал душу.

Мы сидим втроем среди все тех же развалин деревни. Два моих собеседника, очень непохожие друг на друга, облагодают одним общим внутренним качеством: мне кажется — это ревность, ревность к делу. Они следят друг за другом с острой придирчивостью, но благожелательно, как это бывает у супружеских пар.

Коротенький, плотный, даже толстоватый Алексей Ива-

нович Шплекин — кондопожский рабочий, бумажник, ему чуть-чуть за сорок, по званию — старшина. В обороне он был снайпером, но из самых выдающихся, заурядным.

— Сколько же на вашем счету немцов?

— Обыкновенно.

— Ну а все же?

— Четырнадцать.

— Порядочно, — говорю я.

— Средственно, — уточняет другой собеседник, и по этому слову я предполагаю, что он «из курских».

— Курский, — подтверждает он с радостью. — Курский крестьянин, Аникеев Иван Игнатьевич, тысяча девятьсот девятого года.

Это сержант, высокий, худощавый, ширококостный. Руки его лежат на коленях, как отлитые. При прощании с ним я вполне оценил, что это за руки.

Когда полк форсировал Зушу, завязался бой у деревни Крутая Круча. Само название ее говорит, какова была местность, а каковы бывают бои в момент прорыва помещиных позиций — и говорить излишне.

И вот Шплекин рассказывает:

— Начинает он кидать и нас мины. Мы залегли. А он кидает сильней. Выбывает наш командир роты. Остаюсь я старшим. Командую: «Рота, слушай моих приказаний, я принимаю командование!» А он все кидает! Люди наши горят под его минами. Санитары не успевают выносить.

— Где поспеть, — вмешивается Аникеев, — где поспеть! Санитары тоже убили, а которые работали, те без пачальника остались.

— Без начальника они не были несколько, — останавливает сержант старшина.

— Как не были, если санинструктор...

— Погоди. Выбывает санинструктор, и я тогда сразу надеваю на себя его сумку.

— А я про то же и говорю.

— А ты говоришь, санитары остались без пачальника. Я надеваю его сумку и работаю за санинструктора: сам раненых перевязываю, сам выношу. А сам все командую ротой. Немец думал — конечно, мы готовы. Поддержал огонь, пошел на нас в атаку. Однако мы его не допустили, он стал отходить назад. У меня опять минутка находится — я к раненым. Перевязываю тяжелораненого, вижу: немцы наших в плен захватили, ведут сторожкой. Наших пять человек, их — одиннадцать. Оглянулся я. Вот так вот, как до этой

вышли, около убитого бойца — пулемет. Подползаю я к пулемету. На убитом — грабато. Я ее беру. Лежу, укрылся, выжидаю. Сначала пашни, которые в плечи попали, проходят, за ними — немцы. Я тогда — раз! — гранату. И — за пулемет. Восемь немцев уложил, и тут вся лента вышла. Оглянувшись опять...

Но на этом месте рассказ Аникеев не выдержал, потому что ему давно хотелось выразить, как все это он пережил, а Шилепкин рассказывал гладко, некуда было слова вставить.

— Я тогда... — начал он, волнуясь.

— Погоди, — остановил старшина. — Оглянувшись я, вижу: сержант Иван Игнатьевич из окопчика поднимается.

— Я подбегаю... — опять начал Аникеев.

— Погоди, — безжалостно перебил Шилепкин. — Я тебя вижу, как ты приближаешься, и командую: «Сержант Аникеев, помоги!»

И старшина кратким жестом командира передал наконец слово Аникееву.

— Я про то же говорю, — третий раз начал тот. — Я слышу, как он мне командует: «Аникеев, помоги!» Бегу к нему и с колена из автомата — сколько очередей, не помню, дал, — только остальных трех немцев копчил. Всех пятерых пашни мы освободили. И стали мы тогда с Алексеем Ивановичем раненых с поля боя выносить. Вынесли мы тридцать двух человек.

— Тридцать двух, — подтвердил Шилепкин и прибавил: — Он тут опять припался меня кидать.

— В это время по связи передают приказание майора, — сказал Аникеев.

— Нет, погоди, — остановил Шилепкин. — В это время, пока мы с тобой раненых выносили, я продолжал командовать ротой.

— Я ничего не говорю про то, когда мы с тобой раненых выносили. А я говорю, когда мы кончили выносить, поступило личное приказание от майора — это наш командир батальона — назначить сержанта Аникеева командовать ротой, это меня.

— А Шилепкин? — спросил я.

— Я остался сапидструктором, — ответил он. — Дал мне в мое распоряжение фельдшер пять санитаров. Я и продолжал сапроботу.

— Как же сержант командовал ротой? — попытал я.

— А вот как, — сказал Аникеев, подвигаясь ближе ко мне

и этим показывая, что теперь он не потерпит больше вмешательства Шилепкина в разговор. — Как вышло приказание идти в контратаку, так поднял я роту и пошел. Как дошли мы до его позиций, так я скомандовал — в штыки! Было со мной тридцать бойцов. Поднялись они все и в один голос: «Ура!» Как крикнули «ура», так всю операцию и не переставали кричать. И я кричал.

— Какую операцию? — спросил я.

— Таковую операцию, что порвались мы к нему в позицию и первое — начали его колоть. Второе — он побежал, мы его бросились преследовать. Третье — мы очистили от него позицию, захватили четыре пулемета, телефон и две рации да винтовок...

— И что же, все время «ура» кричали?

— Одни уж начали винтовки спускать, которые захватили, а другие стоят с открытыми ртами, кричат. Я говорю: «Чего орете, трофей надо подсчитывать, наша победа». А они смотрят на меня, у них все еще рты не закрываются.

Двое этих ревнивых друзей по роте — сержант и старшина, крестьянин и рабочий — останутся в моей памяти надолго. Но резцом какой стали врежутся они в память друг другу, пройдя действительно сквозь воду форсированных рек, сквозь огонь вражеских крепостей, сквозь медные трубы пушечных и минометных жерл? Нет крепче в мире памяти, чем солдатская память друзей, испытанных боем.

И еще в полку Макарова выдалась мне одна встреча, оставшая в сознании.

Юношески чистые глаза, но без застенчивости и без скрытности. Задорные, но без пахальства. Походка настолько легка, будто ноги того и гляди выскочат из отстающих сапог. Голенища, правда, больно широки, и почему не спадает сапоги — загадка.

Ну да, конечно, ему всего девятнадцать лет, а позади — столько должностей, столько званий: война любит быстрый рост. И при знакомстве со мной он уже не называет себя Алешей, он уверен, что ему идет только полное имя — Алексей Иванович Зайцев.

— Хорошо, Алексей Ивапыч, — говорю я. — А давно ли вы из школы?

— Давно.

— А как вы, Алексей Ивапыч, учились?

— Хорошо.

— А сильно ли вы, Алексей Ивапыч, озоровали?

— Сильпо.

Это все произойдет серьезно и даже в предупреждающем тоне, в том смысле, что, мол, вы со мной как будто шутить собираетесь? — напрасно. И вдруг — совершенно ребячий, обрадованный смех, точно солнце брызнуло сквозь тучки:

— Теперь, на войне, пригодилось.

— Что пригодилось, Алексей Ивanych?

— То, что сильно озоровал.

Я обнимаю его с тем порывом внезапного расположения, который известен учителям, и задаю ему, как учитель, задачу:

— Ну-ка перечислите мне, Алексей Ивanych, все должности, которые вы занимали с начала войны и до сего дня.

И он, сморщив брови, как у классной доски, перечисляет. Еще когда он был в учебном батальоне дивизии, его произвели в сержанты. К моменту поступления на Орел он — первый заместитель командира взвода автоматчиков. Когда выбыл командир, он заменил его и командовал взводом до самого Орла, где «попил чайку» (словечко свое дело делает — привилось и живет!).

— Ну, отличился все-таки чем-нибудь или нет?

— Так просто. Где увижу немецкий пулемет — сейчас автомат за спину, пулемет тяну. Комбат это заметил и назначил меня командиром пулеметной роты взамен выбывшего командира. Я-то ротой и командовал, пока не дали нового командира.

— Ну а все-таки, что же ты такое сделал, что к тебе доверие такое?

— А ничего. Не дал ребятам в панику бросаться. У меня ребята держались по как!

— Кем же ты сейчас?

— Сейчас — командир расчета пулеметной роты. Меня учиться посылают на офицера, а я не хочу... Почему не хочу? Вот когда победим, тогда захочу...

— Ты офицером и победишь. Офицеры знаешь как пужны армия?

— Я раньше до Берлина дойду, — выпаливает он, и вдруг опять у него вырывается мальчишеский смех.

Но он сразу подавляет его, смотрит мне в глаза испытующе-прямо и выговаривает с неожиданной, ярой запознательностью:

— Эх, я ему покажу!.. А что ему спускать? Он наших родных будет калечить, а мы — смотреть?

Тут я заново вижу его глаза: нет, это не мальчик, но юноша — это воин, гневный, страшный и мстительный, мужественный воин.

— Откуда же ты такой родом взялся, Алексей Иванович?

— Я чернский, — отвечает он.

— Как чернский? — вскрикнул я. — Из Черни?

— Из Чернского района.

Слово это пламенем осветило мне разваленный германцами когда-то милый городок — кучи и горы оскверненной почвы, поросшей непролазным бурьяном. След землетрясения. Быльё.

Так вот как мстит маленькая Чернь за свое поругание! Вот какой огонь посылает она вдогонку за изгоняемым из нашей земли врагом! Вот он, фактор времени в войне: неудержимо быстро созревает молодое племя воинов, из мальчиков делая мужей и мужей превращая в богатырей.

И тут я ясно увидел, как всякий городок, каждое селение и каждый двор, каждый дом, разрушенные фашистами, отправляют на великое поле своих беспощадных мстителей, наполняя сердце их болью за Родину и напутствуя — сим победиши!

Еще раз обнял я Алексея Ивановича, мальчика-мужа, и сказал:

— Хорошо, Алексей Иванович, иди на Берлин солдатом. Все равно вернешься ты офицером.

ЛЕОНИД СОВОЛЕВ

БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ

Этот бой начался для Михаила Негребы прыжком в темноту. Вернее — дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолета, где он неловко застрял, задерживая других.

Он пролетел порядочный кусок темноты, пока решился дернуть за кольцо: это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолета. Парашют послушно раскрылся, и если бы Негреба смог увидеть рядом своего дружка Королева, он подмигнул бы ему и сказал: «А все-таки вышло по-нашему!»

Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королев, ни Негреба не могли, понятно, упустить такого случая, и оба на вопрос, прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же... в аэроклубе — семь прыжков». Можно было бы для верности сказать — двадцать, но тогда их сделали бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью: достаточно было и того, что при первой подготовке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки.

Однако все это обошлось, и теперь Негреба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблескивало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка (с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя с тыла ему навстречу). В городе кровавым цветком распускался боль-

шой, высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негреба, было совершенно темно.

Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак лихора, где множество людей торопливо докуривают папирсы, вспыхивая частыми затяжками. Это и была линия фронта, и сесть следовало за ней, в тылу у румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил под боем вкось.

Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил в темноте кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негреба вынул из мешка кусачки и перекусил ее в нескольких местах, ползя вдоль нее. Тут ему пришло в голову, что проволока может привести к румынской части, где можно устроить порядочный аврал огнем из автомата.

Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негреба увидел трех коней и поодаль часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока они привыкнут. За это время Негреба подумал, что можно спать часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой кинжал. Именно эта правая рука провалилась на полке в непонятную яму и тотчас уперлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса.

Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие оказалось одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пишущая машинка. Негреба осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб батальона, может быть, полка. Румынские офицеры сгрудились у стола за картой, по которой им что-то раздраженно показывал черноусый и давно не бритый пожилой офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозревали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. Негреба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта, и к погребу подскочили еще двое. Негреба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и встали

«смирно», — очевидно, один из вошедших был большим начальником.

Негреба швырнул гранаты в отдушину и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда.

Уже рассвело, когда Негреба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залег в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он скакал во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негреба павел па него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негреба обрадовался: видно, рядом прятался еще один наш парашютист. Снова застучал автомат, и Негреба понял, что он бьет из кустов рядом.

Он решил переползти по кукурузе к товарищу (все же вдвоем лучше), но тут запыли мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда на ложбинки показались пескострелы румын, непрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негребе товарищ. Негреба в их трескотню добавив свою очередь. Несколько румын упало, остальные метнулись в кукурузу. Все снова стихло, только издали доносилась стрельба.

Он пополз к кустам и нашел там Леоптьева. Тот лежал пичком, подбитый миной. Негреба повернул его. Леоптьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал:

— Миша... пристреля... не выбраться...

Негреба взглянул в его белое, восковое лицо и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, он найдет и свой собственный конец: пропест Леоптьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь или выполнить его просьбу — тоже. Все в нем похолодело и запыло, и он ругнул себя — пужно ему было лезть сюда... Шел бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы... Но хотя жалость к себе и своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилег к Леоптьеву и сказал так весело, как сумел:

— Это, друг, всегда поспеется... Сперва перевяжу... Отсидимся: двое — не один...

На перевязку ушли оба пакета — леоптьевский и свой. Леоптьев почувствовал себя лучше. Негреба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат и сказал:

— Ты за книжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов! Отобьемся. Слышь, наши близко.

В самом деле впереди, за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видно, десантный полк атаковал румын. Но от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, а кустик с двумя моряками окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому. Негреба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву.

— Гранаты у тебя есть?

— Есть, — отвечал тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом. — Три штучки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду... Наложим их, Миша, пока дойдут, а?

— Факт, наложим, — сказал Негреба, и они замолчали.

Бой приближался. Стрельба доносилась все ближе. Солнце уже грело порядочно, и теплый, горький запах гнал подымался от земли. Ждать последнего боя — и с ним смерти — было трудно. Сбоку, метрах в трехстах, виднелась глубокая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румынских фашистов с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог.

Он заставил себя смотреть перед собой, на ложбинку, откуда должны были появиться враги. И уже хотелось, чтобы это было скорее: ему показалось, что нервов у него не хватит и что, если это ожидание еще продлится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползет к балке, в сторону от пути отходящих батальонов.

— Наши сзади, — сказал вдруг Леонтьев. — Слышишь?

Негреба и сам слышал сзади четкие недолгие очереди, но боялся этому верить. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом:

— Моряки!.. Сюда!..

Он пытался подняться, но снова упал на траву. Негреба высунил голову из куста и в желтой кукурузе увидел неподлеку черную бескозырку, левее — вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой:

— Моряки!.. Перепелица, чертяка, право на борт, свои!

Два парашютиста перебежали по кукурузе к кустам.

Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в куст, и Негреба наскоро сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга.

— Тут нам не позиция, тут нас, как курей, задуют, — сказал он. — Тащите Леонтьева, я прикрывать буду.

Котиков и Перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось еще метров восемьдесят, когда на ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Негреба ответил огнем из автомата, но и остальным двоим пришлось положить Леонтьева и тоже вступить в бой. Отбившись, моряки наконец скатились в балку и там нашли еще одного парашютиста — Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставив из травы черное дуло автомата. Увидев краснофлотцев, он возбужденно сказал:

— А я уж думал — мне труба! Лежу один, как перст, а их сейчас попрет — только считай!.. Ну, теперь нас сила!

Леонтьев был без сознания. Негреба осмотрел повязки: они были в крови. Тогда он снял с себя форменку, разорвал ее и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад.

— Позавтракаем пока, что ли, — сказал он. И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги еще ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Негребе:

— Дай ему. Горит человек.

Негреба осторожно влил воду в рот Леонтьева. Тот глотнул.

— Держись, Леонтьич, — сказал Негреба, — гляди, нас теперь сколько... Факт, пробьемся!

Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица негромко сказал:

— Поперли румянешти, гляди...

И точно, из ложбинки прямо на те кусты, где недавно еще были моряки, выбежала первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежали шесть немцев-автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по отступающим румынам.

— Вот это тактика! — удивился Негреба. — Что ж, морячки, поможем немцам?.. Только, чур, по-ихнему: прицельно бить, не очередуя.

Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивающего пистолетом. Из балки во фланг отступающим ударили пули моряков.

Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке, и моряки прошли бы к себе в тыл без потерь. Но они стреляли, открывая огнем свое присутствие здесь, стреляли потому, что каждый выстрел уничтожал еще одного врага, стреляли, помогая атаке десантного полка.

Под этим огнем офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повел их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец волна румын прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела. Перепелица оглянул поле боя.

— Порядком паложки! — сказал он удовлетворенно. — А как у нас с патронами, ребята?

С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать румыны соседнего участка, и, по всем расчетам, они неминуемо должны были паскочить на балку. Негреба предложил повторить маневр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонычева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. Потом Негреба сказал:

— Что ж. Видно, тут падо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По тем, кто вплотную набегит.

Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Перепелица достал из мешка офицерский пистолет и посмотрел обойму.

— Шесть патронов, — сказал он. — А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно?

— Понятно, — сказал Литовченко.

— Ясно, — подтвердил Котиков.

— Точно, — добавил Негреба.

Он сорвал четыре травинки и откусил одну, подравняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко.

— Откуда у тебя пхпий пистолет? — спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегченно: — Не мне, длинная.

— Пристукнул ночью офицера, — ответил Перепелица. — Вещь не тяжелая, а пригодится... Тащи ты, Котиков.

— Может, лучше свои патроны оставить? — раздумчиво

сказал тот, осторожно таща травинку.— Погапо ихними-то пулями...

Его травинка тоже оказалась длинной.

— Коли рапят, с автоматом не упрямишься, а этим и лежа всех достанешь,— сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам.— Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе... Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно?

— Ясно,— сказал Негреба и положил пистолет под руку.

— Кажись, пошли,— негромко сказал Котиков.— Ну, моряки... Коли ничего не будет, свидимся.

И моряки замолчали. Только изредка стонал Леоптьев. Перепелица перекинул Негребе бушлат:

— Прикройся. Лежишь, что эсбра полосатая. За версту видать.

— Все одно видать,— ответил Негреба.— Лучше уж так. Хоть увидят, что моряки.

И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покатившуюся к балке.

Румыны выбегали из окон, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседали на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотной цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой все ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежало прямо на балку, видимо, чуя, что тут они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они еще раз залегли, отстреливаясь, потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке. Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искаженные страхом. Они были так близко, что тяжелый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно.

И тогда на их пути встал Негреба, встал во весь рост — крепкий и ладный, в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой.

— Эй, аптонески, огребай матросский подарок! — крикнул он в наступлении и швырнул гранату. Вслед за ней из балки вылетели еще три. Ахнули взрывы. Румыны попадали. Другие отшатнулись и, петляя, двинулись по сторонам. Моряки бросили еще четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнул:

— Мишка, а ведь прорвемся! Хватай Леоптьева!

Моряки мгновенно поплыли его, и каждый свободной ру-

кой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев от боли пришел в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он разжал зубы и глянул на Перепелицу.

— Бросьте меня... Пробивайтесь...

Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал.

Румыны подскочили уже близко. Моряков было всего пятеро, а их сотни. Враги, видимо, поняли это и решили взять моряков живьем. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь ударить его штыком. Котиков выпустил погу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок, но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул ее в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул:

— Тащите вдвоем, мы с Котиковым задержим!

Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негреба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое ползли за ними, сдерживая румын редким, но точным огнем. Наконец те отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп.

Тут они опомнились и осмотрелись: у Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке, Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки.

Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынский автомат и гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слез, лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе. Взгляд этот, вероятно, смутал Негребу, потому что он встал и сказал с излишней деловитостью:

— Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас посплани пришло. Идем своих искать.

И они встали в рост — четыре человека в полосатых тельняшках, в черных бескозырках, окровавленные, перевязан-

ные обрывками форменок, по сильным и готовые слова про-
блаться сквозь сотни врагов.

И, видимо, сами они поразились своей живучей сплющю.

И Перепелца сказал:

— Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моря-
ка — рота... Сколько нас? Четверо? Батальон, слушай мою
команду: шагом... арш!

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

МАРТ — АПРЕЛЬ

Изодрапный комбинезон, прогоревший во время почвовод у костра, свободно болтался на капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от вьсышей-ся грязи морщины делали лицо капитана старческим.

В марте он со специальным заданием прыгнул с парашютом в тылу врага, и теперь, когда снег стоял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу в набухших водой валежках было очень тяжело.

Первое время он шел только ночью, днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.

Капитан выполнял задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.

Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром снегу, голодными глазами косился он на белые стволы берез, кору которых — он знал — можно пестолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус.

Размышляя в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к спутнику, достойному и мужественному.

«Принимая во внимание чрезвычайное обстоятельство,— думал капитан,— вы можете выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переместить обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше тяжелое положение. И как говорится, вопль брюха заглушает в вас голос рассудка».

Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать сам с собой до тех пор, пока не уставал, или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал,

очень неплохой парень, все понимает, добрый, душевный. Лишь изредка капитан грубо прерывал его. Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжицы, оттаявшей и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищей. Капитан в отряде считался человеком малосимпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов.

Возвращаясь после задания, капитан старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал: «Побриться бы надо, а то щеки как у ежа» — и бесшумно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхая после задания, валялся на койке; к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек, — говорили о нем, — скучный.

Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья была уничтожена немцами.

Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебая суп и держа перед глазами письмо, он сообщил:

— Жена пишет.

Все переглянулись, многие думали: капитан потому такой нелюдимый, что его постигло несчастье. А несчастья никакого не было.

А потом, капитан не любил скрипки. Звук смычка действовал на него раздражающе.

...Голый и мокрый лес. Топкая почва, ямы, заполненные грязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливо брести по этим одиночавшим местам одинокому, усталому, измученному человеку.

Но капитан умышленно выбирал эти дикие места, где встреча с немцами менее вероятна. И чем более заброшенной и забытой выглядела земля, тем поступок капитана была увереннее.

Вот только голод начинал мучить. Капитан временами плохо видел. Он останавливался, тер глаза и, когда это не помогало, брал себя кулаком в шерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообращение.

Спускаясь в балку, капитан поклонился к крохотному водопаду, стекавшему с ледяной бахромы откоса, и стал пить воду, ощущая тошнотный, пресный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хотелось,— пить только для того, чтобы заполнить пустоту в тоскующем желудке.

Вечерело. Тощие тепл ложжились на мокрый снег. Стало холодно. Лужи застывали, и лед громко хрустел под ногами. Мокрые ветки обмерзли: когда он отводил их рукой, они звенели. И как бы пытался капитан идти бесшумно, каждый шаг сопровождался хрустом и звоном.

Ваошла луна. Лес засверкал.

Где-то в этом квадрате должен был находиться радист. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам. Вероятно, радист выкопал себе логовище не менее тайное, чем нора у зверя.

Не будет же он ходить и кричать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?!»

Капитан шел в чаще, озаренной ярким светом; валенки его от ночного холода стали тяжелыми и твердыми, как каменные тумбы.

Он алился на радиста, которого так трудно разыскать, но еще больше разолился бы, если бы радиста удалось обнаружить сразу.

Запиувшись о валежник, погребенный под заскорузлым снегом, капитан упал. И когда с трудом подымался, упираясь руками в снег, за спиной его раздавался металлический щелчок пистолета.

— Хальт! — сказали ему тихо. — Хальт!

Но капитан странно вел себя. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шепотом, ему приказали на немецком языке поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:

— Если человек лежит, при чем тут «хальт»? Нужно было сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув его в шапку,— тогда выстрел будет глухой, тихий. А кроме того, немец кричит «хальт» громко, чтобы услышал сосед и в случае чего пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку... — И капитан поднялся...

Пароль прозвучал он одними губами. Когда получил ответ, кивнул головой и, взяв на предохранитель, супул в карман спий «зауер».

— А пистолетик все-таки в руке держали!

Капитан сердито посмотрел на радиста.

— Ты что же думал, только на твою мудрость буду рас-

считывать? — И потерпеливо потребовал: — Давай показывай, где тут твоё помещенье!

— Вы за мной, — сказал радист, стоя на коленях в неестественной позе, — а я пополазу.

— Зачем ползти? В лесу спокойно.

— Нога у меня обморожена, — тихо объяснил радист, — болит очень.

Капитан недовольно поморщился и пошел вслед за ползущим на четвереньках человеком. Потом он насмешливо спросил:

— Ты что ж, босиком бегал?

— Болтанка спящая была, когда прыгали. У меня валенок и слетел... еще в воздухе.

— Хорошо! Как это ты еще штаны не потерял. — И добавил: — Выбирайся теперь с тобой отсюда!

Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:

— Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сама доберусь.

— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Засекли фашисты рацию, попятно? — И вдруг, наклонившись, капитан тревожно спросил: — Постой, фамилия как твоя? Лицо что-то знакомое.

— Михайлова.

— Лихо! — пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно. — Ну ладно, ничего, как-нибудь разберемся. — Потом вежливо осведомился: — Может, вам помочь?

Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по самым плочкам в снег.

Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайлову у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе, — высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо поднятой головой и ярким, большим и точно очерченным ртом, от которого трудно отвести глаза, когда она говорит.

У нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза. Неприятная не потому, что видеть такие глаза неприятно, — напротив, большие, выразительные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших зрачков, они были очень хороши. Но плохо то, что пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.

А потом эта мапора носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их за воротник шинели!

Сколько раз говорил капитан:

— Подберите ваши волосы. Военная форма — это не маскарадный костюм.

Правда, занималась Михайлова старательно. Оставалась после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами, довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.

Начальник курсов сделал замечание капитану за то, что он так мало уделяет внимания Михайловой.

— Ведь она же хорошая девушка.

— Хороша для семейной жизни. — И неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ полковник, нашему брату никаких лишних крючков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственноручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожалеет себя! Разве можно себя, такую... — Капитан сбился.

Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радисток.

Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые остекленные веранды, красные дорожки внутри, яркая, лакированная мебель — вся эта обстановка, не потерявшая еще всей прелести мирной жизни, располагала по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно было подумать, что это обычный канун выходного дня в солидном подмосковном доме отдыха.

Стучали зенитки, и белое пламя прожекторов копалось в небе своими пегнущимися щупальцами, — но об этом можно было не думать.

После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной, с поджатыми ногами и с книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленной на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой девушки с красивым спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее, тонкие и белые, — все это не вязалось с техникой подрывного дела или пацесением по тырсе ударов пожаром с ручкой, обтянутой резиной.

Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала и вытягивалась, как это и предполагается при появлении командира.

Жаворонок, небрежно кивнув, проходил мимо. Этот сильный человек с красным, сухим лицом спортсмена, правда, немного усталым и грустным, был жестоким и требовательным не только к подчиненным, но и к себе самому.

Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он имел на это право. Холодной болью застыла в сердце капитана смерть его жены и ребенка: двадцать второго июня немецкие танки раздавили их в пограничном поселке.

Капитан молчал о своей горе. Он не хотел, чтобы его несчастье служило причиной его бесстрашия. Поэтому он обманывал своих товарищей. Он сказал себе: «Жену мою, ребенка не убили, они живы. Я не мелкий человек. Я такой же, как все. Я должен драться спокойно». И он не был мелким человеком. Всю свою жизненную силу он сосредоточил на борьбе с врагом. Таких людей, с обгаренным сердцем, гордых, скорбящих и сильных, немало на войне.

Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточил враг твоё сердце!

И вот сейчас, шагая за ползущей радисткой, капитан старался не размышлять ни о чем, что могло бы помешать ему обдумать свое положение. Он голоден, слаб, измучен длинным переходом. Конечно, она рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что он куда не годится.

Сказать все? Ну, нет! Лучше заставить ее как-нибудь подтянуться, а там он соберется с силами, и, может быть, как-нибудь удастся...

В отвесном скате балки весенние воды промыли нечто вроде пиши. Жесткие корни деревьев свисали над гололой, то тонкие, как шпагат, то перекрученные и жилистые, похожие на пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал пишу спаружи. Днем свет пропикал сюда, как в стеклянную орапжерю. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратный ящик рации, спальный мешок, лыжи, прислоненные к стене.

— Уютная пещерка, — заметил капитан. И, похлопав рукой по подстилке, сказал: — Садитесь и разувайтесь.

— Что? — гневно-удивленно спросила девушка.

— Разувайтесь. Я должен знать, куда вы ходите с такой ногой.

— Вы не доктор. И потом...

— Знаете, — сказал капитан, — договоримся с самого начала, меньше разговаривайте.

— Ой, больно!

— Не кричите,— сказал капитан, ощупывая ступню ее, вспухшую, обтянутую глянцевиной синей кожей.

— Да я же не могу больше терпеть.

— Ладно, потерпите,— сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.

— Мне не нужно вашего шарфа.

— Грязный посок лучше?

— Он чистый.

— Знаете,— снова повторял капитан,— не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?

— Нет.

Капитан поднял руку, оторвал кусок тонкого корня, перевязал им ногу, обмотанную шарфом, и объявил:

— Хорошо держится!

Потом он вытащил лыжи наружу и что-то мастерил, орудуя ножом. Вернулся, взял рацию и сказал:

— Можно ехать.

— Вы хотите тащить меня на лыжах?

— Я этого, положим, не хочу, но приходится.

— Ну что же, у меня другого выхода нет.

— Вот это правильно,— согласился капитан.— Кстати, у вас пожевать чего-нибудь найдется?

— Вот,— сказала она и вытащила из кармана поломанный сухарь.

— Маловато.

— Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней...

— Понятно,— сказал капитан.— Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.

— Можете оставить ваш шоколад себе.

— А я утощать и не собираюсь.— И капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рации.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее — на санях, сделанных из лыж), помогала ему, отталкиваясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что было трудно дышать.

«Если я ей скажу, что пикуда не гожусь, она растеряется. Если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно».

Капитан посмотрел на часы и сказал:

— Не худо бы выпить горячего.

Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет не-

видимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полузарядом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветки, поднес спичку.

Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер жестяную банку, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернув его в платок, и, положив на пень, стал бить по сухарю черенком ножа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Слив банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.

— Вкусно? — спросила девушка.

— Почти как кофе «Здоровье». — И капитан протянул ей банку с корицовой жижкой.

— Я потерплю, не надо, — сказала девушка.

— Вы у меня еще натерпитесь, — сказал капитан. — А пока пейте.

К вечеру ему удалось убить старого грача.

— Вы будете есть ворону? — спросила девушка.

— Это не ворона, а грач, — сказал капитан.

Он зажарил птицу на костре.

— Хотите? — предложил он половинку птицы девушке.

— Ни за что! — с отвращением сказала она.

Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:

— Пожалуй, это будет справедливо, — и съел всю птицу. Закурив, он повеселел и спросил:

— Ну, как нога?

— Мне кажется, я смогла бы пройти немного, — сказала девушка.

— Это вы бросьте!

Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала.

На рассвете капитан остановился в овраге.

Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина. Капитан выгреб из ямы снег, наломал ветвей и постелил на них плащ-палатку.

— Вы хотите спать? — спросила, проснувшись, девушка.

— Часок, не больше, — сказал капитан. — А то я совсем забыл, как это делается.

Девушка начала выбираться из своего спального мешка.

— Это еще что за помер? — спросил капитан, приподнявшись.

Девушка подошла и сказала:

— Я лягу с вами, так будет теплее. А накроюсь мешком.

— Ну, знаете... — сказал капитан.

— Подвигнитесь, — сказала девушка. — Но хотите же вы, чтобы я лежала па снегу... Вам неудобно?

— Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут, чихать хочется, и вообще...

— Вы хотите спать — ну и спите. А волосы вам мои не мешают.

— Мешают, — вяло сказал капитан и заснул.

Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков.

Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка паклопилась и осторожно просунула свою руку под его голову.

С ветви дерева, склопенного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая лицо спящего. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.

Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.

— У вас седина здесь, — сказала девушка. — Это после того случая?

— Какого? — спросил капитан, потягиваясь.

— Ну, когда вас расстреливали?

— Не помню, — сказал капитан и зевнул. Ему не хотелось вспоминать про этот случай.

Дело было так. В августе капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов. Его контузило взрывной волной, неузнаваемо обожгло пламенем. Он лежал в тлеющей черной одежде, когда немецкие санитары подобрали его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь. Он пролежал три недели, притворяясь глухим. Потом врачи установили, что он не потерял слуха. Гестаповцы расстреляли Жаворонкова вместе с тремя немецкими солдатами-симулянтами. Ночью тяжело раненный капитан выбрался из рва и полз двадцать километров до места явки.

Чтобы прекратить разговор, он спросил:

— Нога все болит?

— Я ж сказала, что могу идти сама, — раздраженно ответила девушка.

— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаете.

Капитан впрягся в сани и снова заковылял по талому снегу.

Шел дождь со снегом. Ноги разъезжалось. Капитан часто

проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, па которой, вероятно, вода уже выступила поверх льда.

На дороге лежала убитая лошадь.

Капитан присел возле нее на корточках, вытащил нож.

— Знаете,— сказала девушка, приподнимаясь,— вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно.

— Просто вы есть хотите,— спокойно ответил капитан.

Он поджаривал тонкие ломтики мяса, насадив их на стержень антенны, как на вертел.

— Вкусно! — удивилась девушка.

— Еще бы! — улыбнулся капитан. — Жареная копченее говядины.

Потом он поднялся и сказал:

— Я пойду посмотрю, что там, а вы оставайтесь.

— Хорошо,— согласилась девушка. — Может, это вам покажется смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.

— Ну-ну! Без глупостей,— пробормотал капитан.

Но это больше относилось к нему самому, потому что он смутился.

Вернулся он ночью.

Девушка сидела на санях, держа пистолет в руке. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.

— Садитесь, садитесь,— попросил капитан тоном, каким говорил всем курсантам, встававшим при его появлении.

Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку:

— Штука-то какая. Фашисты недалеко отсюда аэродром оборудовали.

— Ну и что? — спросила девушка.

— Ничего,— ответил капитан. — Ловко очень устроили. — Потом серьезно спросил: — У вас передатчик работает?

— Вы хотите связаться? — обрадовалась девушка.

— И даже очень,— сказал капитан.

Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через несколько минут она спросила, что передавать. Капитан присел рядом с ней. Стукнув кулаком по ладони, он сказал:

— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому целепоном будет служить наша рация па волне... Какая там у вас волна, сообщите.

Девушка сняла наушники и с святым лицом повернулась к капитану.

Но капитан, сворачивая новую сигарку, даже не поднял глаз.

— Теперь вот что, — сказал он глухо. — Рацию я забираю и иду туда, — он махнул рукой и пояснил: — Чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доплывете до Малоповки, километра три, там вас встретят.

— Очень хорошо, — сказала Михайлова. — Только рацию вы не получите.

— Ну, ну, — сказал капитан, — это вы бросьте.

— Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.

— В виде бесплатного приложения, — буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес: — А я вам приказываю.

— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать у меня вы не имеете права.

— Да поймите же вы! — вспыхнул капитан.

— Я понимаю, — спокойно сказала Михайлова. — Это задание касается только меня одной. — И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала: — Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дело.

Капитан резко повернулся к Михайловой. Он хотел сказать что-то обидное, но превамог себя и с усилием произнес:

— Ладно, валяйте, действуйте. — И, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал: — Сама додуматься не могла, так теперь вот...

Михайлова насмешливо сказала:

— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.

Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.

— Чего же вы сидите, время не ждет.

Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась.

— До свиданья, капитан.

— Идите, идите, — буркнул тот и пошел к реке...

Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой бы это было приятно.

Если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, и ее

красивых глазах паверьяка появилось бы мечтательное выражение. Свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.

В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночество. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:

— Но ведь другие могут?

— А если вас убьют?

— Не всех же убивают.

— А если вас будут мучить?

Она задумалась бы и тихо сказала:

— Я не знаю, как я себя буду держать. Но петь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.

И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым голосом:

— Нам теперь с матерью будет очень тяжело, очень.

— Папа,— звонко сказала она,— папа, ну ты пойми, я же не могу оставаться!

Отец поднял лицо, и она испугалась. Таким оно было замученным и старым.

— Я понимаю,— сказал отец.— Ну что же, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.

— Папа,— крикнула тогда она,— папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!

Матери она утром сказала, что она поступает на курсы военных телефонисток.

Мать поблдедела, но сдержалась и только попросила:

— Будь осторожнее, деточка.

На курсах Михайлова училась старательно и во время проверки знаний волновалась, как в школе на экзаменах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только число знаков передачи, но и ее грамотность.

Оставшись одна в лесу в эти дикие, холодные и черные ночи, она в первые дни плакала и съела весь поклад. Но передачи вела регулярно, и, хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так скучно, она не делала этого, экономя электроэнергию.

И вот сейчас, пробираясь к аэродрому, она удивилась,

как все это просто. Вот она ползет по мокрому снегу, мокрая, с обмороженной ногой. А когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла свои глаза. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как дочь не любила класть его под мышку холодным. И когда звонил по телефону, мать шепотом растерянно говорила: «Она больна». А отец затапливал в телефон бумажку, чтобы звонок по тревожил дочь. А вот если враги успеют быстро засечь рацию, Михайлову убьют.

Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, пропитанном снегу. На ней меховой комбинезон. Опл, паверное, сдерут его. И она ужаснулась, представляя себя голой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть отвратительными глазами фашисты.

А этот лес так похож на рощу в Краскове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гамак был подвешен вот к таким же двум соснам-близнецам.

И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за пей и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми глазами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: «Только не в губы». А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.

Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое парадное платье. Ребята спросили:

— Ты что так расфрантилась?

— Подумаешь,— сказала она.— Почему мне не быть красивой докладчицей?

И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь, и волочит обмороженную, вспухшую ногу.

«Ну, убьют! Ну и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну и меня убьют. Я хуже их, что ли?»

Шел снег, хлюпали лужи. Гиппой снег лежал в оврагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку.

Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полузакрыв

глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, по сигналам радики не было.

Пилоты па своих сиденьях и стрелок-радиет тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, по сигналов не было. Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.

И вдруг тихо, осторожно прозвучали позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутинку звука, разворачивались; ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной, как песня сверчка, как зов сухого колоса па степном ветру, как шорох осеннего листа, этот звук стал поводом огромным стальным кораблям.

Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-радиеты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будут сброшены туда, па этот родной, призывный клич радики. Потому что здесь — самолеты врага.

Михайлова стояла на коленях в яме, в черной типистой воде и, наклонившись к радики, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой типе обмороженная нога онемела, боль в висках стискивала голову горячим обручем. Михайлову знобило. Когда она поднесла руку к губам — губы были горячие и сухие. «Простудилась, — тоскливо подумала она. — Впрочем, теперь это не важно».

Иногда ей казалось, что она теряет сознание. Она открывала глаза и испуганно вслушивалась. В паузках звонко и четко цели сигналы. Значит, рука ее, помимо воли, нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке, и, может быть, мне дали бы полубок... Там горит печь... и все тогда было бы иначе. А теперь уже больше пикого и ничего не будет... Страшно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Все-таки я молодец. Может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно. Нет, это оттого, что мне больно, потому и не так страшно. Скорее бы только. Ну, что они в самом деле! Неужели не понимают, что я больше не могу?»

Всклиснув, она легла на откос котлового и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперь ей стало видно огромное, тяжелое небо. Вот его лизнули прожекторы, послышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:

— Милые, хорошие! Накопец-то вы за мной прилетели! Мне так плохо здесь.— И вдруг испугалась: «Что, если вместо позывных я передала вот эти свои слова? Что же они тогда про меня подумают?»

Она села и стала стучать отдельно, четко, повторяя пслух шифр, чтобы снова не сбиться.

Гудению кораблей все приближалось. Застучали зенитки.

— Ага, не нравится?

Она подпилась. Ни боли, ничего. Изю всех сил она стучала по ключу, словно не сигналы, а крпк «Бейте, бейте!» высекала из ключа.

Рассекая черпый воздух, ахпула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась поднять ее. Взрывающиеся бомбы, казалось, летели прямо к ней в яму.

Она подобрала голову в плечи и присела, зажмурив глаза. Свет от пламени проникал сквозь веки. Дуповепнем разрыва в яму бросило колья, опутанные колючей проволокой. В промежутках между разрывами бомб на аэродроме что-то глухо лопалось и трещало. Черный туман волеял бензиповым чадом.

Потом наступила тишина, замолкли зенитки.

«Кончено,— с тоской подумала она.— Теперь я снова одна».

Она пыталась подняться, но ее погна...

Она их не чувствовала совсем. Что случилось? Потом она вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она контужена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глину немножко отдохнуть. Хотя бы одна бомба упала сюда! Как все было бы просто. И она не узнала бы самого страшного.

«Нет,— вдруг сказала она себе,— с другими было хуже, и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого».

Где-то ворчал автомобильный мотор, и белые холодные лучи несколько раз скользнули по черному кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый, чем взрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.

«Ищут. А лежать так хорошо. Неужели и этого больше не будет?»

Она хотела повернуться на спину, но боль в пояс горячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула, попыталась встать и упала.

Холодные твердые пальцы дергали застежку ее ворота. Она открыла глаза.

— Это вы? Вы за мной пришли? — сказала Михайлова и заплакала.

Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова закрыла глаза. Идти она не могла. Капитан ухватил ее рукой за пояс комбинезона и вытащил паперх. Другая рука у капитана болталась, как тряпичная.

Она слышала, как сипели полозья сапеев по грязи.

Потом она увидела капитана. Он сидел на пне и, держа один конец ремня в зубах, перетягивал свою голую руку, и из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:

— Ну как?

— Ничего, — прошептала она.

— Все равно, — сквозь зубы сказал капитан, — я больше никуда не поеду. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.

— А вы?

— А я здесь немного отдохну.

Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбаясь и свалился с пня на землю...

Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащила его бессильное тело на сани. Он лежал неудобно, лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.

Она долго дергала постромки, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постромки и, пятась, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.

Она ничего не понимала. Как это может еще продолжаться? Почему она стоит, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она стояла с полужакрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться.

Она видела, как капитан сполз на землю, положил грудь в голову на сани. Держась за перекладицу здоровой рукой, сказал:

— Так вам будет легче.

Он полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо.

Потом она упала и снова слышала сипение грязи под

полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.

Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукою, подвешенной к груди и зажатой между двумя обломками доски, и смотрел на нее.

— Проснулись? — спросил он незнакомым добрым голосом.

— Я не спала.

— Все равно, — сказал он, — это тоже вроде сна.

Она подняла руку и увидела, что рука голая.

— Это я сама разделась? — спросила она жалобно.

— Это я вас раздел, — сердито сказал капитан. И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил: — Мы же с вами вроде как в реке купались, а потом я думал, что вы ранены.

— Все равно, — сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.

— Конечно, — согласился он.

Она улыбнулась и сказала:

— Я знала, что вы вернетесь за мной.

— Это почему же? — усмехнулся капитан.

— Так, анала.

— Ничего вы не могли знать, — сказал капитан. — Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли убить. На такой аварийный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигнализировать огнем. А во-вторых, вас запленил броневилок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока я ему гранату не подсунил. А в-третьих...

— Что, в-третьих? — звонко спросила Михайлова.

— А в-третьих, — серьезно сказал капитан, — вы очень хорошая девушка. — И тут же резко добавил: — И вообще, где это вы слышали, чтобы кто-нибудь поступал иначе!

Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя спящими глазами в глаза капитану, громко и раздельно сказала:

— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.

Капитан отвернулся. У него побледнели уши.

— Ну, это вы бросьте.

— Я вас не так. Я вас просто так люблю, — гордо сказала Михайлова.

Капитан поднял глаза и, глядя исподлобья, задумчиво сказал:

— А вот у меня часто не хватает смелости говорить о том, о чем я думаю, и это очень плохо.

Поднявшись, он опять сурово спросил:

— Верхом ездил?

— Нет, — сказала Михайлова.

— Поедете, — сказал капитан.

— Гаврюша, партизан, — отрекомендовался заросший волосами низкорослый человек с веселыми прищуренными глазами, держа под уздцы двух костлявых и кудрых немецких гипстеров. Поймав взгляд Михайловой на своем лице, он объяснил: — Я, извините, сейчас на дворняжку похож. Прогоним оккупантов из района — побреюсь. У нас парикмахерская важная была. Зеркало — во! В полную фигуру человека.

Суетливо подсаживая Михайлову в седло, он смущенно бормотал:

— Вы не сомневайтесь насчет хвоста. Копь натуральный. Это порода такая. А я уж пешочком. Гордый человек, стесняюсь на бесхвостом копе ездить. Народ у нас смешливый. Война копчится, а они все дразнить будут.

Розовое и тихое утро. Нежно пахнет теплым телом деревьев, согретой землей. Михайлова, наклонясь с седла к капитану, произнесла взволнованно:

— Мне сейчас так хорошо. — И, посмотрев в глаза капитану, потупилась и с улыбкой прошептала: — Я сейчас такая счастливая.

— Ну еще бы, — сказал капитан, — вы еще будете счастливой.

Партизан, держась за стремя, шагал рядом с коном капитана; подняв голову, он вдруг заявил:

— Я раньше куру не мог резать. В хоре тепором пел. Пчеловод — профессия задумчивая. А сколько я этих фашистов порезал! — Он всплеснул руками. — Теперь я злой, обиженный.

Солнце поднялось выше. В бурой залежи уже просвечивали радостные, нежные зелены. Немецкие лошади прижимали уши и испуганно вздрагивали, шарахаясь от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени.

Когда капитан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбужденный, разговорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то

глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто невзначай:

— А Михайлова снова на задании.

На лице капитана на секунду появилась горькая морщина и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:

— Босвая девушка, ничего не скажешь,— и, одернув гимнастерку, пошел в кабинет пачальника доложить о своем возвращении.

НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

ДЕНЬ И ДВЕ НОЧИ

И сказал Староиванчиков:

— Безпогий душой крыльев не придумает...

И еще:

— Многие ловили ртом ворон, но не было случая, чтобы кто-нибудь поймал...

В октябре сорок первого в инженерной части, строившей оборонительные рубежи под Тихоновой Пустыней, мне дали командировку в Москву с дополнительным поручением купить патефон с пластинками, несколько настольных часов и керосиновые лампы. Теперь я искренне удивляюсь чепухе этого заказа, — до того ли было-то! — но в то время и командировку и заказ принял с легкой душой. На Тихоновой Пустыне порабатывали немецкие бомбардировщики, на части станционных путей рельсы были скручены взрывами, тяжело чадил горевший элеватор. Пассажирские поезда не ходили, и я отправился в свою недлнную поездку, не зная, что уже никогда не возвращусь назад, на обычном товарняке, который то, словно уторелый, лягая и раскачиваясь, летел на всех парах среди роящихся листву перелесков, то — дорогу бомбили — подолгу зря пытался на полустапках или на середине перегона. Соответственно и высадился я на станции Москва-товарная и оттуда по ночным путям и путанице стрелок, так ни разу и не нагнувшись на проверку документов, — тоже удивительное дело! — прибыл в град стольный.

А затем все завертелось и закружилось: командировка кончилась, закупки были произведены, но началось наступление немцев, часть исчезла, словно щепка в водовороте, и я безрезультатно, посидевшись предварительно в коридорах, пытался разузнать о ней по военным учреждениям, где самым стереотипным ответом было: «Не до вас!» Два раза доезжал я

до Малоярославца, несл расспросы в штабе какой-то армии — связаться помог поэт Сергей Фиксин, работавший в поспой газете, — но все было напрасно. Я потерялся, как мальчишка в давке. И вдобавок меня ударила тяжелая поклажа — слава богу, что керосиновых ламп не нашлось! — и особенно часы с педельным заводом, которые продавщица, перед тем как завернуть, закрутила на полную катушку. «Тик-так, тик-так!» — слышал я в узкой и сырой щели перед тем, как рвануть бомбам; «тик-так, тик-так!» — раздавалось над ухом, когда я прятал голову за пакетом во время пулеметного обстрела. Но, странное дело, когда часы наконец остановились, я вместо облегчения испытал щемящую тоску; молчание их усиливало чувство одиночества и напоминало о том, сколько времени уже прошло зря.

В таком состоянии подавленности и сидел я перед вечером хмурого дня на Киевском вокзале, где, за пепелищем другого приставища, обычно и ночевал. Пахло здесь шипельным суком, оружейным маслом, кожей, табаком. Здание вокзала, похожее на огромную сумеречную пещеру, сбивало голоса, шорох шагов, покашливанье, звяканье металла в один комок глуховатого гула, который не помещался в ушах. Под шевелился от спящих вповалку солдат, солдаты толпились у газетных киосков и касс, выходили на улицу и входили — казалось, за степами ворочается серый океан, вкатывающий и отсасывающий одну и ту же волну. Пожилой солдат напротив меня, сняв пилотку и пригладив темные волосы на лысеющей голове, шевелил черными усам, обнажая два металлических зуба, говорил соседу, молодому парню со сдобными щеками:

— Ка-ак жакнет бомба сюда, а? Мессиво будет.

— Чего бомба? — беспокоился молодой.

— Если бы, говорю, кинули.

— Так самолетов-то нет, тревогу не объявляли.

— Нет. Я к примеру.

— Стращаешь, значит...

Слева от них разбитной худешквей солдат в расхристанной шипельшке толкал в плечо посапывающего соседа.

— Слушай, пиво дают... Слышь?

— Какое такое пиво?

— Обыкновенное. По кружечке перед дорогой, а?

— Где дают?

— Да тут за углом.

— Денег нет у меня.

— Да есть деньги, слышь? У меня. Ведь когда его, этого пива, потом и выпьешь.

- А место?
- Чего место?
- Впрочем. Соображаешь?
- Так мы спдоры оставим и присмотреть попросим. Слышь? Пошли...

Постепенно, убаюканный гулом и голосами, я стал дремать и очнулся оттого, что между мной и соседом мягко, по настойчиво втискивался кто-то в кожаном реглане. Я подвинулся сколько мог, даже не посмотрев, мне было все равно.

Лишь спустя некоторое время в поле моего зрения попала нога, обутая в стоптанный, но с шиком начищенный сапог, — она то осторожно выдвигалась в узкую щель между двумя спящими солдатами, то подгибалась и пряталась.

— И сказал Старованников, — послышался молодой басок, — лучше всего носить свою ногу в кармане соседа, по так как никто этого не разрешает, приходится аккуратно навертывать портянки. Болит.

— Почему? — машинально спросил я.

— Натер, когда драгал...

Бегство на фронте мне в это время казалось крайне предосудительным, и я с некоторым недоумением посмотрел на моего нового соседа, который так непринужденно и без нужды признавался в этом. Он был в потертом кожаном реглане, недавно побрит, серые глаза смотрели внимательно и добродушно. Лицо с запавшими щеками, в отходящем загаре. подбородок мягкий, не из волевых, нос с мясистыми крыльями, чуть вздернутый. Словом, обличье из тех, что восемьсот на тыслу.

— Хотите сказать, когда отступали? — попытался уточнить я.

— Нет, драгал. Вам еще не приходилось?

— Не приходилось. И далеко вы это самое... драпали?

— Из Бельских лесов.

— Где это?

— Где-то близко от Белоруссии... Бабы кормили похлебкой меня, деды снабжали самосадам. А вы тут поезда ждете или смысл жизни ищете?

— При чем тут смысл жизни?

— Да так... Теперь многие увлекаются: быть, не быть?

— А вы?

— Какой из Васьки принц датский! Я часть ищу. Потеряла меня и в бюро паходок не заявила.

Рассказал: он лейтенант, авиатехник, был оставлен при поврежденном бомбардировщике в этих самых Бельских ле-

сах — караулить, пока не вытащат. Досиделся до прорыва немецких танков, которые расстреляли бомбардировщик вторично, а сам он, поняв, что попал в окружение, «шикнул по лесам» и больше четырех недель, сторонясь больших дорог, пробирался к своим. Три дня назад заехал в Кубинку, жены нет, дом вверх дном и щепки по дороге — разбомбили. Выяснилось, однако, что жена жива, уехала. В Москве толку никакого не добился, эвакуации да пертурбации, но один майор сказал, что видел два дня назад какой-то аэродром неподалеку от железной дороги Наро-Фоминск — Малоярославец.

— Махнем вместе, а? — предложил он, когда я, в свою очередь, изложил ему мою одиссею. — Как говорил Старопаванников, лучше молчать вдвоем, чем петь одному.

— Что это за древний мудрец такой — Старопаванников?

— Он не древний, он комиссар нашей части. Худший такой майор, но толковый, присловья любит. Вот и пошло: «Как говорил Старопаванников». Так махнем? Главное — хоть за что-нибудь зацепиться, тогда и весь клубок легче разматывать.

— Я уже наездился. От свертка на руках кровавые мозоли.

— А что в нем?

Я рассказал.

— Сверток придется оставить, — решил он. — Музыки нам теперь и без патефона хватит.

— Казенное имущество.

— Из личных средств возместите. Водятся еще? А песню — потом отработаете. За маневренность в такую пору никакая цена не дорога.

Идея совместной поездки мне понравилась, но я все же решил посоветоваться с комендантом вокзала: нельзя ли сдать сверток под расписку? В делах войны и обставке я в то время разбирался столько же, сколько щепка в причипцах и уровне половодья, которое ее несет. Комендант долго смотрел на меня шальными от бессонницы глазами, буркнул:

— Придумайте, веревку с пожара тащить... Положите ваш сверток в коридоре, караулить там некому, но и красть тоже. От нас теперь одна дорога — на фронт!

Я опасливо посмотрел в коридор. Народ тут толкался круглосуточно, да что же делать? Сунул сверток на подоконник, мысленно попрощался с ним и вышел. Теперь я так же, как и мой попутчик, был только с легким, почти ничего не весившим вещмешком: пара белья, бритва, мыло, посовые платки и две булки.

— А теперь пошли харчиться, — предложил лейтенант. — На пустой желудок и мысль не бежит...

Ресторан при вокзале, не тот, что теперь, а со стороны нынешних пригородных касс, работал исправно и даже по был переполнен. Мы послали, вынули бутылку вина, за которым перешли на «ты», — водки, между прочим, не подавали — и в сумерки сели в поезд. На вагонах еще было написано «Москва—Киев», но в пути нас предупредили, что дальше Наро-Фоминска движения уже нет. Там мы и вылезли, попросившись на постой в первый попавшийся дом, перепочевали на полу. Затем попили чаю, прикончив две мои булки, а на рассвете, спозн, в голубоватой изморози, нашли в районе вокзала полуторку, шофер которой, заведя ручкой мотор, собрался залезть в кабину. Машина шла на Чубуково, оттуда — в район Боровска.

— Подходит, — сказал попутчик.

— В кузове у меня взрывчатка и детонаторы, — предупредил шофер.

— И что?

— Бомба попадет — кипит выше облаков.

— Попадет — и так кипит. Сам-то едешь?

— У меня служба.

— И вам не на курорт.

— Мне же веселее, — засмеялся шофер. — О чем речь?

Солнце, казалось, продиралось с трудом сквозь морозный туман, но, продравшись, быстро превратило иней в росу, весело блестящую на буром жнивье и рыжих листьях березок. Дорога тоже заискрилась бликами, но стала скользкой, пришлось сбавлять скорость. Между тем с каждой минутой все настойчивее, все злее гудели в небе немецкие самолеты. Ни до этого, ни после во время войны не видел я столько авиации в одном месте — казалось, кто-то раздражил гигантский рой ос и они, с желтизной по брюшку, с алюминиевым мерцанием крыльев, назойливо и упорно жалили, кусали осеннюю землю, пытавшуюся перед тем, как отойти ко сну, погреться на солнышке. Кое-где поднялись дымы пожаров, и самый большой — в районе Наро-Фоминска: там, вспомнили мы, стояли на путях цистерны с нефтью.

Лишь часам к одиннадцати или двенадцати выбрались мы на шоссе у Чубукова, и картина, открывшаяся нам, могла только повергнуть в уныние: по самому шоссе и по обочинам, всячески прижимаясь к дубнякам и березнякам, двигались сплошным потоком отступающие войска — артиллерия, машины, обозы, кухня, пехота. Со стороны казалось, что потоком

этим никто не управляет, а хлещот он сам, как вода из пробитой плотины, и ни остановить его, ни направить в разумное русло невозможно.

— Драпают, — еще стесняясь этого слова и ужасаясь его смыслу, сказал я. — Драпают, а мы что же?

— Кто драпает? — неожиданно сухо вато переспросил лейтенант.

— Да вот...

— Нет, это отход по приказу. Когда драпают — там каждый сам по себе, куда глаза глядят. А глаза глядят, но не видят...

На выезде из Чубукова нас остановил капитан пограничной службы, спросил, куда едем, потребовал документы. Сказал:

— Зря едете. И груз тащите зря.

— Фронт далеко?

— Он движется, фронт. Смотреть умеете?

— Мы все же поедem, — сказал попутчик.

— Мое дело — предостеречь.

— Не тому дождя бояться, кто в воде по горло, а? Поехали...

По правде сказать, я уже стал раскаиваться: и покупок лишился, и часть пайки в таких условиях невозможно, и, по всей вероятности, аэродром, который якобы должен находиться впереди, не более как химера. Уж на это и моей сообразительности хватало! Однако говорить попутчику я ничего не стал: чувствовал, что переубедить его не удастся, а остаться одному, примкнув к отступающим, лишиться товарища и последней, хотя бы мифической цели было даже страшнее, чем двигаться вперед. К тому же спокойная езда почти тут же и кончилась, и началась цепь происшествий, в которых я никакой самостоятельной роли не играл, был бычком на веревочке.

Началось с того, что на подъезде к мостику через небольшую речонку мы заметили, что идущую на подъем дорогу словно бы разматывают гигантской метлой — машины притирались на обочине, люди, как листья под ветром, сыпались в кюветы. Шофер наш первым оценил шекотливость положения — машина находилась у моста, самого соблазнительного места для бомбежки, — и кинулся в лес направо. Мы с попутчиком, побросав вещмешки, побежали палено — я по дугу, поближе к речке, он подальше, по низкорослому дубняку. Самолетов мы все еще не видели, они шли низко над лесом, по по гуду можно было догадываться, что их много. Мы уже отбежали шагов на пятьдесят, когда раздался грустный, какой-то

по-осеннему тоскливый свист фугасок. Не рассудочно, а почти кожей, физически ощутив близость бомб, я ткнулся в побуревшую травку, почувствовал влажный запах торфа и трюфели, закрыл щеки брезентовыми зелеными рукавицами с двумя пальцами на каждой. Затем страшный удар сотряс почву, краем глаза я успел увидеть, как земля разверзлась и стала дыбом, вверху что-то лязгнуло и закричало, — или это мне показалось? — меня стукнуло в спину, и я с последней мыслью, что всему конец, провалился в коричневую болотную тьму...

Очнувшись лежащим на спине, в глаза больно ударил синий свет из облачных проемов. Самолеты — их было около тридцати — еще были поблизости, а мой попутчик отирал лицо куском бинта. Увидев, что я открыл глаза и пришел в себя, сказал:

— Совсем тебя торфом завалило и сучьями закидало, только сапоги и торчали наружу. Рап нет, я уже просмотрел, но малость приконтузило.

— Странно, что не убило.

— Ничего странного — все по закону. Бомбы упали почти рядом и кучно, но глубоко ушли в торф. И оказался ты в мертвой зоне для осколков. — Забеспокоился: — Кто-то бежал почти рядом справа от меня, а не видно.

— Может, ушел?

— Нет, я присматривался. Вставай-ка и пошли искать.

В голове у меня шумело, как на праздничном базаре, издали звонил какой-то колокол, но жить было можно. Приходилось только отирать платком кровь, сочившуюся из рта и носа, — была неприятно солоновата и щекоотала. В редких молодых дубках мы нашли сержанта, совсем молоденького, с пушком на щеках. Пилотка свалилась, ветер лоснился по русому ежику головы, вещмешок с какими-то мажущими пятнами сбился на шею. Он был без сознания, подплывал кровью — крупный осколок попал в бок чуть выше бедра.

— Не успел вовремя лечь, — вздохнул попутчик. — Я займусь им, а ты беги искать врача, там недалеко от нас я санитарную машину видел. Поскорее!

Санитарную машину я нашел, но в ней никого не было; самолеты все еще обстреливали дорогу. Стал кричать. Из борозенки, стряхивая с гимнастерки желтые и красноватые листья, вышел майор медицинской службы — высокий, с длинной жилистой шеей и при всем том с брюшком, уверенно крутившимся под плохо затянутым ремнем, и сестра, невысокая, круглолицая и румяная — яблоко с глазами.

— Возьмите посылки и несите его сюда, — приказал врач, узнав о раненом. — Так быстрее будет.

— Может, и я схожу? — спросила сестра.

— Иди.

— Меня зовут Тоня, — представилась она, едва мы перешли ювет. — Доктор у нас толковый, вы не беспокойтесь. Только пистолета не носит, а без пистолета какой военный, верно? Вот вы при пистолете — другое дело.

— Давно на фронте?

— А мы на фронте и не были, только приехали — отступать приказали.

Раненого, который так и не приходил в сознание, втроем донесли до машины.

— Шок, — сказал майор. — И ранение серьезное. Тоня, пол, шприц, бинты — живо! А вы, лейтенанты, можете двигаться.

— Будет жить сержант?

— Прооперируем — увидим. Тоняйте по своим делам, привет!..

Над дорогой снова шли самолеты. Лицо сестры побелело от страха, черные глаза округлились, как две залитые тушью буквы «о», но хлопоты она свои продолжала. Врач уже не обращал внимания ни на трескотню, ни на нас. Мы пошли к машине, а когда приставились снова в кузове на взрывчатке, допущник сказал:

— Вовремя нос в землю сунул, иначе имел бы дырки в голове. Практику где проходил?

— В Смоленске, в Ярцеве и в других местах.

— Опыт — вещь! Вот паберемся — попищит у нас фрнц!

— Думаешь, и отступаем потому, что опыта не хватает?

— Ну, не совсем так просто, по отчасти и так. Немцы до нас кое-чему в Европе научились, а у нас п кадровки практиковались только на мишенях. Полигонная психология! Такому всегда кажется, что каждая пуля и снаряд в него летят, каждый самолет его персонально ищет. На себе испытал. А привыкнет — и не так страшен черт. Немца живого вблизи видел?

— Парашютиста пленного. По улице вели. С кипрским загаром, сволочь, картинно шел, как на параде.

— Вера у них в себя есть! А, в общем, ничего особенного, тоже па двух погах ходят. И пуля хорошо берет. Когда я от самолета в лес чесал, за мной один покатылся — из десанта на танке. Шустрый па погу. Мундирчик расстегнут, грудь рыжей волосней паружу. Из автомата посыпает, кричит что-

то. Я чувствую — вес у меня побольше, не уйти. Прилог за соспой, подождав малость, и стукнул из пистолета. Результат обыкновеппый — свалился. Другие же и гнаться пересталп, поостереглись... Ничего, при выдержке бить можно!

— Это, наверное, приятное сознание — самому убить прага.

— Ничего, между прочим, интересного. Не о нем, а о себе думаешь. А он как паваждение, если бы можно было крестом откреститься, и стрелять не стоило бы. Но, как говорил Старошваппков, па погосте живучи, всех не переплатешь.

— Это па Старошваппков, а Лесков.

— Разве? Тоже умел был!..

За железнодорожным переездом, где нас накоротке еще раз пробомбили, свернули вправо и мимо какого-то заводика, по дороге в густой еще зелени рапит попали прямо на край полевого аэродрома. Шофер на полutorке сразу же уехал, мы с лейтенантом остались. Отсюда, с края аэродрома, открывалось много любопытного. Левее, к Верее, и правее, к Боровску, далеко, насколько хватал глаз, лежали темно-серые пятна полей среди рошц, словно бы выполненных из старой бронзы — желтизна с прозеленью. Среди них в разных местах поднимались одипокне столбы дыма — горели села. Еще дальше, у края горизонта, все было затуто пылью, копотью, дымом, будто на землю всей тяжестью осела грозная туча, в которую пикировали самолеты — и наши и немецкие. Оттуда шел ровный, папористый гул. Примечательно выглядел сам аэродром. Над ним не спеша, переваливаясь с крыла на крыло, барражировала «рама», не обращая никакого внимания на очереди одипокного пулемета, проходили по шесть и девять штук немецкие бомбардировщики. Но зениток наших не было. Не было и ни одного самолета в воздухе. Зато слева, у края аэродрома, около выключенного шлагбаумами куска дороги, стояло около полутора десятков новейших истребителей.

— Интереснейшие дела! — присвистнул мой попутчик. — Что у них тут, выставка? Действовать так могут только сумасшедшие или предатели.

Справа, в тени берез, шла погрузка имущества на грузовики. Попутчик мой раздраженно спросил, где начальник, и младший лейтенант молча показал на землянку пьдалеке. Возле нее на обрубке бревна сидел, подперев щеку рукой, подполковник, осупувшийся, небритый, словно изжеванный. Сначала он даже не заметил нас, не ответил на приветствие, и только когда попутчик мой заговорил, спрашивая о своей части, порывисто, словно спросонья, вскочил:

— А? Лейтенанты... Чем могу служить? Летать вместо?

— Нет.

— А нет — так и катитесь своей дорогой.

— Я авиатехник, — спокойно, хотя глаза его сузились и стали злыми, сказал мой попутчик. — И хотел бы узнать, почему не летаете. Истребители неисправны?

— Исправны, — отходя от раздражения, махнул рукой подполковник. — Исправны. Только летать некому. Вчера так на земле накрыли нас, что... — Он горько покачал головой. — Запросил вот, жду. Гадай, когда летчики прибудут. Может, с минуты на минуту, а может... А немец прет... И обратило внимание: эти по аэродрому прямо брюхом ползают, но самолеты не бомбят и не обстреливают. Почему?

— Ясно почему, — кивнул попутчик. — Ясно... Может, по земле их увести? Грузовиками!

— Смотри, умник какой, без тебя по додумались! На чем вводить? Грузовики где?

— Вои с передовой сколько идет.

— Ага, идет, — на четверть километра левее. Мы тут в свое время дорогу отключили, шоферы проложили прямую через поле, и теперь их завернуть сюда никакой силой невозможно. Из пекла вырываются, на поле немецкие самолеты гоняют, смерть в глазах пляшет, вот и прут, ни на что не глядя. Я сам пробовал завернуть, пистолетом грозил — не помогает...

Попросив разрешения, попутчик тоже присел на бревно, смотрел отрешенными глазами, как суется носом в березняки «рама», выскивает, выплывает. Под Версей и Боровском все так же стояла туча дыма и копоти, а с юга натягивало другую, натуральную, с аспидными отсветами.

— А давайте еще раз попробуем, — вдруг сказал он. — У нас сапер есть, — кивнул он на меня.

— Сапер не пограничник. Пограничника бы.

— Сапер лучше. Заминируем ту дорогу и сделаем объезд сюда.

— А мины где?

— Мин и не надо. Покопаем малость, поставим указатели объезда. Конечно, многие шоферы в Финляндии понаторели, проверить могут. Но раз тут сапер, какой разговор...

Подполковник оставался все таким же мрачным, по, как утопающий за соломинку, ухватился за эту идею, поскольку придумать что-либо еще было уже невозможно. Пока младший лейтенант с двумя солдатами тесал колышки и дощечки, мы пошли искать столовую. В дощатом бараке, где она поме-

щалась, между скамейками и столами гулял ветер, все двери и окна пастежь. Повар, с лицом побитым оспой, суетился и покрикивал, заканчивая погрузку своего снаряжения на две подводы.

— Что, закрылись по случаю учета? — подмигнул повару попутчик, не встретив решительно никакого сочувствия. — А мы вот двое суток не ели.

— Ничего пету, — буркнул повар. — И пемцы рядом.

— Где?

— Выйдите да поглядите.

— Выходили и глядели. Вместе с бригадой.

— Какой бригадой?

— С танковой. С ней и пришли. Только кухню у нас разбомбили, а мы два дня форсированным маршем шли.

— И много танков?

— Говорю, бригада. Хватит, чтобы фрицам по морде дать.

— Холодной наваги есть малость. Ну, хлеб еще. И селедка.

— С детства обожаю рыбу! — засмеялся попутчик.

Миски уже были уложены, забрали продукты в газету и пошли на досках возле барака. Затем, погрузив на подводу колышки и дощечки, затесанные в виде стрелок, с надписью «Мипы. Объезд влево», вместе с подполковником и младшим лейтенантом отправились к перекрестку, где полевая дорога через ракитовые кущи выскакивала на шоссе. Покопали для проформы лопатой, улучив момент, когда машин не было, подполковник с младшим лейтенантом стали вбивать указатели вдоль посадки в направлении аэродрома. Мы остались на месте, с тревогой ожидая, что получится из нашей затеи. Первый же шофер, чумазый, без пилотки, с разъяренными глазами, дал бой.

— Вредительство! Своих на мипах подрывать.

— Осторожней на поворотах: не вредительно, а приказ.

— Тут и мипы поту... Липа!

— Вон сапер стоит, спроси.

— Все равно не верю.

— Тогда езжай. В раю встретимся!

— И поеду.

— Давай!

— И поеду...

— Тыфу...

Давно известно, что ввязаться в словопрепия, когда надо действовать, — значит потерять энергию решимости. С шофером случилось то же самое: сначала он осторожно, на первой

скорости придвигался к свежим бугоркам земли, изображавшим мины, потом притормозил, потом сдал назад и, развернувшись, пабирая скорость, покати к аэродрому, продолжая ругаться п кричать, что это обман п ничего более, что вот и немцы бьют, и свои поги ломают. А там уткнулся в шлагбаум и мппут десять спустя проехал мимо нас уже по другую сторону посадки, с истребителем па буксире. Следующий люффер был уже покладистее, поскольку видел свежий след, а пятый завернул уже автоматически, не глядя па нас п почти не сбавляя скорости. К тому же пачался довольно плотный дождь, немецкой авиации не было, п страсти поулеглись. Через час с небольшим, когда небо уже начинало светлеть, хотя п оставалось дымным, последний истребитель псчез в зелени посадки. Подполковник, довольный, подобревший, поблагодарил нас:

— Спасибо, ребята, ято помогли! Пойдите к нам в часть, а?

— Грехи не пускают,— засмеялся попутчик.— А вот если бы вы приказали нам по сто граммов выдать, не отказались бы.

— Нету. Честное слово! Могу белого хлеба дать по буханке па брата п колбасы. Нуждаетесь?

— Мы уже продаттестаты наполовину пжевали.

— Ну п лады...

Теперь оставалась только машина с инструментами п продуктами. На ней уезжал начальник склада. Пригласил ехать п нас с тем доводом, что немцы, судя по всему, пдалеко п больше пскать нам нечего. Но в этот момент подошла еще одна машина с другого конца аэродрома. Начальник склада спросил, почему нет второй.

— Шофера воп рашило, в кузове лежат.

— А машина?

— Так что машина? Стоит.

— Не побгло?

— Исправная.

— Почему не поджег?

— Немцы рядом, человека спсать падо было...

— Ну, что делать,— пожал плечами начальник склада.— Поехали. Садитесь, лейтенанты.

— Знаете что? — оживился попутчик.— Мы с вами не поедем, а заберем ту машину. Я вожу.

— Успеете?

— Может, что п успеем. В крайнем случае в лес уйдем.

— Смотрите сами... Там в землянке, между прочим, медицинское имущество и спирт. Учтите!..

Грузовики ушли, мы остались одни. Я, откровенно сказать, побаивался и опасался, что это уже авантюра. Но за сутки, проведенные вместе, я, по-видимому, уже пошел под влияние попутчика, настроился на его психологический тонус, да к тому же, видя, как просто выходит он из затруднений, как вразумительно ко всему относится, проникся к нему доверием. Поэтому я не стал его отговаривать — да и поздно было, — а попытался приглушить беспокойство шуткой:

— Интересно, что сказал бы в этом случае Староиванчиков?

— Это мы решим потом, сейчас давай поспешать...

До лесного мыса на противоположном краю аэродрома, где пахотилась машина и медицинская землянка, было около километра или чуть побольше. Ориентиром служила небольшая деревянная вышка на опушке. Мы закурили и двинулись, но догадавшись даже положить продукты в вещмешки: колбасу сунули в карманы, буханки взяли под мышки. Но не прошли мы и двухсот метров, как внезапно над пустым аэродромом начала кружить «рама». Сделав первый заход, летчик заметил, что истребители, столь картинно торчащие у дороги, исчезли. Сначала он, по-видимому, решил, что их в целях маскировки закатили в березовый лесок, пронесся над ним, едва не задев колесами за вершины, но, убедившись, что и здесь их нет, пришел в неопределимую ярость. И так как, кроме нас двоих, хорошо заметных на зеленой дернине, никого уже не было, вся эта ярость обрушилась на нас. Заложив крутой вираж, он заходил на покатое наклонение, со свистом, включая на полную мощность пулеметы и рубил, рубил, рубил. Временами казалось, что он просто раздавит нас своим желтым брюхом. Мы прижимались к земле, плюхались в канавки — следы, продавленные колесами шасси, — холодная, грязная вода текла за воротник, пули, как град, пузырили и брызгали вокруг. Как только самолет оказывался впереди, мы вставали и бежали что есть силы, а потом все начиналось сначала. Это была какая-то страшная, пелопая, выматывающая душу игра со смертью, причем мы были совершенно беспомощны: не из пистолетов же было стрелять по самолету, который, как мы знали, имел еще и бронезащиту! Но и летчик, видя, что мы все подвигаемся, невредимые, совсем осатанел и, закладывая сумасшедшие виражи, был уже не только вслеп, но и в лоб, и справа и слева, так что голова шла кругом и трудно становилось следить за ним.

Накопец, измученные, грязные, мы заползли под скирду клевера. Аэродром, собственно, уже кончился, но до ближайшего кустарника оставалось еще метров сто. Пробежать их у меня уже не хватало сил.

— Больше не могу, — сказал я. — Крышка...

— Ничего, — утешил, тяжело дыша, попутчик. — Время еще есть.

— Время — для чего?

— Для... Да для всего!

Однако летчик не хотел отпустить нас так запросто. Со второго или третьего захода он поджег скирду. Я в юности немало повозился со стогами сена и был удивлен, что, обычно влажное, оно так быстро загорелось. Но факт оставался фактом: на макушке скирды запылали язычки огня, густой, пышный белый дым, сваленный ровным ветром, потек в ложину и закрыл ее. И это оказалось нашим спасением: помоц в самолете, исходя из собственной логики, решил, очевидно, что мы попытаемся вырваться к лесу под прикрытием этого дыма, и строчил по ложине, а мы, перебравшись на неветренную сторону скирды и прикрывшись сеном, отдыхали. Накопец «рама» ушла, может быть, расстреляв боезапас. Мы совершили еще один рывок, выскочили на песчаный, редко опушенный низкорослым кустарником бутор, увидели машину и землянку. И услышали совсем недалеко за всхолмленным полем пулеметную и автоматную трескотню, редкую, но совершенно отчетливую.

— Вот теперь надо спешить, — сказал попутчик, хотя движения его ничуть не стали торопливее, словно и сказано это было только для меня. — Лезь в землянку, там что можно, а я заведу полуторку...

Признаться, я впервые в жизни попал в такую переделку и, мучаясь стыдом, все же немного праздновал труса. Немцы совсем рядом, а я должен в землянке, ничего не видя, возиться с каким-то барахлом, целая гора которого не стоит все же одной человеческой жизни! И, размышляя так, не мог предположить попутчику плюнуть на все и удирать, пока еще есть время. Не мог, язык не повернулся бы... Бутылка спирта стояла справа у самого входа, чуть подальше ящик с медяками, а на грубом столе из сосновых досок — бокс с инструментами. Я захватил оплетенную, ведра на два, если не больше, бутылку и выволочил ее, полагая, что тем можно и копчить. И наткнулся на вопросительный взгляд попутчика.

— Еще есть что-нибудь?

— Есть...

— Так давай... Чего же ты?

Так перекочевали в машину и ящик, и инструменты, и еще какой-то бидон.

— Все?

— Брезент еще валяется... Только он большой и тяжелый, один по вытащу.

— Ничего, давай прихватим... Мотор уже работает, чего тут!

Когда вытащили брезент, сырой и грязный, и прилаживали кусок его под бутылку, чтобы не побилась при тряске, я посмотрел в поле и обмер; метрах в четырехстах поднялась из-за холма и двигалась по раскисшей пашне немецкая пехота. Мокрые, очевидно, измученные за день, сутулясь и медленно загребая ногами, солдаты плелись густой изломанной цепью. И оттого, что шли они молча и без выстрелов, серозеленые, как выходяцы с того света, — они появились внезапно, — мне стало по-настоящему страшно. Я указал на них попутчику. Он кивнул мне на кабину, сел за руль:

— Теперь и правда пора!

Через минуту полуторка на полном газу выскочила из кустарника и, разбрызгивая воду в колесах, понеслась к противоположному краю аэродрома, к шоссе. Как видно, наши войска отошли куда-то в лес, и для немцев наше появление было полной неожиданностью, поэтому они не сразу стали стрелять, а когда застучали пулеметы, мы были уже далеко. К тому же начинало смеркаться, в насыщенный водой воздух словно подсыпали пепла. Благополучно вскочили мы в ракитовую посадку, проехали мимо дощатой столовой, которая беззвучно звала в сумерки открытыми дверями и окнами, миновали стык шоссе с полевой дорогой, где недавно дурили головы шоферам. Еще не все опасения отошли, — вдруг немцы пересекли дорогу впереди? — но настроению поднималось и поднималось. Теперь я уже не вспоминал, что подозревал попутчика в склонности к авантюризму, а считал, что одержали мы с ним хоть маленькую, но победу.

Когда отъехали километра на полтора, попутчик мой, не глядя мотора, выжал сцепление и остановил машину. И тут я с удивлением заметил, что руки у него дрожали. Неужели и он волновался?

— Надо выпить, — предложил он. — После грязевых ванн и для нервной переналадки.

— У тебя-то нервы стальные.

— Да? Цыпленок тоже хочет жить.

— Выпить-то выпить, а где закуска?

Закуски не было. Хлеб и колбаса остались в колеях на аэродроме: растеряли, пока удпирали от «рамы».

— Ладно,— сказал он,— выпьем без ничего. Придется при-
выкать. Как сказал бы Старовишневиков, война только начи-
нается.

— Если не считать того, что немцы под Москвой!

— Ну и что? Они-то думают, что для них кончается, а для нас — начинается. Податься назад некуда, а загубить Советскую власть — позор до сотого колена. Больше ей, по-
гибши мы, пугде на свете голову подпять не дадут — и уче-
бы, и не то в армиях оружие.

Ополоснув кружки, прибавил:

— У нас под Угличем длинно окают, по крепко говорят!
Налил мне полкружки спирта, разбавил мутноватой подой
из кювета и приказал выпить до дна.

— От контузии. И лезь под брезент, спи.

— А ты?

— Мне много пельзяд, ехать надо...

Очнулся я около полуночи, по, когда посмотрел вокруг, подумал, что сплю. Вокруг все было бело, крупными хлопья-
ми валил снег. Откуда он взялся? Наша полуторка медленно
двигалась через белый лес в плотной колонне грузовиков
справа от дороги, а слева шла артиллерия. За стволы орудий,
нереально длинные и толстые, побелевшие сверху, цеплялись
тоже побеленные, со снегом на пилотках и на плечах, смер-
тельно усталые пехотинцы — так было легче идти. А со сто-
роны казалось, что они тащат орудия на себе. И полное мол-
чание, ни одного слова, только тяжелое, с хрипом дыхание
и временами падсадный кашель. Глаза отказывались верить
тому, что видели...

Остаток ночи мы провели в какой-то избе. Хозяйка всю
ночь топила печь, в больших чугунах кипятила чай и варила
картошку для проезжающих. Картошкой в мундире поужин-
вали и мы. В белом мутном поле валил снег и редко ухали
бомбы — немецкие летчики бросали их вслепую, «играли на
верхах».

Утром мой попутчик все на той же самой полуторке дове-
з меня до вокзала в Подольске. Простились крепким рукопо-
жатием. Он повел машину в авиачасть, которой она принад-
лежала, а я уехал в Москву и утром на следующий день,
завернув по совету попутчика в одно военное учреждение,
получил новое назначение — на инженерные курсы в Костро-
му. Перед отъездом выпало несколько часов свободного вре-
мени, и я, не тешась никакими иллюзиями, а из чистого лю-

бонытства, заглянул на Киевский вокзал. Сверток с патефоном и часами покрылся легким слоем пыли, но стоял на том же самом месте, где я его оставил.

Не знаю, как сложилась бы моя судьба на войне, но начавшаяся на скамейке вокзала история привела к тому, что я стал капитаном и комбатом. Впрочем, и не это главное. Встреча с лейтенантом, хотя не породила она ни долгой дружбы, ни взаимно доверчивых palpаний — для этого и времени не было, — крепко засела в моей памяти; его спокойствие в критических обстоятельствах, здравая рассудительность и находчивость многому научили и пригодились не раз в тяжелых обстоятельствах, особенно летом сорок второго, во время боев на Дону.

И теперь мне часто думается: именно такие люди выигрывают войны и тащат на плечах мир.

Как сказал Старованников:

— Безпопый душой крыльев не придумает...

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

ПЕХОТИНЦЫ

Шел седьмой или восьмой день наступления. В четвертом часу утра начало светать, и Савельев проснулся. Спал он в эту ночь, завернувшись в плащ-палатку, на дне отбитого пакаунге, поздно вечером, немецкого окопа. Моросил дождь, но стенки окопа закрывали от ветра, и хотя было мокро, однако не так уж холодно. Вечером здесь не удалось продвигаться дальше, потому что вся лощина впереди сплошь покрывалась огнем неприятеля. Роте было приказано окопаться и почевать тут.

Разместились уже в темноте, часов в одиннадцать вечера, и старший лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди: один боец спит, а другой дежурит. Савельев, по характеру человек терпеливый, любил откладывать самое хорошее «напоследки» и потому сговорился со своим товарищем Юдиным, чтобы тот спал первым. Два часа, до половины второго ночи, Савельев дежурил в окопе, а Юдин спал рядом с ним. В половине второго он растолкал Юдина, тот поднялся, а Савельев, завернувшись в плащ-палатку, заснул. Он проспал почти два с половиной часа и проснулся оттого, что стало светать.

— Светает, что ли? — спросил он у Юдина, выглядывая из-под плащ-палатки не столько для того, чтобы проверить, действительно ли светает, сколько для того, чтобы узнать, не заснул ли Юдин.

— Начипласт, — сказал Юдин голосом, в котором чувствовался озлоб от утренней спешности. — А ты давай спи пока.

Но спать не пришлось. По окопу прошел их взводный, старшина Егорычев, и приказал подниматься.

Савельев несколько раз потянулся, все еще не вылезая из-под плащ-палатки, потом разом вскочил.

Пришел командир роты, старший лейтенант Савин, который с утра обходил все взводы. Собрав их взвод, он объяснил задачу дня: надо преследовать противника, который за ночь отступил, паверное, километра на два, а то и на три, и надо опить его пастинь. Савин, как заметил Савельев, обычно говорил про немцев «фрицы», но когда объяснял задачу дня, то неизменно выражался о них только как о противнике.

— Противник,— говорил он,— должен быть пастигнут в ближайший же час. Через пятнадцать минут мы выступим.

Встав в окне, Савельев старательно подогнал снаряжение. А было на нем, если считать автомат, да диск, да гранаты, да неприкосновенный запас в мешке, без малого пуд, а может, и пуд с малым. На весах он не взвешивал, только каждый день прикидывал на плечах, и, в зависимости от усталости, ему казалось то меньше пуда, то больше.

Когда они выступили, солнце еще не показывалось. Моросил дождь. Трава на луговине была мокрая, и под ней хлопала раскисшая земля.

— Ишь какое лето паскудное! — сказал Юдин Савельеву.

— Да,— согласился Савельев.— Зато осень будет хорошая. Бабье лето.

— До этого бабьего лета еще довосвать надо,— сказал Юдин, человек смелый, когда дело доходило до боя, но склонный к невеселым размышлениям.

Они спокойно пересекли ту самую луговину, через которую вчера никак нельзя было перейти. Сейчас пад всей этой длинной луговиной было совсем тихо, никто ее не обстреливал, и только частые маленькие воронки от мин, то и дело встречавшиеся на дороге, размытые и наполненные дождевой водой, напоминали о том, что вчера здесь шел бой.

Минут через двадцать, пройдя луговину, они дошли до леска, у края которого была линия окопов, оставленных немцами ночью. В окопах валялось несколько бапок от противопазов, а там, где стояли минометы, лежало полдюжины ящиков с минами.

— Все-таки бросают,— сказал Савельев.

— Да,— согласился Юдин.— А вот мертвых оттаскивают. Или, может быть, мы никого вчера не убили?

— Быть не может,— возразил Савельев.— Убили.

Тут он заметил, что окоп рядом засыпан своей землей, а на-под земли высовывается нога в немецком ботинке с железными широкими шлямками на подошве, и сказал:

— Оттаскивать не оттаскивают, а вот хоронить хоронят,— и кинул на засыпанный окоп, откуда торчала нога.

Они оба испытали удовлетворение оттого, что Савельев прав. Захватив немецкие позиции и понеся при этом потери, было бы досадно не увидеть ни одного мертвого немца. И хотя они знали, что у немцев имеются убитые, все-таки хотелось убедиться в этом своими глазами.

Через лесок шли осторожно, опасаясь засады. Но засады не оказалось.

Когда они вышли на другую опушку леса, перед ними раскинулось открытое поле. Савельев увидел: впереди, в полукилометре, идет разведка. Но ведь немцы могли ее заметить и пропустить, а потом ударить минами по всей роте. Поэтому, выйдя на поле, бойцы, по приказанию старшего лейтенанта Савина, развернулись редкой цепью. Двигались молча, без разговоров. Савельев ждал, что вот-вот может пачаться обстрел. Километры за два впереди виднелась холмы. Это была удобная позиция, и там непременно должны были сидеть немцы.

В самом деле, когда разведка ушла еще на километр вперед, Савельев сначала увидел, а потом услышал, как там, где находились разведчики, разорвалось сразу несколько мин. И тут же по холмам ударила наша артиллерия. Савельев знал, что, пока нашей артиллерии не удастся подавить эти немецкие минометы или заставить их переместить место, они не перестанут стрелять. И, наверное, перенесут огонь и будут пристреливаться по их роте.

Чтобы к этому моменту пройти как можно больше, Савельев и все остальные бойцы пошли вперед быстрее, почти побежали. И хотя до сих пор вещевой мешок оттягивал ему плечи, сейчас, под влиянием начавшегося возбуждения боя, он почти забыл об этом.

Они шли еще минуты три или четыре. Потом где-то неподалеку, за спиной Савельева, разорвалась мина, и кто-то справа от него, шагах в сорока, вскрикнул и сел на землю.

Савельев обернулся и увидел, как Юдин, который был в одно и то же время бойцом и санитаром, сначала остановился, а потом побежал к раненому.

Следующие мины ударили совсем близко. Бойцы залегли. Когда они вновь вскочили, Савельев успел заметить, что никого не задело.

Так они несколько раз ложились, поднимались, перебежали и прошли километр до маленьких пригорков. Здесь притаилась разведка. В ней все были живы. Противник вел переменный, то минометный, то пулеметный, огонь. Савельеву и его соседям повезло; там, где они залегли, оказались не то

что окопы, по что-то впроде них (наверное, их тут немцы начали рыть, потом бросили). Савельев залег в начатый окоп, отступив лопатку, подрыл немного земли и павалил ее перед собой.

Наша артиллерия все еще сильно била по холмам. Немецкие минометы один за другим замолкли. Савельев и его соседи лежали, каждую минуту готовые по команде двинуться дальше. До холмов, где находились немцы, оставалось метров пятьсот по совсем открытому месту. Минут через пять, после того как они залегли, перестал Юдин.

— Кого ранило? — спросил Савельев.

— Не знаю его фамилии, — ответил Юдин. — Этого маленького, который вчера с поношением пришел.

— Сильно ранило?

— Да не так чтобы очень, а из строя выбыл.

В это время над их головами прошли снаряды «катюш», и сразу холмы, на которых засели немцы, заволокли сплошным дымом. Видимо, этой минуты и выжидал предупредительный пачальством старший лейтенант Савин. Как только прогремел залп, он передал по цепь приказание подниматься.

Савельев, с сожалением поглядев на мокрый окоп, сдержнул с себя ремень автомата.

Несколько минут Савельев, как и другие, бежал, не слыша ни одного выстрела. Когда же до холмиков осталось всего рукой подать — метров двести, а то и меньше, — оттуда сразу ударили пулеметы, сначала один — слева, а потом два других — из середины. Савельев с размаху бросился на землю и только тогда почувствовал, что он совсем задохнулся от тяжелого бега и сердце его колотится так, словно ударяет прямо о землю. Кто-то сзади (кто — Савельев в горячке не разобрал), не успевший лечь, закричал не своим голосом.

Над головой Савельева прошел сначала один, потом другой снаряд. Не отрываясь от земли, проведя щекой по мокрой траве, он повернул голову и увидел, что позади, шагах в полтораста, стоят легкие пушки и прямо с открытого поля стреляют по немцам. Просвистел еще один снаряд. Немецкий пулемет, который бил слева, замолчал. И в тот же момент Савельев увидел, как старшина Егорычев, который лежал человека через четыре от него налево, не поднимаясь, взмахнул рукой, показал ею вперед и пополз по-пластунски. Савельев последовал за ним. Ползти было тяжело, место было мокро и мокрое. Когда он, подтягиваясь вперед, ухватывался за траву, она резала пальцы.

Пока он пола, пушки продолжали посылать снаряды через его голову. И хотя впереди немецкие пулеметы тоже не умолкали, но от этих своих пушечных выстрелов ему казалось, что ползти легче.

Теперь до немцев было рукой подать. Пулеметные очереди шевелили траву то сзади, то сбоку. Савельев прополз еще шагов десять и, наверное, так же, как и другие, почувствовал, что вот сейчас или минутой позже нужно будет вскочить и по весь рост пробежать оставшиеся сто метров.

Пушки, находившиеся позади, выстрелили еще несколько раз порознь, потом ударили залпом. Впереди взметнулась взлетевшая с бруствера окопов земля, и в ту же секунду Савельев услышал свисток командира роты. Скинув с плеч вещевой мешок (он подумал, что придет за ним потом, когда они возьмут окопы), Савельев вскочил и на бегу дал очередь из автомата. Он оступился в незаметную ямку, ударился оземь, вскочил и снова побежал. В эти минуты у него было только одно желание: поскорее добежать до немецкого окопа и спрыгнуть в него. Он не думал о том, чем его встретит немец. Он знал, что если он спрыгнет в окоп, то самое страшное будет позади, хотя бы там сидело сколько хочешь немцев. А самое страшное — вот эти оставшиеся метры, когда нужно бежать открытой грудью вперед и уже ничем прикрыться.

Когда он оступился, упал и снова поднялся, товарищи слева и справа обогнали его, и поэтому, вскочив на бруствор и вырнувшись вниз, он увидел там лежавшего ничком уже убитого немца, а впереди себя — плотную выцветшую гимнастерку бойца, бежавшего дальше по ходу сообщения. Он побежал было вслед за бойцом, но потом свернул по окопу налево и с маху паткнулся на немца, который выскочил навстречу ему. Они столкнулись в узком окопе, и Савельев, державший перед собой автомат, не выстрелил, а ткнул немца в грудь автоматом, и тот упал. Савельев потерял равновесие и тоже упал на колено. Поднялся он с трудом, опираясь рукой о скользкую, мокрую стену окопа. В это время оттуда же, откуда выскочил немец, появился старшина Егорычев, который, должно быть, гнался за этим немцем. У Егорычева было бледное лицо и злые, сверкающие глаза.

— Убитый? — спросил он, столкнувшись с Савельевым и кивнув на лежавшего немца.

Но немец, словно опровергая слова Егорычева, что-то забормотал и стал подниматься со дна окопа. Это ему никак не удавалось, потому что окоп был скользкий, а руки у немца были подняты вверх.

— Вставай! Вставай, ты! Ховде пихт,— сказал Савельев немцу, желая объяснить, что тот может опустить руки.

Но немец опустить руки боялся и все пытался встать. Тогда Егорычев поднял немца за шиворот одной рукой и поставил его в окопе между собой и Савельевым.

— Отведи его к старшему лейтенанту,— сказал Егорычев,— а я пойду,— и скрылся за поворотом окопа.

С трудом разминувшись с немцем в окопе и подталкивая его, Савельев повел пленного впереди себя. Они прошли окоп, где лежал, раскинувшись, мертвый немец, которого, вскочив в окоп, в первую же секунду увидел Савельев, потом повернули в ход сообщения, и глазам Савельева открылись результаты действия «катюш».

Все и в самом ходе сообщения, и по краям его было сожжено и засыпано серым пеплом; поодаль друг от друга были разбросаны в траншею и наверху трупы немцев. Один лежал, свесив в траншею голову и руки.

«Наверное, хотел прыгнуть, да не успел»,— подумал Савельев.

Штаб роты Савельев нашел возле полуразбитой немецкой землянки, вырытой тут же, рядом с окопами. Как и все здесь, она была сделана наспех: должно быть, немцы вырыли ее только за вчерашний день. Во всяком случае, это ничем не напоминало прежние прочные немецкие блиндажи и аккумуляторные окопы, которые Савельев видел в первый день наступления, когда была прорвана главная линия немецкой обороны. «Не поспевают»,— с удовольствием подумал он. И, повернувшись к командиру роты, сказал:

— Товарищ старший лейтенант, старшина Егорычев приказал пленного доставить.

— Хорошо, доставляйте,— сказал Савин.

В проходе землянки стояли еще трое пленных немцев, которых охранял незнакомый ему автоматчик.

— Вот тебе еще одного фрица, браток,— сказал Савельев.

— Сержант!— окликнул в эту минуту старший лейтенант автоматчика.— Когда все соберутся к вам, возьмете с собой еще одного легкораненого и поведете пленных в батальон.

Тут Савельев увидел, что у автоматчика перевязана левая рука и автомат он держит одной правой рукой.

Савельев пошел обратно по окопам и через минуту отыскал Егорычева и еще нескольких своих. В отбитых окопах все уже приходило в порядок, и бойцы устраивали себе места для удобной стрельбы.

— А где Юдны, товарищ старшина? — спросил Савельев, беспокоясь за друга.

— Он назад пошел, там раненых перевязывает.

И в десятый раз за эти дни Савельев подумал, какая тяжелая должность у Юдны: он делает то же, что и Савельев, да еще ходит вытаскивать раненых и перевязывает их. «Может, он с усталости такой ворчливый», — подумал Савельев про Юдну.

Егорычев указал ему место, и он, вытащив лопатку, стал расширять себе ячейку, чтобы все приспособить поудобнее на всякий случай.

— Их тут не так много и было-то, — сказал Егорычев, занимавшийся рядом с Савельевым установкой пулемета. — Как их «катышами» накрыло — видал?

— Видал, — сказал Савельев.

— Как снарядами накрыло, так их совсем мало осталось. Прямо-таки замечательно-удивительно накрыло их! — повторил Егорычев.

Савельев уже заметил, что у Егорычева была привычка говорить «замечательно-удивительно» скороговоркой, в одно слово, но говорил он это изредка, когда что-нибудь особенно восхищало его.

Савельев набрасывал лопаткой земляной бруствер, а сам все время думал, как хорошо было бы закурить. Но Юдны все еще не возвращался, а закурить одному было совестно. Однако едва успел он сделать себе «козырек», как вернулся и Юдны.

— Закурим, Юдны? — обрадовался Савельев.

— А высохла?

— Должна высохнуть, — весело отозвался Савельев и стал отвинчивать крышку трофейной масленки, которую он накануне нашел в окопе и теперь приспособил под табак.

— Товарищ старшина, закурить желаете? — обратился он к Егорычеву.

— А что, махорка есть?

— Есть, только сыроватая.

— Давай, — согласился Егорычев.

Савельев взял две маленькие щепотки, насыпал по одной Егорычеву и Юдну, которые уже приготовили бумажки. Потом взял третью щепотку себе. Раздался вой снаряда и взрыв около самого окопа. Над их головой метнулась земля, и они все трое присели на корточки.

— Скажи, пожалуйста! — удивился Егорычев. — Махорку-то не просыпали?

— Нет, по просыпали, товарищ старшина! — отозвался Юдин.

Присев в окопе, они стали свертывать сигарки, а Савельев, с огорчением посмотрев на свои руки, увидал, что весь табак, какой был у него на бумажке, просыпался наземь. Он посмотрел вниз: там стояла вода, и махорка совсем пропала. Тогда, открыв масленку, он с сожалением насыпал себе еще щепотку: он думал, что осталось еще на две закурки, а теперь выходило, что остается только на одну.

Едва они успели закурить, как опять начали рваться снаряды. Иногда комья земли падали в окоп, в стоявшую на дне воду.

— Наверное, заранее пристрелялись, — сказал Егорычев. — Рассчитывали, что не устоят тут.

Новый снаряд разорвался в самом ходе сообщения, только и поворотом. Их никого не тронуло, по отбросило на дно окопа, в воду. Они поднялись, и Савельев, выглянув за бруствер окопа, посмотрел в немецкую сторону: там не было заметно никакого движения.

Егорычев вынул из кармана часы, посмотрел на них и молча спрятал обратно.

— Какой час, товарищ старшина? — спросил Савельев.

— А ну, который? — в свою очередь, спросил Егорычев.

Савельев посмотрел на небо, но по небу трудно было что-нибудь определить: оно было совершенно серое, и по-прежнему моросил дождь.

— Да часов десять утра будет, — сказал он.

— А по-твоему, Юдин? — спросил Егорычев.

— Да уж полдень небось, — сказал Юдин.

— Четыре часа, — сказал Егорычев.

И хотя в такие дни, как этот, Савельев всегда ошибался по времени и вечер приходил всегда неожиданно, тем не менее он лишней раз удивился тому, как быстро летит время.

— Неужто четыре часа? — переспросил он.

— Вот тебе и «неужто», — ответил Егорычев. — С мину-
тами.

Немецкая артиллерия стреляла еще довольно долго, но безрезультатно. Потом снова в самом окопе, но теперь по-
одаль, разорвался один снаряд, и оттуда сразу позвали Юди-
на. Юдин пробыл там минут десять. Вдруг снова проскрипел
снаряд, и там, где находился Юдин, раздался взрыв. Потом
опять затихло, немцы больше не стреляли.

Спустя несколько минут к Савельеву подошел Юдин. Ли-
цо его было совершенно бледное, ни кровинки.

— Что ты, Юдип? — удивился Савельев.

— Ничего, — спокойно сказал Юдип. — Рапило меня.

Савельев увидел, что рука гимнастерки у Юдина разрезана во всю длину, рука заправлена за пояс и прибинтована к телу. Савельев знал, что так делают при серьезных ранениях.

«Пожалуй, перебита», — подумал Савельев.

— Как вышло-то? — спросил он Юдина.

— Там Воробьева ранило, — пояснил Юдип. — Я его пере-
вязывал, и аккуратно ударило. Воробьева убило, а меня... вот
видишь...

Он присел в окопе, прежде чем уйти.

— Закури па дорожку, — предложил Савельев.

Он снова достал свою трофейную масленку и сначала хотел разделить щепотку, которая там оставалась, па две, но устыдился своей мысли, свернул из всего табака большую сигарку и протянул Юдину. Тот левой, здоровой рукой взял сигарку и попросил дать огня.

Немцы совсем не стреляли. Стояла тишина.

— Ну, пока не стреляют, я пойду, дружище, — сказал Юдип и подпрыгнул.

Зажав сигарку в уголке рта, он протянул Савельеву здоровую руку.

— Ты это... — сказал Савельев и замолчал, потому что подумал: вдруг у Юдина отнимут руку.

— Что «это»?

— Ты исправляйся и обратно приходи.

— Да нет, — сказал Юдип. — Коли поправлюсь, так все одно в другую часть попаду. У тебя адрес мой имеется. Если после войны будешь через Попыры проезжать, слезь и зайди. А так — прощай. На войне едва ли свидимся.

Он пожал руку Савельеву. Тот не нашелся, что сказать ему, и Юдип, неловко помогая себе одной рукой, вылез из окопа и, немного сутулясь, медленно пошел по полю назад.

«Привык, наверно, я к нему», — подумал Савельев, не понимая еще того, что он не привык к Юдину, а полюбил его.

Чтобы провести время, Савельев решил пожевать сухарь. Но только тут он вспомнил, что свой вещевой мешок бросил, не доходя до окопа. Он попросил разрешения у Егорычева, вылез из окопа и пошел туда, где, по его расчетам, лежал вещевой мешок. Впереди виднелась фигура Юдина, но Савельев не окликнул его. Что он мог ему еще сказать?

Минут через пять он отыскал свой мешок и пошел обратно.

Вдруг он увидел то, что наблюдатель, сидевший в окопе ближе его, увидел на несколько минут позже. Впереди, левее леска, лежащего на горизонте, шли немецкие танки, штук десять или двенадцать. Увидев танки, хотя они еще не стреляли, Савельев захотел поскорее добежать до окопа и прыгнуть вниз. Но не успел он этого сделать, как танки открыли огонь, — не по нему, конечно, но Савельеву казалось, что именно по нему. Зашагавшись, он прыгнул в окоп, где Егорычев уже приказывал готовить гранаты.

Боец Андреев, долговязый бронбойщик из их взвода, пристроился в окопе поудобнее свою большущую «дегтяревку». Савельев отстегнул от пояса и положил перед собой на бруствер противотанковую гранату; она была у него только одна, вторую он дней пять назад, погорячившись, кинул в немецкий танк, когда тот был еще метров за сто от него. И, конечно, граната разорвалась совсем попусту, не причинив танку никакого вреда. В тот раз, заметив оплошность Савельева, Егорычев отругал его, да Савельеву самому было неловко, потому что выходило, будто он струсил, а про себя он знал, что на самом деле не струсил, а только погорячился. И сейчас, отстегивая от пояса гранату, он решил, что, если танк пойдет в его сторону, он бросит гранату только тогда, когда танк будет совсем близко.

Но танки шли куда-то левее и дальше. Только два танка, самые крайние, отделились и, казалось, шли именно на них.

— Главное, сиди и жди, — сказал, проходя мимо, старший лейтенант Савин, который обходил окопы и всем так говорил: — Сиди и жди и бросай вслед ему, когда он пройдет. Будешь сидеть спокойно, ничем он тебя не возьмет.

Он прошел дальше, и Савельев слышал, как он тем же словами поставлял другого бойца.

Немецкие танки стреляли непрерывно на ходу. То над головой, то слева свистели их снаряды. Савельев слегка приподнялся над окопом. Танки шли всером, один был совсем близко слева, один шел, казалось, прямо на него. Савельев опять нырнул в окоп. И хотя танк, который шел слева, был больше — это был «тигр», а тот, который шел на него, был обыкновенный средний танк, но потому, что он был ближе всех, Савельеву показалось, что он самый большой. Он приподнял с бруствера гранату и прикинул ее на руке. Граната была тяжелая, и от этого ему стало как-то спокойнее.

В это время сбоку стал стрелять бронбойщик Андреев. Когда Савельев выглянул еще раз, танк был уже в двадцати шагах. Едва он успел укрыться на дне окопа, как танк

прогрохотал пад самой его головой, на него пахнуло сверху чужим запахом, гарью и дымом и посыпалась с краев окопа земля. Савельев прижал к себе гранату, как будто боялся, что ее отпихнут.

Так перевалил через окоп. Савельев вскочил, подтянулся на руках, лег животом на край окопа, потом выскочил совсем и бросил гранату вслед танку, целясь под гусеницу. Он бросил гранату со всей силой и, не удержавшись, упал вперед на землю. А затем, зажмурясь, повернулся и спрыгнул в окоп. Лежа в окопе, он все еще слышал ров танка и подумал, что, павешное, промахнулся. Тогда его охватило любопытство, и, хотя было страшно, он приподнялся и выглянул из окопа. Танк, гремя, поворачивался на одной гусенице, а вторая, как распадающаяся железная дорожка, волочилась за ним. Савельев понял, что попал.

В этот момент пад его головой просвистели один за другим два спарда. Едва Савельев снова укрылся в окопе, как раздался оглушительный взрыв.

— Смотри, горит! — крикнул Андреев, который, подвинувшись в окопе, поворачивал свою бронебойку в ту сторону, где находился танк. — Горит! — крикнул он еще раз.

Савельев, приподнявшись над окопом, увидел, что танк вспыхнул и весь загорелся.

Другие танки были далеко влево; один горел, остальные шли, но в эту минуту Савельев не мог бы сказать, идут ли они вперед или назад. Когда он бросал гранату и когда взорвался танк, все в голове у него спуталось.

— Ты ему гусеницу подбил, — сказал почему-то шепотом Андреев. — Он остановился, а она как вмажет ему!

Савельев понял, что Андреев имеет в виду противотанковую пушку.

Остальные танки ушли совсем куда-то влево и скрылись из виду. По окопам стали сильно бить немецкие минометы.

Так продолжалось часа полтора и наконец прекратилось. В окоп пришел старший лейтенант Савин вместе с капитаном Матвеевым, командиром батальона.

— Вот он подбил фашистский танк, — сказал командир роты, остановившись около Савельева.

Савельев удивился этим словам: он никому еще не говорил, что подбил танк, но старший лейтенант знал уже об этом.

— Ну что же, представим, — сказал капитан Матвеев. — Молодец! — и пожал руку Савельеву. — Как же вы его подбили?

— Он как падо мной прошел, я выскочил и кинул ему гранату в гусеницу, — сказал Савельев.

— Молодец! — повторил Матвеев.

— Ему еще медаль за старое причитается, — сказал старший лейтенант.

— А я принес, — сказал капитан Матвеев. — Я вам четыре медали в роту принес. Прикажете, чтобы бойцы пришли и командир взвода.

Старший лейтенант ушел, а капитан, присев в окопе рядом с Савельевым, порылся в кармане своей гимнастерки, выпул несколько удостоверений с печатями и отобрал одно. Потом он выпул из другого кармана коробочку и из нее медаль. К ним подошли старший лейтенант, старшина и еще два бойца.

Савельев подпнулся и, словно он находился в строю, замер, как по команде «смирно».

— Красноармеец Савельев, — обратился к нему капитан Матвеев, — от имени Верховного Совета и командования в награду за вашу боевую доблесть вручаю вам медаль «За отвагу».

— Служу Советскому Союзу! — ответил Савельев.

Он взял медаль задрожавшими руками и чуть не уронил.

— Ну вот, — сказал капитан, то ли не зная, что еще сказать, то ли считая дальнейшие слова непущными. — Поздравляю и благодарю вас. Воюйте! — И он пошел дальше по окопу, в соседний взвод.

— Слушай, старшина, — сказал Савельев, когда все остальные ушли.

— Да?

— Привинти-ка.

Егорычев достал из кармана перочный ножик на цепочке, не торопясь открыл его, расстегнул ворот гимнастерки Савельева, подлез рукой, проткнул повыше кармана поясом и прикрепил медаль к мокрой, потной, забрызганной грязью гимнастерке Савельева.

— Жаль, закурить нечего по этому случаю! — сказал Егорычев.

— Ничего, и так обойдется, — сказал Савельев.

Егорычев полез в задний карман брюк, вытащил жестяной портсигар, открыл его, и Савельев увидел на дне портсигара темного табачной пыли.

— Для такого раза не пожалею, — сказал Егорычев. — На крайний случай берег.

Они свернули по цигарке и закурили.

— Что же это, затихло? — сказал Савельев.

— Затихло, — согласился Егорычев. — А ты давай сухарей пожуй. Нужнo, чтобы все поели, — и приказание отдам. А то, может быть, как раз и пойдем. — И он отошел от Савельева.

Где-то впереди, слева, еще сильно стреляли, а тут было тихо — то ли немцы что-нибудь готовили, то ли отошли.

Савельев посидел с минуту, потом, вспомнив слова старшины, что, может быть, и правда они тронутся, вытащил из мешка еще один сухарь и, хотя ему не хотелось есть, стал его грызть.

На самом деле происходило то, чего не знали ни Савельев, ни Егорычев.

Немцы не стреляли потому, что на левом фланге их сильно потеснили и они отошли километра на три, за небольшую заболоченную реку. В момент, когда Савельев сидел в тишине и грыз сухарь, в полку уже было дано приказание батальону двигаться вперед и выйти к самой реке, с тем чтобы ночью форсировать ее.

Прошло пятнадцать минут, и старший лейтенант Савин поднял роту. Савельев так же, как и другие, уложив снова вещевой мешок, закинул его за плечо, вышел из окопа и зашагал. До леска дошли благополучно. Уже начинало темнеть. Когда пересекли рожицу и выходили на ее опушку, Савельев увидел сначала сгоревший немецкий танк, а шагах в ста от него наш, тоже сгоревший. Они совсем близко прошли мимо этого танка, и Савельев различил цифры «120». «Сто двадцать, сто двадцать», — подумал он. Эти цифры, казалось, он недавно видел перед собой. И вдруг он вспомнил, как позавчера, когда они, усталые, в пятый раз поднялись и пошли в атаку, им попались стоявшие в укрытиях танки и на одном из танков были цифры «120». Юдин, у которого был злой язык, на ходу сказал танкистам, высунувшимся из люка:

— Что же, пошли в атаку вместе?

Один из танкистов покачал головой и сказал:

— Нам сейчас не время.

— Ладно, ладно, — сердито сказал Юдин. — Вот как в город будем входить, так вы туда и въезжайте, как гордые танкисты, и пусть вам девушки цветы дарят...

Он еще выругался тогда и пошел дальше. Савельеву тоже показалось в эту минуту обидным, что вот они идут вперед, а танкисты чего-то ждут.

Проходя мимо сгоревшего танка, он с огорчением вспоминал об этом разговоре и подумал, что они живы, а сидевшие в броне танкисты, наверное, погибли в бою. А Юдин, вероят-

по, идет, если уже не донел, в медсанбат с перебитой рукой, перехваченной поясом.

«Такое дело — война, — подумал Савельев, — пельзя в ней людей обидным словом трогать. Сегодня обидишь, а завтра и прощенья попросить поздно».

В темноте они вышли на низкую луговину, которая переходила в болото. Река была совсем близко.

Как сказал старший лейтенант Савин, пужпо было к 24.00 сосредоточиться и потом форсировать реку. Савельев вместе с другими уже шел по самому болоту, осторожно, чтобы не зашуметь, ступая в подавившуюся под ногами трясину. Он немного не дошел до берега реки, как вдруг над головой его провыла первая мина и ударилась в грязь где-то далеко за ним. Потом завывла другая и ударилась ближе. Они залегли, и Савельев стал быстро копать мокрую землю. А мины все шлопались и шлепались в болото то слева, то справа.

Ночь была темная. Савельев лежал молча, ему хотелось во что бы то ни стало поскорее переправиться через реку.

Под свист мин и хлюпанье воды ему приходили на память все события внешнего дна. Он вспоминал то Юдина, который, может быть, все еще идет по дороге, то сгоревший танк, экипаж которого они когда-то обидели, то распластавшуюся, как змея, гусеницу подбитого им немецкого танка, то, наконец, взводного Егорычева и последнюю табачную пыль на дне его портсигара. Больше закурить сегодня не предвиделось.

Было холодно, неуютно и очень хотелось курить. Если бы Савельеву пришлось в голову считать дни, что он воюет, то он бы легко сосчитал, что как раз кончался восьмисотый день войны.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ
В СТОРОНУ ЗАКАТА СОЛНЦА

I

Пока спал, он примерз к земле. «Это у меня тело отдохнуло и распарилось, а шинель отогрелась, а потом ее прихватило к стылому грунту», — проснувшись, определил свое положение сапер Иван Семесович Толокно.

— Вставай, брат! — сказал себе Толокно. — Ишь земля как держит: то кровью к ней присыхаешь, то потом не отпускает от себя.

Он с усилием оторвался от промерзшей земли, обдугтой здесь ветрами до прошлогодней, умершей травы.

В той части, где служил Толокно, саперов с уважением называли верблюдями. Каждый сапер, кроме автомата с нормальным боевым запасом и пары ручных гранат, имел при себе лопату, ломик, топор, сумку с рабочим инструментом, бикфордов шнур, личные вещи и еще кое-что, смотря по назначению саперного подразделения. Все эти предметы человек имел перазлучно при себе: он шел с ними вперед, бежал, полз, работал под огнем, отбивался от врага, мешавшего его труду, спал в снегу или в яме, ел и писал письма домой в надежде на встречу после победы, в надежде на жизнь, которая будет вечно счастливой.

Проснулся Толокно вечером, на закате солнца. Командир подразделения, капитан Смирнов, собрал в овраге своих людей, осмотрел их, проверил снаряжение и спросил каждого о самочувствии.

— Я всегда себя чувствую хорошо, товарищ капитан, — ответил Толокно командиру.

— А почему всегда? — заинтересовался капитан.

— А по необходимости! — объяснил Толокно.

Капитан указал рукой на заходящее большое солнце. Бойцы посмотрели в великое пространство, ожидающее их, — потоки разноцветного света на небе походили сейчас на торжественную музыку, трогаящую человека за сердце.

Затем капитан объяснил бойцам их задачу на пынешнюю почь. Следовало теперь же, вместе с приданной саперному подразделению группой разведчиков, выйти к речному руслу, изыскать место для переправы танков и сделать отлогий выход в отведенном берегу реки на сторону противника, а потом, после совершения этой работы, пужно двигаться вперед на танках вместе с десантной группой пехоты и по указанию, которое будет дано впоследствии, всплзться в землю и отрабатывать систему траншей, укрытий и блиндажей.

— Бойцы и товарищи! — сказал командир. — Мы ведем дороги на закат солнца. Мы, красноармейцы, мы для врага то же самое, что обратный клапан в машине, который только в одну, как раз в ту сторону открывается, а назад — пипочем, назад он стоит намертво... Я так считаю, что хватит огневому железу войны ползать по нашей земле, ей хлеб пора рожать!..

— Пора! — сказали бойцы, и луна их тронулась болью и воспоминаниями.

И после заката солнца они пошли во тьму, нагруженные инструментом для работы и оружием против смерти.

II

Затемно разведчики привели саперов к речному потоку. Иван Толокно и другой сапер, Петр Расторгусв, осторожно пошли вниз по течению, чтобы разведать местность.

Толокно вышел на лед, лед был тонок, и под ним близко чувствовалась живая вода.

В небе засияли две ослепительные ракеты врага, и вся река и пойма ее озарились тем неподвижным, пустым светом, каким освещаются сноплдения человека. Иван Толокно лег на живот и пополз своим направлением. Впереди себя он слышал равномерное пение воды подо льдом.

Разведчики уже вышли на тот берег и тайно продвинулись вперед, чтобы наблюдать неприятеля и чтобы помочь своим саперам в нужде и опасности.

Толокно дополз до подтаявшего льда и увидел, что вода впереди выходит из-под покрова наружу и струится на воле, шумя на перекате по каменистому, беспокойному ложу. То-

лочно сполз в воду по опустившемуся под ним льду. Он попробовал воду рукой и решил, что ею можно обтереться.

Толокно и Расторгуев пошли по шумной обмелевшей воде. Глубина здесь была малая, иногда вода не доходила и до щиколотки, однако древние камни, размером в целого человека, создавали неодолимую преграду машинам.

Толокно и Расторгуев озадачились: все здесь было бы удобно, но камни лежали чередою по всему перекату, от берега до берега, а выше и ниже переката река уже имела глубину, и вброд ее перейти невозможно.

Вступив в воду, капитан Смирнов подошел к своим бойцам и сказал им, что здесь надо немедленно устроить брод.

— Толом, что ль, грузные камни будем рвать? — спросил Расторгуев.

— Еще чего! — сказал Толокно. — Огнем тут будем шутить, когда немец недалеко надзирает. А потом он тут нам половодье устроит...

— Сдвинем камни вниз вручную! — сказал командир.

— А силы хватит у нас? — усомнился Расторгуев. — Камень здесь в грунт врос, это неподъемное дело! Его и не расшатает, лишь он леденеет и мокнет, как лаковый стал...

— Ничего, возле смерти человек сильнее, — высказался Толокно.

Две мины рванулись неподалеку и впились осколками в лед.

III

Капитан через связного передал приказ командиру разведывательной группы: начать ниже переката затяжной маскированный бой, — а всех саперов капитан собрал работать на перекат. Однако немцы, не зная ничего точно, чувствовали намерение русских и вели ощущивающий минометный огонь по району переката. Саперы же не могли ответить врагу огнем, чтобы не обнаружить себя; они ютились в теплах за могучими камнями, в тяжелой воде, до боли в сердце остужающей их тела.

Иван Толокно, работавший до войны десятником на строительстве уральских заводов, понимал всякое дело. Любую работу он начинал со споровки, с обдумывания способа, которым нужно произвести работу.

Шестеро саперов хотели было по-старинному раскатать камень, вровень дыша друг с другом и говоря что-нибудь в один лад, но камень не послушался силы людей и в ход не пошел.

Толокно присел в воду и, погрузив в нее руки, ощупал камень у основания, затем он отыскал руками и выпул наружу из ложа реки небольшие камни, чтобы разглядеть их при свете вражеских ракет. Найдя что нужно — продолговатый камень, похожий на клин, — Толокно снял с себя все, что по должно намочить, положил это имущество подалее на лед и сел на дно реки. Вода теперь доставала ему по горло.

Обухом топора он начал вгонять клин под спіденье большого камня, желая оторвать его от речного грунта. Работал Толокно топором под водой на ощупь, и руки в мерзлой воде ходили вязко, немея от усталости. Но Толокно был привычен к работе и одолевал в терпении стужу, жгущую его тело, прочность и вес могучего камня. Жилы рубцами выступили на его больших руках, обветренных, обмороженных, давно покрывшихся толстой, точно зашкваренной кожей, оберегающей рабочее жизненное тепло в жилах и мышцах его рук. Изредка Иван Толокно поднимал руки с топором из воды на воздух, чтобы они немного отошли, а затем снова спешил расклинить камень и стропуть его с места.

Вдалеке, вниз по течению реки, наши разведчики начали стрельбу по неприятельской стороне, чтобы неприятель перестал обращать внимание на перекат. Однако немцы тоже открыли встречную стрельбу по разведчикам, но и перекат не переставали покрывать редким минометным огнем — на всякий случай. Сапер Печаяев был убит осколком мины в голову, упав, унести его было некогда, и его положили на лед.

Расторгусв подклинивал тот же камень, что и Толокно, усевшись рядом с ним. Живая вода вошла в зазор, образовавшийся клиньями, и с сосущим звуком ослабила основание камня, сросшееся с ложем реки. Тогда Толокно велел четырем саперам раскачивать камень во всю свою силу, пока он не двинется, не давая ему ложиться в покой; сам же Толокно быстро вгонял под камень все, что находил подходящего в речном потоке возле себя.

Капитан Смирнов ваял пример с Ивана Толокно и поставил по четыре и по шесть человек саперов на каждый грузный камень, чтобы после подклинивания трогать их с места живой силой реки и людей.

Камень Ивана Толокно пошел первый, и его оттащили метров на шесть вниз по течению.

— Достаточно! — сказал капитан.

Немецкие осветительные ракеты погасли в пеще. Капитан Смирнов пошел по перекату.

— Скорее, скорее давайте, ребята! — говорил он саперам.

Толокно смелл заколеченного сапера Трофима Пожидас-на и опустился за него в воду по горло, чтобы без задержки расклинить и оторвать камень.

— Скорее! — торопил командир. — Скоро тапки хода запросят.

От тьмы стало как будто еще холоднее. Из-за кручи неприятельского берега начал бить пулемет неприцельным огнем, и пули ложились по перекасту кое-где.

— Не утерпел враг погодить немного! — осерчал Толокно, сидя в воде, строгойшей его тело ознобом.

— Тут война, товарищ Толокно! — сказал капитан.

— Известно, товарищ капитан! — ответил Толокно. — А тут саперы Красной Армии, а у саперов обе руки правые: одна камень долбит, а другая стреляет...

Подработанные сидни-камни трогались с вековых своих мест.

Разгромоздив перекаст от этих камней, капитан прошел поперек потока и освидетельствовал его, желая убедиться, что проход свободен.

Саперы вышли из воды под обрыв неприятельского берега. Враг занимал позиции несколько далее берега, и под обрывом было спокойно. На воздухе саперы враз обмерзли и обледенели, но вскоре они отогрелись, и им стало жарко в работе. Саперы взяли в лопаты глинистый береговой откос и начали въедаться в него пологой траншеей, чтобы тапки без усилия могли выйти здесь из реки и помчаться в сторону врага.

Полушубки оттаяли на саперах, от них пошел пар. Капитан Смирнов время от времени измерял пологость траншеи, чтобы не рыть лишнего, но и не затруднить тапковых моторов, и смотрел на своих бойцов.

Мины и пулеметные струи стремились через головы саперов на перекаст и там пожирали воду и лед.

«Сколько один Иван Толокно построил в своей жизни жилищ и всякого добра!» — думал капитан Смирнов.

И он спросил об этом у Толокно, рушившего сейчас грунт впереди себя.

— Не упомню, товарищ капитан, — ответил Толокно. — Сорок пар рубах от пота еще в мирное время сохренил на мне. Четыре шинели и два полушубка на войне потерял, седьмую одежду на себе донашиваю, а кости все целыми живут и тело ничего! Дышит!

«И этот Иван Толокно, может быть, сегодня же падет на землю сраженным насмерть!» — подумал Смирнов.

Когда траншейный выход был близок к окончанию, капи-

тан велел связанному отойти вверх по реке и дать оттуда сигнал ракетой, что танкам, дескать, путь открыт и похоте также нет трудных препятствий.

Немцы тоже стали беседовать между собой разноцветными ракетами. Иван Толокно глядел в небо, светящееся тихими цветными молниями тех ракет, осыпающихся медленно угасающими искрами.

IV

После полудни всюду стало тише. Отвлекающий, ложный бой разведчиков с противником прекратился. Саперы прилегли на отдых в открытой дорожкой траншее и задремали до прихода танков.

В нужное время капитан разбудил бойцов и велел им приготовиться к посадке на танки.

Иван Толокно не спеша поправил на себе снаряжение и прислушался к утихшей ночи: ничего не было слышно, кроме равномерного пения речного потока по каменистому перекату.

Потом Толокно услышал скрежет мелких камней под гусеницами танков, ворчание моторов и шипение взволнованной воды, а подхода машин к реке он по различил — столь безмолвно они подкрались и столь хорошо были отрегулированы их механизмы.

Траншею танки проходили самым тихим ходом, чтобы саперы успели разместиться в них, вдобавок к тем бойцам, которые уже находились на телах машин.

И танки, резко, точно с прыжка, взяв ход, устремились на врага, во мрак.

Иван Толокно попал на машину вместе с капитаном Смирновым. Он нашел теплое место на броне и отогревал там руки.

Враг обнаружил машины и стал бить издали артиллерийским огнем. Укрываясь от поражения, танки то сокращали ход, то мчались вперед, как ветер, то шли уклончивым маневром, но все время соблюдали главную, заданную линию движения.

На полной скорости, с воем напряженных моторов, танки влетели в деревню с заглушими, вымороженными избытками. Бойцы на танках приготовились вести автоматный огонь, но здесь никого не было видно, и только из крайней маленькой избы, что была на выходе, полосовал пулеметный огонь. Один наш танк с ходу налетел на ту избытку и похоронил в ней врага.

Если и остались в этой деревушке немцы, то пусть остаются дышать до нашей пехоты, машинам же было некогда и невыгодно тратить свою мощь на всякого мелкого, попутного врага.

Немцы били из пушек все более тесным огнем, и Толокно почувствовал, что в воздухе словно темного потемнело. Впереди, по ходу машины, Толокно разглядел неясное, темное место, озаряемое мгноvenным, но повторяющимся заревом рвущейся в небо шрапнели, и понял, что это горит деревня. Но из этой деревни, из-за ее обрушенной церкви, из ее могил и колодезев сильными кипжаками сверкал огонь сопротивления.

Танк, на котором находился Толокно, шел теперь на всей ярости своего мотора и гремел вперед пушечным огнем, и бойцы, бывшие на машине, кричали, не помня и не слыша себя, воодушевленные мощью боя.

По команде бойцы оставили танк и пошли в охват деревни.

V

Капитан Смирнов вывел своих саперов на западное поле, обойдя деревню и оставив бой позади себя; здесь саперы должны были отстроить новый узел обороны и сопротивления, пока танки, десантники и следующая за ними мотопехота будут блокировать и уничтожать врага в деревне.

Смирнов взял с собой Ивана Толокно для разметки работ.

В рассветных сумерках лежало перед ними зимнее русское поле, покрытое темными впадинами оврагов.

Капитан Смирнов хотел разбить линию трапнели с выходом ее в дзот по склону балки, начав трапнелю у бровки этой балки. Но Толокно посоветовал начать вскрытие траншеи раньше, еще на поле, где рос малый кустарник, чтобы и кустарник был у нас за спиной, на нашей земле, — он может пригодиться бойцам. Капитан согласился с этим хозяйственным расчетом.

Второй дзот Толокно задумал строить в самом устье оврага, чтобы пастбища на водоразделе меж двумя оврагами целиком остались за нами.

— Да ты что, Иван Толокно! — разгневался командир. — Мы что, мы сюда скотину пасты пришли? Мы кто — крестьяне, что ль?

— Я на всякий случай сказал, — смирился Толокно. — Мы не крестьяне, мы бойцы, но мы и то и другое...

— Ступай зови людей! — сказал капитан.

Саперы привычно взялись за земляную работу: она им напоминала пахоту, и бойцы отходили за ней душой, чем глубже, тем в земле было теплее и покойнее.

Наутро бой все еще гремел в деревне. Капитан Смирнов немного беспокоился, что сюда не подходит паша авангардная часть, как должно быть по плану сражения. Он решил усилить свое охранение и послал вперед, на посты, еще пятерых бойцов, в добавление к назначенным прежде, и в их числе Ивана Толокно. «Пусть он заодно отдохнет», — решил командир.

Толокно очистил о снег лопату, взял под мышку автомат, поправил гранаты на поясе и пошел в сторону заката солнца. Командир указал ему направление и расстояние, и Толокно вскоре скрылся за большим водоразделом.

Он шел ближе к врату, чтобы увидеть его первым, если враг пойдет на помощь своим солдатам, умирающим сейчас в русской деревне. Толокно дошел до одинокого ствола обгорелой, погибшей сосны и здесь остановился и осмотрелся. Вокруг было чисто и свободно, как всюду в равнинной России, где мало лесов. От подножия мертвой сосны начинался спуск в большой, разработанный овраг, а по ту его сторону земля снова подымалась.

Сапер хотел было закурить в тишине, но прежде поглядел вперед. Ветра не было, но в воздухе что-то напевало вдали.

Из-за оврага тихо вышел рокошующий танк с белым крестом и пошел на мертвую сосну и человека.

Иван Толокно посмотрел на машину и почувствовал свою горе, и жалость к себе в первый раз тронула его сердце. Он работал всю жизнь, он смертельно уставал. А теперь фашисты стреляют в него из пушек, теперь злодеи хотят убить труженика, чтобы сама память об Иване исчезла в вечном забвении, словно человек не жил на свете.

— Ну, нет! — сказал Иван Толокно. — Я помреть не буду, я не могу тут оставить беспорядок, без нас на свете управиться нельзя.

Из танка вырвался свет пулеметного огня. Толокно залег за стволом дерева и ответил врагу из автомата по щелям его глаз в машине.

Танк в упор навалился на дерево и подмял его под себя. Сосна треснула у корня и удивила сапера синим цветом на разрыве своего тела. Толокно отодвинулся в сторону от падающего дерева и очутился между ним и гусеницей танка, сжевающей снег до черной земли.

Он увидел, что над ним стало светло,— значит, танк прошел далее, пропустив под собою, между гусеницами, лежащего человека и поверженную сосну.

Иван Толокно, не теряя времени, бросился за танком с гранатой, ухватился за падкрылок и в краткий срок был в безопасности, на куполе пушечной башни врага.

Танк без стрельбы, молча, шел в сторону, откуда пришел Иван Толокно. Это было для Ивана попутно и хорошо. Он решил взять машину в плен или подорвать со гранатами, если она откроет огонь по тружеспикам-саперам либо повернет обратно. «Должно быть, это ихний разведчик блуждает,— размышлял Толокно,— а может, на подмогу к своим в одиночку идет. Этот танк сделали стрелять и давить, а он чужого сапера везет, своего хозяина».

Вскоре на броню танка безмолвно и внезапно вскочили наши люди,— может, они были из боевого охранения, а может, разведчики. Немцы остановили машину, потом повернули было обратно в свою сторону, и Толокно уже хотел остановить машину, чтобы подорвать ее гранатой, но немцы опять тронулись в нашу сторону, и Толокно успокоился. «Дурак, а понимает, жить хочет»,— подумал он.

В своем подразделении, куда Толокно, сдав сначала танк с экипажем трофейной команды, благополучно возвратился, командир поблагодарил и поцеловал сапера, а повар сказал:

— А мы думали, что тебя уж больше не будет!

— Нет,— ответил Иван Толокно,— я буду постоянно, ты всегда пищу держи для меня!

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН

ЖИЗНЬ

I

Вот уже две недели, как небольшой отряд красноармейцев с боем пробивался по разрушенным войной запахтым поселкам, шел донецкой степью. Дважды немцы окружали его, и дважды рвал отряд кольцо окружения, двигался на восток. Но на этот раз прорваться было невозможно. Немцы окружили отряд плотным кольцом пехоты, артиллерии, минометных батарей.

Вопреки логике и разуму, казалось немецкому полковнику, они не хотели сдаваться. Весь фронт отошел на сто километров, а жалкая горсть советской пехоты, засев в развалинах надшахтного здания, продолжала стрелять. Фашисты били по ней день и ночь из пушек и минометов. Подойти близко не было возможности — у красноармейцев имелись пулеметы и противотанковые ружья. Запас боеприпасов у них, очевидно, был велик: они не жалея патронов.

Вся история приняла скандальный характер. Армейское начальство прислало раздраженную, насмешливую радиogramму: не нуждается ли полковник в поддержке корпусной артиллерии и танков. Полковник, оскорбленный, огорченный, взывал начальника штаба.

— Вы понимаете,— сказал он,— что славы нам не принесет разгром этого жалкого отряда, но каждый лишний час его существования — это позор мне, вам, всему полку.

С рассветом началась обработка развалин тяжелыми полковыми минами. Пудовые желтопузые мины послушно и точно шли на цель. Казалось, каждый метр земли вспахан, взрыт. Было истратчено полтора боекомплекта, но полковник приказал не прекращать огня. Мало того — он ввел в дейст-

вно стопятидесяти миллиметровые батареи. Дым и пыль высоко поднимались вверх, а грохоте обрушились высокие стены копра. «Продолжать огонь», — сказал полковник. Камни летели во все стороны, железная арматура рвалась, как гнилые битки. Бетон рассыпался. Полковник смотрел в бинокль на эту страшную работу.

— Не прекращать огня, — снова повторил он.

— На каждого русского мы, вероятно, выпустили пятьдесят тяжелых мин и тридцать снарядов, — проговорил начальник штаба.

— Не прекращать огня, — упрямо сказал полковник.

Солдаты хотели есть, устали, но им не пришлось ни застрелить, ни обедать.

Только в пять часов дня полковник дал сигнал общей атаки. Батальоны рванулись к развалинам с четырех сторон. Все было подготовлено. Атакующие имели на вооружении автоматы, ручные пулеметы, мощные огнеметы, взрывчатку, ручные и противотанковые гранаты, ножи, лопаты. Они приближались к развалинам, гася в грозном крике, в грохоте и лязге страх перед людьми, засевшими в надшахтном здании. Атакующих встретило молчание. Ни одного выстрела. Ни одного шепеления. Первым порвался разведывательный отряд.

— Рус! — кричали солдаты. — Где ты, рус?

Камни и железо молчали. Естественно, первой пришла в голову мысль: русские перебиты все до одного. Офицеры приказали произвести тщательные поиски, вырыть тела, довести об их количестве.

Поиски длились долго, но трупов не было обнаружено. Во многих местах стояли лужи крови, валялись окровавленные бинты, изодранные, запачканные кровью рубахи. Поиски обнаружили четыре ручных пулемета, исковерканных немскими снарядами. Консервных банок, пакетов пшеничного и горохового концентрата, кусков сухарей найдено не было. В одной яме разведчик обнаружил наполовину съеденную кормовую свеклу. Солдаты исследовали эксплуатационный ствол шахты: отовсюду вели к стволу следы крови. К скобе, вбитой в деревянную обшивку, была привязана веревка. Очевидно, русские спустились по аварийным скобам в шахту и унесли с собой равнины. Трое смельчаков-разведчиков, обвязавшись веревками, держа наготове ручные гранаты, стали спускаться по стволу. Пласт залегал мелко, глубина ствола была не больше семидесяти метров. Едва разведчики достигли шахтного двора, как начали отчаянно дергать веревку. Их выта-

жили без сознания, в крови, огнестрельные раны на их телах подтвердили, что русские находятся в шахте. Ясно было, что долго им там не пробыть, — найденная наполовину изглоданная свекла свидетельствовала: продовольствия у русских нет.

Полковник сообщил обо всех этих событиях наверх и получил слова от начальника штаба армии исключительно жесткую и язвительную телеграмму: генерал поздравлял его с успехом и выражал надежду, что в ближайшие дни окончательно удастся сломить сопротивление русских. Полковник пришел в отчаяние. Он понимал, что становится смешным.

После этого были приняты следующие меры.

Дважды спускали по стволу бумагу, писанную на русском языке, с предложением сдаться. Полковник обещал сдавшимся сохранить жизнь, раненым — помощь. Оба раза на бумаге была карандашная резолюция: «Нет». После этого пришли немецкие химики и забросали ствол дымовыми шашками. Но, очевидно, отсутствие диффузии воздуха помешало дыму распространяться по подземной выработке. Тогда полковник велел собрать женщин из шахтерского поселка и объявить им, что если сидящие в шахте красноармейцы не сдадутся, все женщины и дети в поселке будут расстреляны. Женщинам было предложено избрать трех делегатов; этих делегатов спустят в шахту, и они обязаны уговорить красноармейцев сдаться ради спасения женщин и детей. Если красноармейцы откажутся сдаваться, ствол шахты будет взорван.

В делегацию вошли: жена крепильщика Ньюша Крамаренко, Варвара Зотова, работавшая до войны на углебойке, Марья Игнатьевна Монсеева — тридцатисемилетняя женщина, мать пятерых детей; старшей ее девочке было тринадцать лет. Муж ее, запальщик, не работал на шахте с тридцать восьмого года: ему при разбуривании стакама выжгло глаза. Женщины просили немцев разрешить спуститься с ними в шахту старику забойщику Козлову, — они боялись, что заблудятся без провожатого, так как после газопуска красноармейцы, вероятно, ушли в дальние выработки. Старик сам вызвался проводить их. Немцы приспособили над стволом ворот и блок, прикрепили к нему «букет» — деревянную бабью, используемую обычно на проходках, и закрепили трос, спящий с подвешенной клетью.

Делегацию отвели к шахте. Тогда женщины и детей с плачем шла следом. Сами делегатки тоже плакали, — они прощались с детьми, со своими родными, с поселком, с белым светом.

Бабы со всех сторон кричали:

— Нюшка, Варька, Игнатьевна! На вас вся надея! Уговорите их, голубчиков, проклятых, постреляют нас, окапные, пропадем мы, и дети наши пропадут, подумат, как кутеват.

Делегатки, плача, кричали:

— Да пешто мы сами не знаем, у самих дети!

Старик Козлов шел впереди, припадая на левую ногу, — со смяло во время обрушения кровли при проходе западного бремсберга. Он шел, мерно размахивая зажатой шахтерской лампой, снесши уйти вперед от кричащих и плачущих баб, — они нарушали торжественное настроение, которое всегда приходило к нему при спуске в шахту. И сейчас, обманывая себя, он представлял, как клеть опустит его в шахту, как сырость коснется лица его, как придет он в забой по тихой продольной, освещая лампочкой темный ручеек, бегущий по уклону, и покрытая жирной пухлой угольной пылью балка крепления. Он спускает в забое шахтерки, сложит их, засечет куток и пойдет рубать мягкий коксующийся уголек. Через час зайдет к нему в забой кум, газовый деслтник, и спросит: «Ну что, рубашешь?» И он утрет пот, улыбнется и скажет: «А что ж с пим делать, рубабю, пока жив. Посидим, что ли, отдохнем». Они сядут у воздушника, поставят лампочки, вентиляционная струя будет мягко обдувать его черное, блестящее от пота тело, и они поговорят, не торопясь, о газовом угольке, о новой продольной, о кумполе, выпавшем на коренной штрек, посмеются пад заведующим вентиляцией. Потом кум скажет: «Ну, Козел, с тобой тут всю упряжку просидишь», — посветит лампочкой и пойдет. А он скажет: «Иди, иди, старый», — а сам возьмет обушок и давай по струям рубать в мягкой черной пыли. Шутка ли, сорок лет при таком деле!

Но как ни торопился хромой старик, бабы не отставали от него. Плач и визг стояли в воздухе; вскоре весь народ подошел к развалинам надшахтного здания. Ни разу Козлов не был здесь с того дня, как бледный, с трясущимися руками пузатый инженер Татариннов, когда-то, молоденьким штейгером, строивший этот копер, самолично не подорвал толым надшахтное здание. Это было дня за два до прихода немцев.

Козлов огляделся вокруг и невольно снял шапку. Бабы выли и причитали; холодный мелкий дождь падал деду на лысину, щекотал кожу. У него было чувство, словно он снова на кладбище, в осенний день, подходит к открытому гробу проститься со своей старухой. Немцы стояли в пелерниках и в шинелях, переговаривались, покуривали сигарки, пощелкивали, словно все это смертоубийственное дело шло само собой. Только один здоровенный солдат, с совершенно рыжим

лицом и большими темными мужицкими руками, уныло и хмуро разглядывал развалины шахты. «Вроде сочувствует... Может, тоже подземным был, — подумал старик, — забойщиком или по крепим...» Он первым полез в «букет». Нюшка Крамаренко закричала громко, во весь голос:

— Олечка, ангелочек, деточка!

Замурзавшая, с большим животом, раздувшимся от свеклы и серых кукурузных зерен, трехлетняя девочка хмуро и сердито смотрела на мать, точно осуждала ее за слишком шумное поведение.

— Ох, не могу, млеют руки мои, ножки мои млеют! — кричала Нюшка. Она боялась черного провала, где сидели разъяренные от сражения бойцы. — Всех, всех постреляют, никто они не разберут в темноте! — кричала она. — нас там внизу, нас тут подавят, наверху...

Немцы подсаживали ее в «букет», она отталкивалась от борта ногами. Старик хотел помочь ей, но потерял равновесие и больно ударился скулой об железину. Солдаты засмеялись, и смущенный злой Козлов рывкнул:

— Лезь, дура, в шахту едешь, не в Германию, чего рвешься!

Варвара Зотова ловко и легко прыгнула в бадью, она оглядела плачущих женщин и детей, протягивающих к ней руки, и крикнула:

— Не бойсь, женщины, всех их там околдую, на-гора выведу!

Ее залитые слезами глаза вдруг заблестели весело и озорно. Варваре Зотовой нравилось это опасное путешествие, — она и в девичестве славилась озорством. Да и перед самой войной, уже замужней женщиной, матерью двух детей, она в полчку вместе с мужем ходила в шинюгу, играла на гармошке и плясала, грохоча копытными тяжелыми сапогами, с молодыми грузчиками, ее товарищами по работе на углемойке. И вот сегодня, в эту тяжелую и страшную минуту, Зотова, весело и отчаянно махнув рукой, сказала:

— Эх, раз живем! Что суждено, того не мпнуешь, верно, дед?

Марья Игнатьевна Моисеева запесла свою толстую большую ногу через борт, охнула, кряхтя, сказала:

— Варька, пособи, не хочу, чтобы немец меня касался, без него справлюсь, — и перебралась в бадью.

Она сказала старшей девочке, державшей в руках полуторогодовалого мальчика:

— Лидка, козу покорми, там ветки нарубленные. Хлеба нет, — так ты тыквы половину, что от вчерашней осталась,

свари в чугупе, она под кроватью лежит. Соли у Дмитриевны позвучишь. Да смотри, чтобы коза не ушла, а то уведут.

Бадью повело. Игнатьевна, потеряв равновесие, схватилась за борт, и Варька Зотова обняла ее за толстую талию.

— Что это у тебя, — удивленно спросила она, — за пазуху положено?

Марья Игнатьевна не ответила ей, сердито сказала немецкому ефрейтору:

— Ну, чего сердце зря рвать? Посадили — так спускайте, что ли.

И ефрейтор, точно появив, дал сигнал солдатам. Бадья пошла вниз. Раз-а три она сильно ударилась о поросшую темной зеленой деревянную обшивку, да так, что все валялось с пог. Потом пошла она плавно, сырость и мрак охватили людей, бедный свет бензинок освещал сгнившую обшивку ствола, вода бежала по пей, бесшумно поблескивая. Холодом дышала шахта, и чем ниже спускалась бадья, тем страшней, холодней становилось душе.

Женщины молчали. Они вдруг оторвались от всего, что было дорого им и привычно, шум голосов, плач и причитания еще стояли у них в ушах, а суровая тишина черного подполья уже охватила их, подчиняла мозг и сердце. И вдруг в одно мгновение всем им пришла на мысль люди, уже третьи сутки сидевшие там, в глубине, во мраке... Что они думают? Что они чувствуют? Чего ждут, на что падают? Кто они — молодые ли, старые ли? Кого вспоминают, о ком жалеют? Где берут силы для жизни? Старик осветил лампой белый плоский камень, замурованный между двумя балками, и сказал:

— С этого камня тридцать шесть метров до шахтного двора, здесь первый горизонт. Надо голос подать жепский, а то ребята постреляют нас.

И бабы подали голоса.

— Ребята, не бойтесь, бабы едут! — гаркнула Зотова.

— Свои, свои, русские, свои! — голосила Нюшка.

А Марья Игнатьевна протяжно подхватила:

— Слышь, сынки, не стреляйте! Сынки, не стреляйте!

II

На шахтном дворе их встретили два часовых с автоматами; у каждого из них на поясе висело по дюжине ручных гранат. Они разглядывали жепшин и старика, мучительно щурясь от слабенького света бензинок, прикрывали глаза ладонями, отворачивались, — желтый язычок пламени вали-

чанной с младенческий мизинчик, закрытый густой металлической сеткой, слепил их, как летнее молодое солнце.

Один из них хотел помочь вылезть Марье Игнатьевне, подставив ей для упора плечо. Но он, видно, посоразмерил своей силы, и когда Моисеева оперлась об него ладонью, он вдруг потерял равновесие и упал. Второй часовой рассмеялся и сказал:

— Эх ты, Ваня!

Нельзя было понять, молоды они или стары, лица их заросли бородами, говорили они медленно, движения их были осторожны, как у слепых.

— Пожрать ничего у вас нет, а, женщины? — спросил тот, что неудачно помогал Марье Игнатьевне.

Второй сразу же перебил:

— А хоть бы и есть — товарищу Костицыпу сдадут, он сам уже разделит.

Женщины молча всматривались в них; старик, поднимая лампу, освещал высокий свод подземного шахтного двора.

— Ничего, — бормотал он, — крепь держит, крепь такая — дай бог здоровья, на совесть ставили.

Один из часовых остался у ствола, второй пошел проводить делегатов к командиру.

— Где вы тут помещаетесь? — спросил старик.

— Да вот тут за воротами, направо вниз коридор, там и сидим.

— Нешто это ворота? — удивленно сказал Козлов. — Это же вентиляционная дверь. На первом уклоне...

Часовой шел рядом с ним. Женщины шли следом.

Возле вентиляционной двери стояли два пулемета, направленные на шахтный двор. Пройдя еще несколько метров, старик приподнял лампу и спросил:

— Спят, что ли?

Часовой спокойно и медленно ответил:

— Нет, это покойники.

Старик посветил лампой на тела в красноармейских шинелях и гимнастерках. Их головы, груди, плечи и руки были перевязаны ржавыми от старой, сухой крови бинтами и тряпками. Они лежали один подле другого, тесно прижавшись друг к другу, словно греясь. На некоторых были ботинки с вылезшими концами портянок, двое были в валенках, двое — в сапогах, одни — босой. Глаза их запали, лица поросли щетиной, но не такой густой, как у часового.

— Господи, — тихо говорили женщины, глядя на покойников, и крестились.

— Пошли, чего стоять! — проговорил часовой.

Но женщины и старик смотрели на тела, с ужасом вдыхали запах, шедший от них. Потом они пошли дальше. Из-за угла коренного штрека слышался негромкий стон.

— Здесь, что ли? — спросил старик.

— Нет, это госпиталь паш, — ответил часовой.

На досках и сорванных вентиляционных дверях лежали трое раненых. Подле них стоял красноармеец и подносил ко рту одного котелок с водой.

Двое лежали совсем неподвижно, не стояли; старик пошевелил лампой па них.

Красноармеец с котелком спросил:

— Откуда, что за народ?

И, поймав напряженные взгляды женщин, обращенные к неподвижно лежащим, успокаивающе добавил:

— Скоро кончатся, часика через два так.

Раненый, пивший воду, сказал тихо:

— Мамаша, рассолу бы из кислой капусты.

— Да мы депутация, — сказала Варвара Зотова.

— Какая такая, от немцев, что ли? — спросил санитар.

— Ладно, ладно, — перебил часовой, — командиру все расскажете.

Раненый сказал Козлову:

— Посвети-ка, дед, — и, икнув откуда-то из самого пупа, приподнялся, откинув полу шинели, прикрывавшую развороченную выше колена ногу.

— Ой, батюшки мои! — вскрикнула Нюшка Крамаренко. — Ой!

Раненый тем же тихим голосом говорил: «Посвети-ка, посвети». И все приподнимался, чтобы лучше рассмотреть. Он смотрел спокойно и внимательно, разглядывал ногу свою как чужой, посторонний предмет, не веря, что это мертвое, гниющее мясо, тугупно-черная, охваченная гангреной кожа является частью живого, привычного ему тела.

— Ну вот, видишь, — сказал он укоризненно, — черви завелись и шевелятся. Я говорил командиру, — зачем мучиться было со мной, оставил бы наверху, я бы грабаты мог бросать, а там бы пристрелил сам себя. — Он снова посмотрел на рану и недовольно сказал: — Так и ходят, так и ходят.

Часовой сердито сказал ему:

— Не тебя одного тащили, с этими двумя, — он показал на лежащих, — четырнадцать человек покойников.

Нюшка Крамаренко сказала:

— Чего же вам здесь мучиться, подпрыгивать бы на-гора, там хоть в больнице обмороют, повязку сделают.

Раненый спросил:

— Кто ж, помцы? Нехай тут меня живым черви съедят.

— Пошли, пошли, — сказал часовой, — нечего здесь, гражданки, агитацию разводить.

— Постой, постой, — сказала Марья Игнатьевна и начала вытаскивать из-за пазухи кусок хлеба. Она дала хлеб раненому. Часовой протянул руку с автоматом и властно, сурово сказал:

— Запрещено. Каждая кроха хлеба, которая в шахте, поступает к командиру для дележа. Пошли, пошли, гражданки. Нечего.

И они прошли дальше, мимо госпиталя, где стоял уже запах смерти такой же, как в мертвецкой, в которой они были несколько минут назад.

Отряд расположился в выработанной почти на первом западном штреке восточного уклона шахты. На штреке стояли пулеметы, имелось даже два легких ротных миномета.

Когда депутация свернула на штрек, женщины услышали звуки, столь неожиданные для них, что повольно остановились. Со штрека раздавалось пение. Пели негромко, устало, пели какую-то знакомую им песню, мрачную, невеселую.

— Это для духовности, заместо обеда, — сказал серьезно сопровождающий их боец, — второй день командир разучивает с нами; еще отец, говорит, пел ее, когда при царе на каторге был.

Одинокий голос, полный печали, затянул:

Наш праг над тобой не грумился,
Вокруг тебя были свои,
И мы, все родные, закрыли
Орляные очи твои...

— Слушайте, бабы, — тихо и серьезно сказала Ньюша Крамаренко, — вы меня пустите наперед, я лучше вас сумею слезами, криком, а то ведь ребята, видно, такпе, что постреляют там помцы детей наших, а они на своем стоять будут.

Старик вдруг повернулся к ним и сдавленным голосом, охваченный бешенством, сказал:

— Что, суки, уговаривать пришли, — так вас самих пострелять надо!

И Марья Игнатьевна шагнула вперед, отстранила Ньюшу и старика и сказала:

— А ну, пустите меня, мой черед пришел говорить.

Часовой, стоявший на штреке, вскинул автомат.

— Стой, руки вверх!

— Бабы идут! — крикнула Марья Игнатьевна и, пройдя мимо, властно спросила:

— Где командир, показывай!

Из темноты послышался негромкий голос:

— В чем дело?

Бензипка осветила группу красноармейцев, полулежащих на земле. В центре сидел большой, плечистый человек с круглой русской бородой, густо запачканной угольной пылью.

Все сидевшие вокруг него были тоже в угле, с черными руками, белки глаз их поблескивали и зубы казались белыми, свежо-белыми.

Старик Козлов смотрел на их лица с великим умлением души: это были бойцы, прославившиеся своей железной славой по всему Донбассу. И ему казалось, что он увидит их в кубанках, в красном галифе, с серебряными саблями и с дикими чубами, торчащими из-под папах и фуражек с лакированными козырьками. А на него смотрели рабочие лица, черные от рабочей угольной пыли, — такие лица были у его кровных друзей, рабочих, забойщиков, крепыльщиков, запальщиков, кополонов. И, глядя на них, старый забойщик поиял всем своим сердцем, что страшная, горькая судьба, которую они предпочли плену, — это его судьба.

Он сердито оглянулся на Марью Игнатьевну, когда та говорила.

— Товарищ командир! — сказала она. — Мы к вам вроде депутация.

Он встал, высокий, очень широкий и очень худой, и тотчас поднялись за ним красноармейцы. Они были в ватниках, в грязных шапках-ушанках, заросшие бородами. И женщины смотрели на них. То были их братья, братья их мужей, — такими выезжали они из шахты после дневных и ночных упряжек, — в угле, спокойные, утомленные, шурясь от света.

— В чем же дело, депутатки? — спросил командир и улыбнулся.

— Дело простое, — ответила Марья Игнатьевна, — собрали пемцы всех баб и детей и сказали: «Отправляйте женщин в шахту, пусть уговорят бойцов сдаваться; если не сумеете их па-гора поднять, постреляем вас всех тут с детьми».

— Так, — сказал командир и покачал головой. — Что же ты нам скажешь, жепщина?

Марья Игнатьевна посмотрела в лицо командиру; она повернулась к двум своим товаркам и спокойно, печально спросила:

— Что же мы скажем, женщины? — И стала вытаскивать из-за пазухи куски хлеба, коржи, вареную свеклу и картофелины в кожуре, сухие корки.

Красноармейцы отвернулись, потупились, стыдясь смотреть на пищу, прекрасную, пемыслимую своим видом, своим обаятельным запахом. Они боялись смотреть на нее, — то была жизнь. Один лишь командир смотрел прямо на холодный картофель и хлеб.

— Это не только мой вам ответ. Добро это мне старухи панесли, — сказала Марья Игнатьевна, — еле ведь донесла, — все боялась, как бы немец под кофтой не пощупал. — Она выложила все это бедное припомещение в платок, низко поклонившись, поднесла командиру, сказала: — Извините.

Он молча поклонился ей.

— Игнатьевна, я как увидела того рапеного, как его живым черви едят, услышала его слова, так я обо всем забыла.

Варвара Зотова оглядела красноармейцев улыбающимися глазами и сказала:

— Выходит, ребята, зря депутация в шахту ездил.

И красноармейцы глядели на ее молодое лицо.

— А ты оставайся с нами, — сказал один, — выйдешь за меня замуж.

— Ну и что ж, пойду, — сказала Варвара, — а кормить жену будешь?

И все тихо рассмеялись.

Два с лишним часа просидели женщины в шахте. Командир со стариком забойщиком ушли в дальний угол печи, негромко разговаривали.

Варвара Зотова сидела на земле, подле нее, опершись на локоть, лежал небольшого роста красноармеец. В полутьме она видела бледность его лба, резко выступавшие из-под кожи лицевые кости, желваки на скулах. Он смотрел открытым, пристальным взором, по-детски полуоткрыв рот, на ее шею, белешую под платком, на ее лицо и грудь. Бабы нежность заполнила ее сердце, она тихонько погладила его по руке, придвинулась к нему. Лицо его искривилось улыбкой, и он хрипло шепнул ей:

— Эх, зря вы нас тут расстроили, — что женщина, что хлеб, все про солнышко напоминают.

Она обняла его, поцеловала в губы и заплакала.

Все сидевшие молча смотрели, как будто не пошевелив и не пошевелившись. Стало тихо.

— Что же, пора нам ехать, — сказала Игнатьевна и поднялась. — Дед Козлов, Дмитрич, поднимайся, что ли!

Старый забойщик сказал:

— Проводить до ствола — провожу, а с вами на-гора по поезду, делать мне там нечего.

— Что ты, Дмитрич? — сказала Крамаренко. — Ты же тут с голоду умрешь.

— Ну что ж, — сказал он, — я тут со своими людьми умру, в шахте, где всю жизнь проработал. — И сказал он это таким спокойным и ясным голосом — все сразу поняли, что уговаривать его не к чему.

Командир вышел вперед:

— Ну, женщины, не будьте на нас в обиде. Все же, я думаю, немцы только запугать нас хотели, чтобы нас на провокацию взять.

— Детям своим о нас расскажите. Пусть они своим детям расскажут: умеют умирать наши люди.

— Эх, письмецо с ними передать, — сказал один красноармеец, — после войны бы переслали привет пап смертольный.

— Не пужно писем, — сказал командир. — Их, вероятно, обшугут после того, как они подымутся.

И женщины ушли от них, плача, словно оставляли в шахте мужей и братьев, обреченных смерти.

III

Дважды в эту ночь немцы бросали в ствол дымовые пашки. Костицын приказал закрыть все вентиляционные двери, завалить их мелким угольным штыбом. Часовые пробирались к стволу через воздушники, стояли на посту в противогазах.

Во мраке пробрался к Костицыну санитар и доложил, что раненные погибли.

— Не от газа, а своей смертью, — сказал он и, пайдя руку Костицына, передал ему маленький кусок хлеба.

— Не захотел Минеев есть, сказал: «Сдай обратно командиру, мне уже это без пользы».

Командир молча положил хлеб в свою полевую сумку, где хранился продовольственный запас отряда.

Прошло много часов. Бензиновая лампочка погасла, все лежало в полном мраке. Лишь на несколько мгновений капитан Костицын включил ручной электрический фонарь, — батарея почти вся выгорела, темно-красная ниточка накалилась с трудом, не в силах преодолеть огромность мрака. Костицын

разделил продукты, принесенные Игнатьевной, на десять частей. На каждого человека приходилось по картофелине и куску хлеба песом в шестьдесят-восемьдесят граммов.

— Ну что, дед, — сказал оп забойщику, — но жалеешь, что остался с нами?

— Нет, — отвечал старик, — чего жалеть! У меня тут на сердце покойно.

— А ты бы рассказал что-нибудь, дед, — попросил голос из темноты.

— Правда, дед, послушаем тебя, — поддержал второй голос. — Ты не стесняйся, нас тут человек десять осталось, людей все рабочих.

— А с каких работ? — спросил старик.

— С разных. Вот товарищ капитан Костицын до войны учителем был.

— Я ботанику преподавал в учительском институте, — сказал капитан и рассмеялся.

— Ну вот, четверо нас тут — слесаря. Вот я и три друга мои.

— И все четыре Иванами зовемся. Четыре Ивана.

— Сержант Ладьев наборщиком был в типографии, а санитар наш Гаврилов... Он здесь, что ли?

— Здесь, — ответил голос, — кончилась моя санитарная работа.

— Гаврилов — оп кладовщиком в инструментальном складе был.

— Ну, и один Федька парикмахером работал, а Кузин аппаратчиком был на химическом заводе.

— Вот и все наше войско.

— Это кто сказал, санитар? — спросил старик.

— Правильно, видишь, ты уж нас привык различать.

— Значит, шахтеров нет среди вас, подземных?

— Мы теперь все подземные, — сказал голос из дальнего угла, — все шахтеры.

— Это кто ж говорит? — спросил старик. — Слесарь, что ли?

— Оп самый.

И все тихо, лениво засмеялись.

— Да, вот приходится отдыхать.

— Мы и сейчас в бою, — сказал Костицын, — мы в осажденной крепости. Мы отвлекаем на себя силу противника. И помните, товарищи, что пока хоть один из нас дышит, пока глаза его не закрыты, — оп воин нашей армии, он ведет великий бой.

Слова его были сказаны в темноту, звонким голосом, он почти прокричал их, и никто не видел, как Костицын вытер пот, выступивший на висках от чрезмерного напряжения, понадобившегося ему, чтобы произнести эти громкие слова.

«Да, это учитель, — подумал забойщик, — это настоящий учитель». И он одобрительно сказал:

— Да, ребята, ваш начальник всей нашей шахтой заведовать бы мог, был бы заведующий настоящий.

Но никто не понял, как много похвалы вложил старик в эти слова, никто не знал, что Козлов всю жизнь свою ругал заводующих, говорил, что нет на свете человека, который мог бы заведовать такой знаменитой шахтой, ствол которой он, Козлов, прорубал своими руками.

Во тьме, охваченный доверием и любовью к людям, чью жестокую судьбу добровольно разделил, старик сказал:

— Ребята, я эту шахту знаю, как муж жену не апаёт, как мать сына родного не знает. Я, ребята, в этой шахте сорок лет работал. Только и были у меня перерывы три раза — это в пятом году, за восстание против царя продержали меня в тюрьме четырнадцать месяцев, и потом в одиннадцатом году — еще на полгода сажали за то, что агитацию против царя вел, и в шестнадцатом — взяли меня на фронт, и пленен я к немцам попал.

— Вот видишь, — сказал насмешливый голос, — вы, старик, любите хвалиться. Мы на Дону стояли, старик один, казак, все перед нами выхвалялся, кресты царские показывал, насмешки строил. А вот в плен мы живыми не идем, а ты пошел.

— Видел ты меня в плену?! — крикнул Козлов. — Видел ты меня там?! Меня равным взяли, я без памяти был.

— Сержант, сержант! — сказал строго Костицын.

— Виноват, товарищ капитан, я ведь не по злобе, а по смеяться.

— Ладно, чего там, — сказал старик и махнул в темноте рукой в знак прощенья, но никто, конечно, не видел, какой это сделал. — Я из плена три раза бегал, — миролюбиво сказал он. — Первый раз из Вестфалии, — работал там на шахте тоже; и вроде работа та же, и вроде шахта — как шахта, но не могу, и все. Чувствую — удавлюсь, а работать там не стану.

— А кормили как? — спросили в один голос несколько человек.

— Ну, кормили! Двести пятьдесят граммов хлеба и суп

такой, что на дне тарелки Берлин видать. Ни слезинки жиру. Кипяток.

— Кипяточку сейчас я бы выпил.

Снова раздался голос командира:

— Меркулов, помните мой приказ — о еде не разговаривать.

— Так я ведь о кипяточке, нешто это еда, товарищ капитан! — добродушно и устало ответил Меркулов.

— Да, поработал я там с месяц и в Голландию бежал, через границу перебрался, — говорил Козлов. — Шестнадцать суток в Голландии жил и потом на пароход пробрался — в Норвегию ехать. Только не доехал. Поймал нас немец в море и в Гамбург привел. Дали мне там крепко, к кресту подвязывали. Два часа висел, фельдшер мне пульс щупал, водой отливал, а потом послал в Эльзас, на руду — тоже подземная работа. Тут уж наша революция подошла, я снова бежал, через всю Германию прошел. Ну, тут уже мне помогали рабочие ихние. Я по-ихнему разговаривать стал. В деревнях не почевал, больше старался в рабочих поселках. Вот так и шел. А двадцать верст осталось мне идти, — снова меня поймали, и в тюрьму. Тут уж я третий раз бежал. Пробрался в Прибалтийский край, ну и тифом заболел. «Неужели, думаю, не приду на шахту, неужели придется помереть?» Нет, осилил немца, осилил и тиф. Выздоровел. До двадцать первого года в гражданской войне был, добровольцем пошел. Я ведь против старого режима очень был злой, парнем молодым афишки разбрасывал, — тогда так листовки мы звали.

— Да ты, старик, неукротимый! — сказал сидевший рядом с Козловым боец.

— О брат, я знаешь какой, — с детским бахвальством сказал Козлов, — я человек рабочий, революционный, я ради правды никогда не жалел ничего. Ну, и пришел я, как демобилизовали меня, в апреле. Это было перед вечером уже. Пришел. — Он помолчал, переживая давнишнее воспоминание. — Пришел, да... пришел. И правду скажу, не в поселок зашел, а прямо вышел на здание, ну на копор посмотреть. Стою и слезы льются, — и не пьяный пичуть, а плачу. Ей-богу, вот тебе честное слово. Смотрю на шахту, на глеевую гору и плачу. А народ уже меня узнал, к моей бабе побежали. Кричат: «Козел твой воскрес, на здание вышел, стоит там и плачет». Так, веришь, мне старуха до последнего часа простить не могла, что я к шахте на свидание рапьше, чем к ней, пошел. «У тебя, говорит, вместо сердца, кусок угля».

Он помолчал и сказал:

— Но вернись ли мне, товарищ боец, — ты, я слышу, тоже парень рабочий, я прямо скажу — вот это мечта мне было: на этой шахте жизнь проработать, на этой шахте помереть.

Он обращался к невидимым в темноте слушателям как к одному человеку. Ему казалось, что это человек, хорошо знакомый ему, давний друг его, рабочий, с которым судьба привела встретиться после постылых дней, сидит рядом с ним в выработанной печи и слушает его с вниманием и любовью.

— Что ж, товарищи, — сказал командир, — подходите пайки получать.

— Может, присветить, — сказал шутя кто-то, — как бы два раза не подошел кто?

И все рассмеялись, — столь немислным показалось им совершить такое подлое преступление.

— Давайте, давайте, чего же не подходите! — сказал Костицын.

Из темноты раздавались голоса:

— Ну, чего же, подходи ты... Дода-забойщика давайте наперед: подходи, дед, чего же ты, шупай свою пайку.

Старик оцепил эту благородную неторопливость измученных голодом людей. Он много видел в своей жизни, видел не раз, как голодные бросаются на хлеб.

После дележа еды старик остался сидеть с Костицыным. Костицын тихо говорил ему:

— Вот, товарищ Коалов, спустились мы в шахту двадцать семь человек — девять осталось. Люди сильно ослабели, хлеба больше нет. Я боялся, что люди друг на друга озлобятся, когда поймут всю тяжесть нашего положения. И была такая минута, верно была — начали по-пустому ссориться. Но произошел перелом, и я себе многое в заслугу ставлю, мы тут до вашего прихода разговор один серьезный имели. Вот так мы живем здесь: чем тяжелей нам, тем тесней друг к другу жмемся; чем темней, тем дружнее живем. У меня отец на каторге был в царские времена, еще в пору студенчества, и мне его рассказы с детства помнятся. Он говорил: «Надежды мало было, а я верил». И меня он так учил: «Нет безнадежных положений, борись до конца, пока дышишь». И ведь так оно — страшно подумать, как мы этот месяц дрались, какими силами на нас враг шел, — и вот ничего, не сдались мы этой силе, отбились. Девять нас осталось, глубоко в землю ушли, над нами, может быть, дивизия немцев стоит, а мы не побеждены, будем драться и выйдем отсюда. Не отнять у нас неба, жизни, травы, мы отсюда выйдем!

Старик так же тихо ответил ему:

— А чего на шахты выходить, — тут он, дом. Бывало, заболелешь и в больницу не идешь, ляжешь в шахте — она вылечит.

— Выйдем, выйдем! — громко так, чтоб слышали все, сказал Костицын. — Выйдем из этой шахты, мы непобедимо люди, мы доказали это, товарищи!

Но едва пропалес он эти слова, как тяжелый, медленный глухой удар потряс свод и почву. Заскрипела, затрепала крепь, глыбы породы попалились паземь, все, казалось, зашевелилось вокруг, а затем вдруг сомкнулось, сжало повалившихся людей, сдавило им грудь, сперло дыхание. Был миг, когда казалось — нечем дышать: то густая и мелкая пыль, годами копившаяся на сводах, на крепи, поднялась и заполнила воздух.

Чей-то кашляющий, задыхающийся голос хрипло пропалес:

— Немец ствол взорвал! Могила всем нам...

И тотчас же упрямый, иступленный голос Костицына перебил:

— Нет, не втопчет он нас в землю, выйдем мы, слышите — подымеся наверх, мы выйдем!

И какое-то святое и злое упорство охватило людей. Капляя и задыхаясь, словно опьяневшие от мысли, владевшей ими, кричали они:

— Выйдем, товарищ капитан, подымеся наверх, своей волей подымеся!

IV

Костицын отрядил двух человек к стволу. Их повел старик забойщик. Идти было трудно, во многих местах взрыв вызвал завалы и обрушения кровли.

— За мной, сюда, за погу меня щупай, — говорил Козлов и уверенно, легко перешагивал через груды породы и поваленные стойки крепления...

Он нашел часовых на шахтном дворе, — оба они лежали в уже холодевшей крови и оба крепко держали в руках раздробленные свои автоматы. Погибших похоронили, завалили их тела кусками породы. Один из бойцов сказал:

— Вот теперь нас три Ивана осталось.

Старик долго лазил по подземному двору, пробрался к стволу, шумел там, разбирая крепь и породу, охал, ужасался силе взрыва.

— Вот окаянство, — бормотал он, — ствол взрывать. Где

же это видано? Все равно, что младенца по спине дубиной ударить.

Он уполз куда-то далеко, затих совсем, и бойцы раза два окликнули его:

— Дед, а дед, хозяин, давай назад, капитан ждет.

Но старик молчал, не отзывался.

Он придало ли его? — сказал один из бойцов и снова закричал: — Дед, забойщик, где ты там, вертайся, слышишь, что ли!

— Эй, где вы? — послышался из шtreка голос Костицына.

Он подполз к бойцам, и они рассказали ему о смерти часовых.

— Это Иван Кореньков, что хотел письмо с женщинами передать, — сказал Костицын, и все они помолчали. Потом Костицын спросил: — Где же старик наш?

— Давно уполз, сейчас покличем его, — сказал боец. — А то можно очередь дать из автомата, он услышит.

— Нет, — сказал Костицын, — давайте ждать.

Они сидели тихо, все поглядывали наверх, в сторону ствола, — не видно ли света. Но мрак был сплошной и бесконечный.

— Похоронили нас немцы, товарищ капитан, — сказал боец.

— Нет, нас не похоронят, — ответил Костицын, — мы уже много их похоронили и еще столько похороним.

— Хорошо бы, — сказал второй боец.

— Конечно, хорошо, — протяжно подтвердил тот, что говорил о похоронах. И по голосам их Костицын понял, что они сомневаются в его вере.

Издали послышалось шуршание породы, потом снова затихло.

— Это крысы шуруют, — сказал боец. — Какая нам все-таки судьба выпала тяжелая. Я с детства на тяжелых работах был, и на фронте мне ружье тяжелое досталось — бронебойное, и смерть вышла тоже тяжелая.

— А я ботаником был, — сказал Костицын и рассмеялся. Он всякий раз смеялся, вспоминая, что был ботаником. То, прежние время представлялось ему ослепительным, светлым, — он забыл, какие были у него тяжелые нелады с заведующей кафедрой и что один из ассистентов папсал на него заявление, забыл, как провалил он при защите свою кандидатскую работу и должен был, мучась самолюбием, второй раз защищать. Здесь, в глубине заваленной шахты, прошлое представлялось ему то лабораторным залом

с пастежь раскрытыми большими окнами, то светлой, полной росы и утреннего солнца лесной поляной, где он руководит студентами, собирающими растения для институтских гербариев.

— Нет, то не крысы, то наш дед вертается, — сказал второй боец.

— Где вы здесь? — крикнул издали Козлов.

Они прислушивались к его дыханию; оно было уже слышно за несколько шагов, и в дыхании этом они ощутили нечто тревожное, радостное, заставившее их всех пасторожиться и встрепетаться.

— Ну, где вы? Тут, что ли? — нетерпеливо спросил Козлов. — Не зря я с вами остался, ребята, давайте скорее к командиру, ходок открылся.

— Я здесь, — сказал Костицын.

— Ну, товарищ командир, только попола я к стволу и сразу учуял, — струя воздушная, по пей попола — и вот дело: завал наверху задержался, закозлило его, а до первого горизонта по стволу свободно, ну, и трещина там на первый горизонт от сотрясения, с нее и тянет струя. А ведь с первого горизонта квершлаг есть метров на пятьдесят, в балку выходит, я тот квершлаг тоже проходил в десятом году. Пробовал я полезть по скобам, метров двадцать поднялся, а дальше скобы повыбиты, тут уж я своей последней спички не пожалел, посветил — пу, как я вам раньше говорил, так и было. Там скобок с десяток пужно поставить, камень разобрать, что ствол обмуровав, метра два пробить и на выработанный горизонт пройти.

Все помолчали.

— Ну вот, — спокойно и медленно сказал Костицын, чувствуя, как сильно бьется его сердце, — ну вот, я ведь говорил вам, что нас тут не похорошишь.

Один из бойцов вдруг заплакал.

— Неужто, неужто мы опять свет увидим? — сказал он.

Второй тихо сказал:

— Как вы, товарищ капитан, апать все это могли? Я думал, вы так только, чтобы нас поддержать, про надежду говорили.

— Ну, я командиру сразу про первый горизонт сказал, как еще женщины в шахте были, от меня его надежда, — самоуверенно сказал старик, — он только молчать велел, пока не подтвердится.

— Жить-то хочется, ясно, — сказал боец, который заплакал и теперь стыдился своих слез.

Костицын поднялся и сказал:

— Я должен посмотреть и убедиться, после этого выведем сюда людей. А вы, товарищи, здесь ждите; если кто придет из отряда, ни слова не говорите до моего возвращения. Ясно?

Бойцы снова остались одни.

— Неужели свет увидим? — сказал один. — Даже страшно делается, как подумаешь.

— Герой, герой, а жить-то хочется, — неодобрительно сказал тот, что плакал, и все еще стыдился своих слез.

Вряд ли на земле была когда-либо работа мучительней и трудней той, что делал отряд Костицына в эти дни. Беспощадная тьма давила на мозг, мучила сердце, голод терзал людей на работе и во время краткого отдыха. Люди лишь теперь, когда появился выход из казавшегося им безнадежным положения, почувствовали всю страшную тяжесть, давившую на них, измерили муки того ада, в котором находились. Самая пустая работа, которая у здорового, сильного человека при свете дня заняла бы короткий час, растянулась на долгие сутки. Бывали минуты, когда изможденные люди ложились на землю, и им казалось: пет силы, которая могла бы поднять их. Но проходило некоторое время, и они вставали и, держась за стену, вновь шли делать свое дело. Некоторые работали молча, медленно, обдумавно, боясь потратиться на лишнее движение; другие лихорадочно, со злым уханием работали короткими минутами, а затем, сразу выдохшись, сидели, безвольно опустив руки, ждали, пока к ним вернется сила. Так жаждущий терпеливо и упорно ожидает, пока соберется несколько мутных капель влаги из пересохшего источника. Те, что вначале особенно радовались и считали, что выход из шахты дело двух-трех часов, теряли веру и надежду. Те, что по верили в скорое спасение, чувствовали себя спокойней и работали ровней. Иногда во мраке раздавались крики отчаяния и бешенства:

— Света давайте... Нет силы без света... Как без хлеба работать... Хоть поспать, поспать... Лучше помереть, чем так работать...

Люди жевали ремни, слизывали языками смазку с оружия, пытались на кладбище ловить крыс, по в темноте быстрые и пахальные крысы выскальзывали из самых рук. И люди с гудящими головами, с вечным знобом в ушах, пошатываясь от слабости, вновь брались за работу.

Казалось, Костицын был выкован из железа. Казалось, он одновременно присутствует и там, где три слесаря Ивана

рубят и сгибают скобы из толстых железных, и там, где идет разборка породы, и там, где в стволе шла работа по вколачиванию новых скоб. Казалось, он видел в темноте выражение лиц бойцов и подходил в пугливую минуту к тому, кто терял силы. Иногда он ласково, товарищески помогал подняться упавшим, иногда он медленно и негромко произносил:

— Я приказываю вам встать, лежать здесь имеют право только мертвые. — Он был безжалостен и жесток, но Костицын знал, что позволит ли малейшую слабость, жалость к падающему — погибнут все.

Однажды боец Кузин лег на землю и сказал:

— Что хотите мне делайте, товарищ капитан, нет моей силы встать.

— Нет, я вас заставляю встать, — сказал ему Костицын.

Кузин, тяжело дыша, с мучительной насмешкой сказал:

— Как же вы меня заставите, может застрелите? А мне только хочется, чтобы меня пристрелили, — нет силы муку терпеть.

— Нет, не застрелю, — сказал Костицын, — лежи, пожалуйста, мы тебя на поверхность на руках вытащим. Вот там, при солнце, руки не подам, вслед плюну — иди на все четыре стороны.

Кузин с проклятием поднялся, пошатнулся, вновь упал и вновь поднялся, пошел разбирать породу.

Лишь один раз Костицын потерял самообладание.

К нему подошел боец и тихо сказал:

— Упал сержант Ладьин, не то помер, не то сомлел, — не откликается.

Костицын хорошо знал простой и ясный характер сержанта, он знал, что в случае смерти или ранения командира Ладьин примет командование и поведет людей так, как вел их сам Костицын.

И, подходя в темноте к сержанту, он знал, что тот молча работал до края и сдал раньше других лишь оттого, что был еще слаб после недавнего ранения и большой потери крови.

— Ладьин, — позвал он, — сержант Ладьин, — и рукой провёл по влажному лбу лежавшего. Сержант не отзывался. Тогда Костицын наклонился над ним и вылил на голову ему и на грудь воды из своей фляги. Ладьин пошевелился.

— Кто это здесь? — спросил он.

— Я, капитан, — сказал командир, наклоняясь над ним. Ладьин обнял рукой шею Костицына, тыкаясь мокрым лицом в его щеку, шепотом сказал:

— Товарищ Костицын. Мне уже не встать. Вы меня пристрелите и мясо мое поделите среди людей. Это спасение будет.— И он поцеловал Костицына холодными губами.

— Молчать! — закричал Костицын.

— Товарищ капитан...

— Молчать! — снова крикнул Костицын.— Я приказываю молчать!

Его ужаснула простота этих страшных слов, пропавших в темноте. Он оставил Ладьяна и быстро пошел туда, где слышался шум работы.

А Ладьян пошел следом, подтягивая за собой тяжелую железную цепь, останавливаясь каждые несколько метров, набирая силы, и снова пошел.

— Вот еще скоба одна, — сказал он, — передайте тем, что наверху работают.

Всюду, где не ладилась работа, бойцы спрашивали:

— А где дел, хозяин наш? Отец, пойдя сюда! Отец, где же ты там? А, хозяин?

И все они и сам Костицын ясно понимали и знали, что не будь среди них этого старика — им бы никогда не удалось справиться с огромной работой. Он легко и свободно двигался в темноте по шахте. Он ошупью разыскивал пужные им материалы. Это он нашел молот и зубило, это он принес из дальних продольных тупиков ржавых обушков. Это он посоветовал привязывать ремнями и веревками тех, кто работал в стволе — вколачивал новые скобы взамен выбитых. Это он первым добрался до верхнего горизонта и разобрал во мраке камни, закрывавшие вход в квершлаг. Казалось, он не испытывал усталости и голода, так легко и быстро передвигался он, поднимался и спускался по стволу. Шла к концу работа. Даже самым ослабевшим вдруг прибавилось силы. Даже Кузин и Ладьян почувствовали себя крепче, твердо, не шатались, стали на ноги, когда сверху закричали:

— Последнюю скобу вбили!

Радостное, пьяное чувство охватило всех. Костицын в последний раз пошел людей в печь, там раздал он автоматы, каждому велел прикрепить к поясу ручные гранаты.

— Товарищи, — сказал он, — пришла минута вернуться снова на землю. Помните: на земле война. Товарищи! Нам спустилось сюда двадцать семь, возвращается нас на землю восемь. Вечная память тем, кто навеки останется здесь.

И он повел отряд к стволу.

Только пьяный, первый подъем дал людям силу вскарабкаться по шатким скобам, подтягиваться метр за метром

по скользкому и мокрому стволу шахты. Больше двух часов занял подъем шести человек. Наконец они поднялись на первый горизонт и ожидали, сидя в низком квершлага, оставшихся еще внизу Костицына и Козлова.

Никто не видел в темноте, как случилось это. Казалось, произошло это по жестокой, непужкой случайности. Во время подъема уже в нескольких метрах от квершлага вдруг сорвался вниз старик забойщик.

— Дед, хозяин, старик! — закричали сразу несколько голосов.

Тело старика тяжело упало на грудь породы, лежащей посреди шахтного двора.

— Проклятая, подлая недепость, — бормотал Костицын, тормоша неподвижное тело. И только сам старик забойщик за несколько минут до своей гибели чувствовал, что с ним творится что-то необычное, страшное.

«Смерть, что ли, пришла?» — думал он.

В ту минуту, когда бойцы, вколотившие последнюю скобу, радостно закричали, когда самые слабые и изнуренные вдруг почувствовали, что могут еще двигаться, он ощутил, что силы жизни оставляют его. Никогда с ним не было такого. Голова кружилась, красные круги мелькали в глазах. Он поднимался по стволу вверх, уходил из шахты, в которой проработал всю свою жизнь. И с каждым его движением, с каждым новым усилием слабели его руки, холодело сердце. В мозгу мелькнули далекие, давно забытые картины. Черпобородый отец, мягко ступая лаптями, подводит его к шахтному копру... Англичанин-штейгер качает головой, смеясь, смотрит на маленького одиннадцатилетнего человека, пришедшего работать в шахту... И снова красным застилает глаза. Что это — вечернее солнце в дыму и пыли донбасского заката, кровь или та красная дерзкая тряпка, которую он выхватил из-под пиджака и, гулко стуча сапогами, понес вперед огромной толпы оборванных, только что поднявшихся на поверхность шахтеров, прямо на скачущих из-за контеры казачков и конных полицейских?.. Он собрал все силы, хотел крикнуть, позвать на помощь. Но силы не было, слова не шли.

Он прижался к холодному скользкому камню лицом, пальцы его цеплялись за скобу. Нежная мокрая плесень касалась его щеки, вода потекла по его лбу, и ему показалось, что мать плачет над ним, обливая слезами лицо его.

— Куда, куда ты уходишь, хозяин? — спрашивала вода.

И снова хотел он крикнуть, позвать Костицына и сорвался, упал вниз.

Они вышли в балку ночью. Шел мелкий теплый дождь. Они спяли шапки и молча сидели на земле. Теплые капли падали на их головы. Никто из них не говорил. Ночной сумрак казался светлым для их глаз, привыкших к многодневному мраку. Они дышали, глядели на темные облака, тихо-поко гладили ладонями мокрую весеннюю траву, пробиравшуюся среди мертвых прошлогодних стеблей. Они всматривались в туманный ночной сумрак, вслушивались: то капли дождя падали с неба на землю. Иногда с востока поднимался ветер, и они поворачивали к ветру свои лица. Они смотрели, — пространство было огромно.

— Автоматы прикройте от дождя, — сказал Костицын. Вернулся разведчик. Он громко, смело окликнул их.

— Немцев в поселке нет, — сказал он, — три дня как ушли. Пошли скорей, там там две старухи котел картошки варят, соломы настелили, спать ляжем. Сегодня двадцать шестое число; мы в шахте двенадцать суток просидели. Они говорят: тут за наш упокой тайно всем поселком богу молились.

В доме было жарко. Две жепщины и старик угощали их кипятком и картошкой.

Вскоре все бойцы уснули, прижавшись друг к другу, лежа на влажной теплой соломе. Костицын сидел с автоматом на табурете, нес караул.

Он сидел, выпрямившись, подняв голову, и всматривался в рассветный сумрак. День и ночь и еще день проведут они здесь, а на вторую ночь двинутся в путь. Так решил он. Страшный царапающий звук привлек его внимание. Казалось, мышь скребла. Он прислушался. Нет, то не мышь. Звук доносился откуда-то издали и в то же время был совсем близко, словно кто-то робко и несмело, то, наоборот, настойчиво и упорно ударял маленьким молотом... Может быть, в ушах все еще стоит шум от их подземной работы? Ему не хотелось спать. Он вспомнил Козлова.

«У меня стало железное сердце, — подумал он, — теперь я не смогу ни любить никого, ни жалеть».

Старуха, бесшумно ступая босыми ногами, прошла в сени. Начало светать. Солнце прорвалось сквозь облака, осветило край белой печи, капли заблестели на оконном стекле. Негромко, тревожно завохтала в сених курица. Старуха что-то сказала ей, наклоняясь над лукошком. И опять этот страшный звук.

— Что это? — спросил Костицын. — Слышите, бабушка, словно молоточек где-то стучит, или кажется мне?

Старуха негромко ответила из сеней:

— Это здесь, в сенях, цыплята вылупляются, посом стучат, яйцо разбивают...

Костицын посмотрел на лежащих. Бойцы спали тихо, пошевелись, ровно и медленно дыша. Солнце блеснуло в обломке зеркала на столе, и светлое узкое пятно легло на впалый висок Кузина. Костицын вдруг почувствовал, как нежность к этим все вышедшим людям наполнила его всего. Казалось, никогда в жизни не испытывал он такого сильного чувства, такой любви, такой нежности.

Он вглядывался в черные, заросшие бородами лица, смотрел на искалеченные чуждо-тяжелые руки красноармейцев. Слезы текли по его щекам, но он не утирал их — никто ведь не видел, как плакал капитан Костицын.

Величественно и печально выглядит мертвая донецкая степь. В тумане стоят взорванные надшахтные здания, темнеют высокие глеевые курганы, голубоватый дым горящего колчедана ползет по черным склонам терриконов и, сорванный ветром, тает без следа, оставляя лишь острый запах серпнистого газа. Степной ветер бежит меж разрушенных шахтерских домиков и над сгоревшими конторами. Скрипят наполовину сорванные двери и ставни, красны ржавые рельсы узкоколеек. Мертвые паровозы стоят под взорванными эстакадами. Отброшены сплыв взрыва могучие подъемные механизмы, льется по земле сползший с подъемного барабана стальной пятисотметровый канат, обжигались отточенные бетопривальные раковины всасывающих шахтных вентиляторов, червонной медью блестит обмотка огромных распороченных динамо-моторов, на каменном полу механических мастерских ржавеют бары тяжелых врубовых машин. Страшно здесь ночью при свете луны. Нет тишины в этом мертвом царстве. Ветер свистит в свисающих прядях проводов, колокольцами позванивают ключья кровельного железа, вдруг стрельнет, распрямляясь, смятый огнем лист жести, с грохотом повалится кирпич, скрипнет дверь шахтерской бани. Теплые и лунные пятна ползут по земле, прыгают по стенам, ходят по гудам железного лома и черным, обгоревшим строениям.

Всюду над степью взлетают зеленые и красные мухи, гаснут, исчезают в сером тумане. То немецкие часовые, боясь

умерщвленного ими края угля и железа, постреливают в воздух, отгоняют тень. Огромное пространство тушит слабый треск автоматов, гаснут в холодном небе светящиеся пули, и снова мертвые, побежденный Донбасс страшит, ужасает победителя, и снова потрескивают очереди автоматов и летят в небо красные и зеленые искры. Все говорит здесь о страшном ожесточении: котлы взрывали свою железную грудь, желая служить немцам, здесь чугун из домов уходил в землю, здесь уголь хоронил себя под огромными пластами породы, породившие ее. И при взгляде на мертвый Донбасс сердце наполняется не только горем, но и великой гордостью. Эта страшная картина разрушения — не смерть. Это свидетельство торжества жизни. Жизнь презирает смерть и побеждает ее.

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

ГИБЕЛЬ КОМАНДАРМА

1

Когда с парохода выгрузили последнего раненого, врач Катерина Ивановна сразу ослабела от усталости. Цепляясь каблуками за обитые металлическими полосками края ступеней, она поднялась в свою каюту; не снимая халата, села на стул и с наслаждением сбросила туфли.

Узкая каюта была освещена оранжевым светом вечернего солнца. На второй полке золотисто поблескивал длинный ряд тарелок — завтрак, обед и ужин, поставленные санитар-ками.

Катерина Ивановна взяла одну из тарелок и попробовала гуляш с кашей. Каша липла к небу и пахла мазутом. Скинув халат, Катерина Ивановна легла в постель. Все тело ее гудело, в каждой мышце пульсировала застоявшаяся кровь, но, несмотря на усталость, на тяжелый рейс и выгрузку, ее не покидало чувство облегчения. Муж написал ей, что на полгода отозван с передовой в тыл, на учебу в родной город. За год войны и разлуки Катерина Ивановна привыкла к тревоге за мужа, казалось, даже перестала ощущать ее и, только прочитав письмо, по охватившему ее чувству радости поняла всю тяжесть гнета, под которым жила этот год.

Катерина Ивановна закрыла глаза, и сейчас же перед ней поплыли повязки. Перевязанные руки, ноги, головы, повязки шинные, гипсовые, простые, с необыкновенной ясностью и отчетливостью плыли перед ее глазами.

Когда-то в детстве, после того как она ходила по грибы, они появлялись перед ней так же сами по себе, стояло только ей смежить веки.

Повязки плыли длинной вереницей, потом стали быстро

разматываться, и сквозь головокружение пришел сон. Она спала недолго, ее разбудил голод.

Пароход вздрагивал и покачивался. Совсем рядом у окна голос, одновременно и усталый и возбужденный, гопорил:

— Я гляжу, оп, черт конопатый, мне на комбинир тару навешивает.

Другой голос самодовольно и авторитетно сказал:

— Это у них не документ. Штамп — не печать. Подбавь внешнего.

Это натпрод с бухгалтером пили чай на палубе.

Катерина Ивановна села и увидела пеленные в сумерках упиливающие дебаркадеры Казани и суетно малелких черпных фигурок, которая издали, с парохода, всегда казалась пероправданной и мелочной. На палубе у перил стояли сестры и санитарки, прощались с Казанью. Они еще не окончили уборки, у них были подоткпуты юбки, из-под юбок впдпелась босые грязные ноги. Разгруженный пароход слегка кренило на сторону.

— С палубы разоидись! — донесся сверху властный и безразличный голос капитала. И сейчас же вслед за ним заперидало старческое сопрано капитанши, прозванной командой «Мы с капитаном»:

— Капитан говорит: «С палубы разоитись». Не видите, палубу перекосило? И чего глядеть? Казань как Казань, который раз едем! Бомбило ее или она горела, чтобы на нее смотреть? «Разоидись с палубы», — капитан говорит! Нет у вас никакого понятия! Мы с капитаном тридцать лет по воде ходим, а таких безобразнев не видели! Это разве команда? Женщины!.. — заключила «Мы с капитаном» с таким глубоким презреппем, как будто сама она была по менышей мере мужчипой.

Это презрение относилось не ко всем женщинам вообще, но, в частности, к начальнику санитарно-транспортного судна Евдокки Петровне. «Мы с капитаном» никак не могла примириться с тем, что здесь, на пароходе, пад ее мужем есть начальник, а то, что пачальник этот — жепщина, казалось капитанше личным оскорблением.

Евдокки Петровна — красавица с добрым и честным лицом — стояла тут же. Она прекрасно понимала, к кому относятся сентенции капитанши, и неслышно, добродушно посмеивалась. Катерина Ивановна представила себе обрюзгшее лицо капитанши на ее боевом посту — в окне капитанской каюты, — тихопько засмеялась и стала есть. Теперь

каша ничем не пахла и показалась ей даже сладкой. Она съела гуляш, борщ, колбасу, компот и удивилась, зачем люди подогревают пищу, когда холодное гораздо вкуснее. Потом она разделась и уже окончательно легла спать. Но сон не приходил...

Ей вспомнился юноша боец, у которого были выжжены оба глаза и сорвана нижняя челюсть, так что обрывок языка свободно лежал на разорванных мышцах. У юноши не было лица, но тем выразительнее были его руки. Красивые бледные кисти то тихо лежали вдоль тела, то слегка приподнимались зловещим движением, словно просили помощи. Длинные пальцы пытались ухватиться за воздух. Руки звали и кричали без звуков. И, точно отчаявшись, падали на одеяло. Воспоминание было так ужасно, что Катерина Ивановна застопала. С таким воспоминанием нельзя было жить, — можно было только убивать или умирать. Убивать от несправедливости или умирать от жалости. А сейчас, когда она бессильна и помочь и отомстить, — нельзя было помнить.

Чтобы прогнать мучительный образ, она стала вспоминать последнюю сводку. Враг неуклонно шел к Сталинграду. И на миг ее охватило чувство страшной безнадежности. Усталость, тяжелая атмосфера крови и мучки, в которой она жила, жестокие слова сводок — все это словно душило ее, и она почувствовала подступающие слезы. Надо было найти силы, чтобы не плакать, чтобы надеяться, чтобы жить. Источником этих сил, как всегда, было прошлое. Она позвала на помощь мысли о муже. Муж был красивый, смуглый, веселый. Он звал ее дочкой и любил укладывать спать. Для этого он притаскивал ей в кровать подушки со всех диванов и кушеток, укрывал ее двумя одеялами и сверху придавливал тяжелой медвежьей полстью. Упаковав ее так, что она едва дышала, он удовлетворенно оглядывал свою работу и со счастливым лицом садился заниматься. Он любил заниматься в той комнате, где она спала. Он был инженер и прораб, он по любил кабинетной работы и мог дышать только в атмосфере стройки. Кроме того, он был ругатель и плут. Первое она знала по рассказам, а во втором с горечью убедилась из личных наблюдений. Он не мог переносить вида плохо лежащих стройматериалов. Ему ничего не стоило погрузить и увезти какие-нибудь чужие трубы, оставленные без охраны. Когда она упрекала его, он утверждал, что забрать эти трубы ему «сам бог велел» и что таким образом он борется с разгильдяями. Она пыталась внушить

ему, что при социализме нет чужих строек, что все стройки одинаково свои. Но, несмотря на привычку во всем соглашаться с ней, он категорически отказывался считать чужие стройки своими. «Своя» была только одна стройка, и она должна была быть самой лучшей.

Он слушал ее правоучения, склонив голову пабок и поглядывая на нее добродушно и недоверчиво, как большой пес смотрит на щенят, потом, вздохнув, он говорил:

— Дочка, я же перевоспитался — не пью, не курю, погоди вытираю. Больше не надо меня перевоспитывать, ладно?

По его виду ей становилось ясно, что человеческое совершенство имеет свои пределы, и она со смехом начинала целовать смуглые прохладные щеки. При этом его грубоватое и красивое лицо приобретало такое младенчески счастливое выражение, что она готова была простить мужу еще тысячу «пережитков капитализма» в его сознании.

Когда она уезжала в командировку, он писал ей длинные письма, полные строительных терминов, наивных печальностей и неприязнительных шуток.

Когда она приезжала, он встречал ее на вокзале, и всегда он был самым большим и красивым мужчиной, с самым большим и красивым букетом цветов на всем перроне. Он шагал по перрону, улыбаясь ей во всю ширину своего величественного рта, и размахивал как придется букетом, который держал так, как держат веяк — головками вниз. Цветы вылезали из букета и падали на перрон. Потом они охали домой, и, осыпая ее вопросами и поцелуями, он то и дело говорил шоферу: «Ну-ка, Вася, подрули к грузовичку!» — и, поравнявшись с грузовиком, кричал: «Эй, борода, кому железез везешь?» — «На девяносто третий, Иван Петрович!» — «Это все железез или еще есть?» Откинувшись на сиденье, он соображал: «Дочка, придется сообразить литра на полтора горючего. Иван Петрович крепкий мужик, его по-сухому не обойдешь». Она, вздохнув, кротко соглашалась. Она не любила этих выпыток с малокультурными, грубоватыми людьми, но он утверждал, что в строительстве «без горючего» нельзя, и она кротко терпела. Совсем разные люди, они были необходимы друг другу как воздух. На первый взгляд любовь их могла показаться ребячливой и поверхностной. Но в действительности их привязанность была глубока, верность друг другу абсолютна, взаимное понимание совершенно, и связь их друг с другом была так же органична и нерушима, как связь матеря и ребенка. И сейчас,

как всегда, воспоминация о счастливом прошлом были для Катерины Ивановны тем живым родником, который поворачивал силы. Освеженная ими, она вздохнула и неожиданно подумала: «Нет, мне по-настоящему умереть. Счастья, которое было у меня, другим хватило бы на сто лет». Она заснула легким сном. Пароход быстро и мерно шел к Горькому. Ночью она часто просыпалась. Каждый раз быстро съедала что-нибудь. К утру все тарелки были пусты.

Утром она проснулась от яркого света. Бесчисленные солнечные зайчики играли на степах и на потолке каюты — это Волга лущилась за окном и наполняла кабину отблесками живых волн.

Катерина Ивановна заботливо посмотрела на себя в зеркало глазами мужа — понравилось ли бы ему ее лицо. Лицо было заспанное, бледное, но смешное и милое. Верхняя губа маленького рта слегка находила на нижнюю. Эта пухлая верхняя губа и слегка поджатая нижняя придавали ее лицу выражение детской серьезности и наивности, и это было особенностью ее лица, которую любил ее муж. Накинув халат, Катерина Ивановна пошла в душевую. Дверь из коридора на противоположную сторону палубы была распахнута, за дверью толпились девушки. Катерина Ивановна подошла к двери. Мимо проплывали дома и дебаркадеры, удивительно похожие на казанские.

«Ей-богу, Казань!» — подумала Катерина Ивановна и, вытаращив сонные глаза, ткнула пальцем по направлению к берегу и спросила:

— Это что?

— Казань, — ответили ей девушки со странным, нарочитым смехом.

«С ума сошла, из Казани выехали, всю ночь ехали, в Казань приехали», — подумала Катерина Ивановна и, растерянно хлопая заспанными веками, совсем уже глупо спросила:

— А вчера что было?

— Рио-де-Жанейро, — ответили ей с тем же нарочитым смехом.

— Кончили курорт! — резко, даже зло сказала черная Вера, а спокойная синеглазая Лена посмотрела на нее с жалостью и объяснила:

— Ночью на катере привезли приказ поворачивать и без остановок идти на Сталинград.

Танк трясло и качало на ухабах, но качка была мягкой, и беспокоила тишина. Деревья, дома, люди, отчетливо видимые, мелькали мимо, не оставляя следа в сознании.

Потом он снова оказался на Вороньей горе, а немецкие танки выползли из-за холма и пошли по шоссе к мосту. Тупорылые, они шли бесконечной вереницей. Ясно было, что здесь сосредоточены главные танковые силы немцев.

Сердце гулко ударило, и он подумал: «Вот оно». Он глубоко вздохнул и почувствовал вкус речного воздуха и легкий освежающий запах тины. Не только умом и сердцем, но и всем телом он ощутил счастье с его внезапным холодом, с легким головокружением высоты, с желанием вдруг расхотаться, гикнуть, закричать. Он испытывал властную потребность действия, подъем и сосредоточенность всех сил. Он открыл огонь. Танки вспыхивали один за другим, горели сразу, облитые белым праздничным пламенем. Вся равнина внизу была опоясана их огненной цепью. Их белый огонь отражался в реке, в отражении становясь красным, и река плавилась и текла, похожая на раскаленный металл.

— Ваша история болезни! Ваша история болезни! — настойчиво сказал в упор чей-то голос. Что-то пронеслось мимо него, и сразу все стало другим. Он увидел серые сходни, а под ними воду, покрытую перламутровой пленкой нефти.

В воде, остро блестя на солнце, покачивалась пустая консервная банка.

Это было случайно, неужно, он не понял, что было спом, что явью, и снова захотел вернуться к тому ощущению счастья, которое испытывал только что, но снова голос с навязчивой отчетливостью сказал:

— Больной не транспортабелен.

И кто-то ответил с поткой отчаяния и усталости в голосе:

— Все равно!

Потом было что-то длинное и темное вроде коридора. С одной стороны были двери, а с другой — дыра, отгороженная металлическими поручнями. На краю дыры сидела девушка в комбинезоне, выпачканная с ног до головы во что-то черное и маслянистое, она ела яблоко, блекло-зеленое, странно чистое в ее черных руках. Одна из дверей противоположной стороны открылась, и там оказался повар с молодым длинным лицом и с бровями черными и большими, как усы. Потом повеяло покоем и радостью, он увидел

белые занавески на окнах, а за ними Волгу — голубую, лучистую и, казалось, твердую. Пришла сестра и дала ему пить.

— Куда везут? — спросил он.

— До Казани. Вам удобно лежать?

Он не видел ее лица, но у него была белая, до блеска отутюженная косынка, и вид этой косынки припопсал ему облегчение. Теперь он вспоминал все так, как оно было. Он подбил три танка. Это, конечно, не решило исхода боя. Правда, танки больше не пошли на мост, они повернули к броду и пошли в том направлении, на котором их ожидали с вечера.

Ему захотелось узнать результат боя, и это желание было так нетерпеливо, что он приподнял голову и стал осматриваться.

— Что ты? Пить? — спросил сильный голос, и толстое бабье лицо, блестя сплошным рядом металлических зубоб, наклонилось над ним.

— Нет, — ответил он, откидываясь на подушку, и оглядел каюту с тем привычно хозяйским интересом, который был ему свойствен всегда.

Человек с бабьим лицом был мужицкой. Лицо у него было неприятное. Маленький бесформенный нос, неестественно растянутые губы, металлические зубы — какая-то уродливая неподвижность всех черт, казавшихся дегенеративными, но из-под выпуклого лба маленькие глазки смотрели таким прямым, живым и пристальным взглядом, что Аптон сразу поместил этого человека в разряд тех, кого он характеризовал одним словом «годится».

Рядом сидел молодой, сделанный из одних сухожилий парень. У него была та свободная, размашистая и в то же время сдержанная повадка, какой не бывает ни у танкистов, ни у пехотинцев, ни у летчиков и которая свойственна только кавалеристам-кадровикам. Кавалеристы всегда привлекали Аптона. Не только в их внешнем облике, но и во всем строе их характера было что-то, что радовало его. И сейчас, как всегда, ему было приятно соседство кавалериста.

Четвертым в каюте был румяный лейтенант, который лежал на верхней полке. У него были высокие круглые подмышенные брови и маленький пухлый, как у женщины, рот.

Аптон почувствовал усталость и снова закрыл глаза. То, что было рядом, казалось ему далеким и чужим. Его жизнь была не здесь. Его жизнь во всей ее полноте, во всей

се кипучей напряженности осталась там, у Вороньей горы, у развороченных бомбой элеваторов, в том скоплении и давлении людей и машин, каждая деталь которого была ему близка и понятна. И, закрыв глаза, он снова зажил этой назначенной ему жизнью.

Он вспомнил вчерашний вечер, когда, закончив необходимые приготовления к бою, танкисты легли спать, — он, обдумывая план боя, вышел из ложбины и пошел по дороге.

Он был всего только командиром тапка, недавно окончившим тапковую школу, но в нем всегда жило ощущение боя в целом, и всегда у него было чувство его непосредственной ответственности за исход битвы.

Еще школьником, едва войдя в класс, он уже видел все неполадки в жизни класса.

— Чего гудите, ребята? Бивом не появился? — весело спрашивал он, переступая порог класса, и его звучный голос легко покрывал голоса одноклассников.

— А ну, садитесь по местам, — объяснять буду. Быстро! У меня чтобы по-военному. Закройте двери! Дали тишину!

— Есть тишина! — отвечали ему смеющиеся голоса, и класс замирал. Быстро и отчетливо он объяснял непонятное и закапчивал объяснение:

— Еще вопросы есть? Вопросов нет? Все ясно? Еще десять минут наши. — И он первый выбегал на школьный двор и затевал такую буйную мальчишечью возню, на которую девочки и учителя смотрели с внешним превосходством и внутренней завистью.

Везде, где бы Антон ни появлялся, люди подчинялись ему весело и охотно, и с такой же веселой естественностью он руководил ими.

Антону доставляли неизменную радость острова внимания и отчетливость мыслей, нужные для руководства людьми.

В тапковой школе, куда он попал с первых дней войны, товарищи шути звали его «командармом» и всерьез верили в его большое будущее.

Чувство ответственности за происходящие события и захватывающий интерес к ним и помешали ему спать в тот вечер. Он пошел бродить. Ему хотелось своими глазами увидеть ложбины, высоты и перелески, обозначенные на карте. Он бродил долго, но ничего интересного не увидел. На обратном пути он встретил десятилетнюю девочку, она

побежала за ним, догнала, оробела и остановилась, переступая босыми ногами по росистой траве.

— Ты что? — спросил он ее.

— Гарбуз... — ответила она шепотом, вынула из мешка арбуз и протянула ему.

Он соли рядом и закусал арбузом.

— Где твой дом? — спросил он ее.

— Тамotka! — сказала она, указывая на запад маленьким грязным пальцем.

— А matka где?

— А matka тамotka, — указала она в противоположном направлении, — на бакчах. А хату немцы поплапли. И Дунька сгорела.

— Какая Дунька?

— Свишня. Поросая ходила. А мы с Вороньей горы глядели — там далеко видно.

Из разговора он выяснил, что Воронья гора стоит за мостом, что подход к ней возможен только с одной стороны, что по краю ее растет кустарник и идет каменный вал. По всем данным, пункт был очень удобен, но находился в тылу и гораздо восточнее предполагаемого удара.

С ночи танки ушли в указанном им направлении, Аптон остался в резерве, а утром выяснилось, что немцы зашли в тыл и идут с юго-востока. Аптон на своем танке был послан наперерез, прорвался к Вороньей горе и ваял под обстрел мост. Ему удалось подбить три танка и заставить колонну повернуть к обрыву. Все люди экипажа его танка были тяжело ранены, а он сам потерял сознание и не помнил, что было дальше.

Он неподвижно лежал на койке, продолжая жить жизнью своей дивизии, и все время ощущал какую-то помеху. Сделав над собой усилие, он понял, что этой неустранимой на его пути помехой является его тело. Тяжелое, пронзительное болью, оно жило отдельно от него жизнью и мешало ему. Минутами он терял сознание, и ему казалось, что оно множилось, что у него было бесконечное количество тел, что они наполняли кабину, и все они болели, и всем им было холодно.

— Я один, и койка одна! — шептал он тогда, пытаясь убедить себя, что устроить одного человека на одной койке не так уж трудно.

Стараясь улечься поудобнее, он сделал резкое движение, и сейчас же нестерпимая боль рванула его. И сразу стало легко, пришло забытие. И снова он летел куда-то на своем

танке, сумасшедше быстро и бесшумно. Он прорвался на высокую гору, внизу была необозримая синева, снова сердце дрогнуло от счастья, и он сказал: «Вот оно!»

Но сухой отчетливый голос прозвучал сильно и горько:

— Танки! Да что танки без самолетов! Самолетов у нас мало. Самолетов!

Эта фраза хлестнула его, сразу вернув ему сознание.

Она говорила ему о том, что было для него болью и горем все последние месяцы.

В танковой школе он влюбился в танк. Он вступил в свой первый бой с ощущением радости, гордости и веры в себя и в свою машину.

А через день немецкие бомбардировщики разгромили танковую колонну. Исковерканные машины, беспомощные и неуклюжие, как перевернутые черенки, громоздились на изрытом поле, а он лежал, уткнувшись лицом в землю, в бессильной злобе.

И день за днем при сигнале «воздух» он с безнадежной жадностью смотрел в небо: «Хотя бы один наш самолет. Хотя бы один!» Но свои самолеты появлялись редко — их было мало. А без них так бесполезно было все то, чем он обладал и гордился! Его охватывало чувство уныния. Из-за отсутствия самолетов снижались его собственные качества, ограничивались возможности, и судьба становилась маленькой и ничтожной.

Но даже в самые горькие минуты он знал, что скоро все будет иначе. Его вера в будущее была непоколебима. Этой верой он жил, и, когда ему становилось очень тяжело, он закрывал глаза и начинал думать о том, какими будут сражения через пять-шесть месяцев.

— У вас первое ранение? Мне кажется, я вас где-то видела,— спросил женский голос, такой свежий и мягкий, что казалось, обладательница его должна быть обязательно с мокрыми волосами и полотенцем за плечом.

Антон открыл глаза и увидел молодую женщину в халате и в белой шапочке. У нее было смугло-бледное полудетское лицо с коричневыми тенями под темными влажными глазами.

В лице, в голосе, в позе этой женщины было что-то удивительно мирное и домашнее. Она утомлена без нервозности, внимательна без напряжения. Она говорила с лейтенантом, у которого было бабье лицо.

— Я вас где-то видела, мне ваше лицо знакомо,— говорила она.

— Нет, вы меня не видели, — ответил тот, улыбаясь. — Это у меня не мое лицо. И нос не мой, и подбородок не мой, и зубы не мои. Я свое лицо в лепешку расшиб, а это мне доктора сделали. — Он улыбался, и уродливая улыбка человека с чужим лицом показалась Антопу прекрасной.

— У него нос из бараньего хвоста сделан, — весело сказал кавалерист. — Ему сперва хотели из человечьего хряща делать, но подошло. Не приживает. Взяли итичью кость, опять не подходит. Взяли бараний хвост, приставили — как раз подошло. Он носом и шевелить может, как баран хвостом.

Человек с чужим лицом засмеялся и пошевелил носом, что и на самом деле напоминало движение бараньего хвоста.

Все засмеялись, и Антоп тоже улыбнулся.

— Проснулись, родной! Ну, как вы себя чувствуете? — спросила женщина. Антоп хотел повернуться, но повернулись только голова и плечи, нижняя часть тела была тяжелой и неподвижной.

— Шевельнуться не могу! — сказал он с удивлением и вдруг почувствовал на спине что-то мокрое и горячее, и по простыне с краю поползло влажное пятно.

Он не понял, в чем дело, и растерянно оглядывался.

— Вот и хорошо, — ласково сказала женщина. — Сейчас простыню перемещим. Вы не волнуйтесь, при ранениях позвоночника это бывает.

Он с трудом сообразил, в чем дело.

По особой печности во взгляде женщины, по напряженным лицам своих соседей, по их вдруг остро блеснувшим и уклонившимся зрачкам Антоп впервые понял глубину своего несчастья.

3

— Шесть, семь, восемь... девять! — сказал кто-то из раненых.

— Считать их еще! Давайте ногу! — раздраженно отозвалась Вера.

Катерина Ивановна была занята больным и не уловила смысла разговора. Только покончив с перевязкой, она заметила напряженные позы раненых, находившихся в перевязочной, и то острое любопытство, с которым они смотрели в окно. Взглянув по направлению их взглядов, она увидела группу немецких самолетов, летевших над Волгой.

Сейчас судьба этих людей, находящихся на беззащитном пароходе, зависела от прихоти немецких летчиков.

Много раз уже судно было под обстрелом и под бомбежкой и много раз плыло мимо обгорелых, полузатонувших судов. Этот рейс был особенно трудным. Три дня назад от Сталинграда, по шли в общей сложности всего восемь-десять часов. Остальное время путь был закрыт то минами, то десантами, и судно, замаскировавшись, стояло у берега.

Опасность уже стала привычной, и, глядя на самолеты, Катерина Ивановна утомленно думала: «Все равно. Скорее бы только!»

Она окинула взглядом перевязочную. Бросалось в глаза несоответствие между напряженными побледневшими лицами мужчин и презрительно спокойными лицами женщин. Мужчины впервые были безоружными и ничем по защищенным перед лицом опасности, а женщины шли в свой пятый сталинградский рейс.

Самолеты приблизились, и шум их усилился.

— Почему в перевязочной нет спасательных поясов? Безобразия! — сказал розовощекий лейтенант, и щеки его стали медленно бледнеть.

— Держите погу как полагается! — одернула его Вера. Девушки работали спокойно.

Команда уже переболела страхом. Им переболели все, как все болеют корью, но у каждого эта болезнь протекала по-своему.

После того как пароход впервые попал под обстрел, «Мы с капитаном» сдала кастеляшную (она работала кастеляшней судна) и со слезами и поцелуями, словно навек, простилась с командой. Плача и умоляя всех посмотреть за капитаном, так как «он поврежденный от воды человек», она спускалась по сходням, рядом с ней шел худой, молчаливый капитан, а за ними матросы несли необъятную капитанскую укладку.

Укладка регулярно застревала во всех дверях, и матросы каждый раз при этом вспоминали родителей, что отлично помогало. Когда укладку, наконец, выгрузили на пристань, «Мы с капитаном» села на пее и зарыдала так бурно, что на пристань с берега повалился народ. Внезапно она стихла, объявила, что поедет еще в один рейс, после чего разом успокоилась и пошла обратно. Вслед за ней прежним способом двинулась укладка. История со злополучной укладкой в различных вариантах повторялась после каждой бомбежки.

После того как на глазах у команды затонуло, подорвавшись на mine, встречное судно, неожиданно напались

пепьющие повара. Всегда очень исполнительный и тихий повар Яша, напившись, сел на горячую плиту и запел с выражением: «Я на бочко сижу, а под бочкой фриц!» Яшу припекло, он подпрыгивал на плите, но упорно не покидал своей позиции.

В таком виде застала его пачальник судна Евдокия Петровна, вызвавшая на кухню специально по этому поводу. Она пришла, метнула на повара молниеносный взор своих прекрасных синих глаз и приказала увести пьяных поваров на гауптвахту. На гауптвахте повара, обнявшись и притопывая, горько запели: «Довки-бабы дрянь, дрянь!» — в адрес Евдокии Петровны.

Катерина Ивановна тоже болела страхом. После острого начала наступил хронический период этого заболевания, выразившийся у нее в том, что она еще сильнее ушла мыслями в прошлое. Она добросовестно работала, по ни минуту не переставала мысленно жить своей прежней домашней жизнью.

Она жила, раздвигаясь между работой и мыслями о доме, между страхом перед катастрофой и желанием скорее пережить ее и попасть домой.

Один из самолетов отделился от девяти и полетел к пароходу. Все яснее становилась его лягушья окраска и тупое рыло. На миг все замерли. Потом розовощекий лейтенант, забыв о раненой поге, рванулся к двери, но, прежде чем он добежал до нее, раздался сухой треск — самолет дал пулеметную очередь. Пуля разбила склянку на столе, и остро запахло йодом. Лейтенант выхватил подушку из-под головы лежавшего на перевязочном столе Антона, накрыл ею голову и присел у двери.

— Идите в тот простенок — там матрацы, — спокойно сказал Антон.

Все вспомнили о том, что за простенком на палубе сложены новые матрацы, и, собравшись у этого простенка, присели на корточки. Самолет дал вторую очередь. Звякнуло оконное стекло. Сбившись в кучу, прижавшись друг к другу в углу перевязочной, сидели полуголые раненые и женщины, одетые в белые халаты. Каждый из них старался сжаться в комок, тело другого являлось защитой, свой защиты не было. А над этими сбившимися в кучу людьми, над тазами, наполненными кровавыми и гнойными бинтами, на высоком перевязочном столе лежал юпона с запрокинутой назад головой и с плотно сжатыми губами, со спокойной линией длинных бровей.

«Ему уже нечего бояться. То, что с ним случилось, хуже смерти,— думала Катерина Ивановна.— Понимает ли он это?»

У него было еще совсем молодое лицо, серые глаза иногда смотрели по-детски открыто и вопросительно, но углы красивого длинного рта были плотно сжаты, и в них выражение какой-то навсегда принятой в себя скорби.

Ему было неудобно лежать.

— Дайте подушку,— сказала Катерина Ивановна лейтенанту, взяла ее, подошла к Аптону и положила подушку ему под голову.— Вам так будет удобнее,— сказала она, для того чтобы сказать что-нибудь.— Может быть, положить вас на пол?

— Какал разница? — сказал он сухо.— Не стойте здесь. Сядьте.

Ей трудно было отойти от него, но стоять над ним было бессмысленно, и, отойдя к простенку, она послушно присела.

За три дня пути она второй раз послушалась этого раненого юношу. В первый раз это произошло так. Его ежедневно брали в перевязочную. В том, как он переносил унижительные и болезненные процедуры, была какая-то особая красота.

— Положите меня лицом к окну,— просил он и, отвернувшись от своего тела, пристально смотрел в окно, напряженно думая о чем-то, и ни звуком, ни движением не реагировал на те манипуляции, которые с ним производили. В сестрах он вызывал восхищение, а санитарка Фрося говорила:

— Да из чего же он сделан? Железо ковырять — и то скрипит!

Но однажды ему перевязку делала не Лена, а неуклюжая Ксения. Он долго молча терпел, но потом сказал посеребрившими губами:

— Уйдите отсюда, позовите Лену.

— Не капризничайте, больной, я знаю, что делаю,— ответила Ксения.

— Уйдите отсюда, я вам говорю! — повторил он с ненавистью.

— А я вам говорю, чтобы вы здесь не командовали. Много тут командиров.

— Уйди ты... — хрипло сказал он и выругался.

— Я сама перовязку вас,— быстро сказала Катерина Ивановна. Она сделала ему перевязку, которую он перенес с прежней окаменелостью.

Когда его выносили, он строго сказал Катерине Ивановне:

— Чтобы ее здесь больше не было.

Его поведение было недопустимым, но Катерина Ивановна не только не осудила его, но сама устыдилась, что поставила в перевязочную целовальную, неумелую сестру, и в тот же день связала ее с перевязок.

Снова послышался неприятный нарастающий гул самолета — сделав круг, он опять шел к пароходу. Снова в окне показался его силуэт.

Антопу вдруг вспомнились голубятня и детские мечты о том, чтобы держать на голубятне орлов. Большая серо-зеленая птица летела прямо на него и несла что-то в когтистых лапах. Ему захотелось рвануть на себе рубашку и подставить грудь, но он преодолел это желание. В душе он уже умер для себя. Он безошибочно апал, что его, прежде, с прежним характером, с прежней судьбой, уже нет. А для того чтобы сделать себя нового, надо было сломить свою непреодолимую гордость, надо было смириться с новой жалкой долей. Это было очень трудно. Он отгонял тяжелые мысли и боролся с желанием смерти. Сейчас гневно сказал себе:

— Что, трусишь? Закалка не та? Нет, жить будешь, никуда не денешься, жить будешь!

Самолет дал еще одну очередь и ушел в сторону.

Женщина-врач, присев на корточки, неотрывно смотрела на Антона большими карими глазами. Она раздражала его. Когда ему становилось очень плохо, теряя сознание, он звал именно ее, а когда ему делалось лучше, ее присутствие было ему тяжело.

Сейчас, сидя на корточках, с выбившимися из-под шапочки черными кудрями, с полураскрытым в забывчивости ртом, с этим пристальным горячим и нежным взглядом, она была так привлекательна, что он невольно подумал:

«Ах, хороша! Милая, смуглая, га самая... Да нет! Такая, паверное, как и все. Здорового ждет, с орденами». И ему стало тяжело от этих мыслей. Он уже замечал в себе странно злобное отношение к людям. Это унижало его.

И в этой борьбе ему неоткуда было ждать помощи. Несколько лет пазад он потерял отца и мать, ни братьев, ни сестер, ни жены у него не было.

В его жизни была только одна женщина — красивая и умная студентка консерватории. Однажды она долго играла ему на рояле, а потом обняла его и сказала:

— Ну, Тоша, понимай меня как знаешь, а я тебя люблю. И ничего мне от тебя не надо, а вот люблю я тебя одного, и все тут.

Он был счастлив с ней и считал ее замечательной женщиной. Даже теперь, когда она была женой другого, он думал о ней с благодарностью и уважением. Но никогда, даже в самые лучшие их часы, его не покидало ощущение, что это «не то», что все не так, как надо. «Не те» были поступки, слова, жесты.

А в этой чужой и незнакомой женщине все казалось ему именно таким, как надо; поэтому в ее присутствии он с особой остротой ощущал свою неполноценность и раздражался.

Стих шум самолетов, и женщина подошла к нему.

— Сейчас я все вам сделаю, — сказала она виновато. — Вы, наверное, устали здесь лежать?

А в перевязочную уже вносили бойцов, только что пострадавших от обстрела.

Антон с трудом приподнял голову и увидел совсем рядом на берегу ясно различимые в буйно-зеленых кустах жерла орудий.

— Немецкий десант на берегу, — сказал он.

Фарватер проходил у самого берега, и орудия били в упор.

Пароход стал круто заворачивать и остановился на полповороте. На палубе металась люди. Белокурая санитарка выбежала на палубу и сразу упала...

— Почему остановились? — спросил кто-то в коридоре.

Ответили отчетливо и спокойно:

— Повреждена машина и перебита цепь рулевого управления.

А немцы словно только и ждали остановки парохода. Едва он остановился, они хлестнули по бортам пулеметным огнем. Каюту пробило сразу в нескольких местах. Лейтенанту оцарапало щеку, и он, тихо взвизгнув, бросился к умывальнику, сорвал с него фарфоровую в цветах раковину, надел ее себе на голову и с раковиной на голове заметался по каюте.

— Пояс падець, дурак! — с отвращением крикнул ему Антон. Лейтенант очнулся, бросил раковину, схватил сперва один спасательный пояс, потом другой и с двумя поясами выбежал из каюты.

Поясов не хватало, и люди бросали в воду столы, скамьи, двери и доски от перегородок. Грохот орудий смешивался с криком раненых и с треском отдираемого дерева.

— Комиссар приказал тяжелораненых грузить в шлюпку. Ох, господи боже мой, что же это?! Давай посылки! — донесся плачущий голос сестры Веры, и через несколько минут она с санитарками прошла мимо, неся на носилках раненого. Они пронесли еще несколько раненых и направились к Антопу, когда кто-то позвал их:

— Сюда, сюда, сестрица, возьмите меня.

Они ушли и надолго исчезли. Потом Антон увидел плачущую санитарку, на ней был пробковый пояс...

4

К вечеру у Антона обычно поднималась температура, и его охватывало лихорадочное возбуждение, все краски казались ему особенно яркими, голоса особенно звучными. Он слышал, как розовощекий лейтенант говорил топким вибрирующим голосом:

— У них не хватает грелок — это безобразие! У меня опять кошмарные боли. Я страдаю гипоацидным катаром желудка, а меня здесь кормят черным хлебом. Я и в окружении не ел такого хлеба.

— Да, — отозвался кавалерист, прищуривая глаза, — мы тоже были в окружении. Мы тоже там такого хлеба не ели. Мы там такой хлеб коням отдавали.

Он внезапно перестал щуриться и закончил другим тоном:

— У нас вместо хлеба махорка была, а у копей вместо овса — что? Коню вместо овса самокрутку в морду не всуешь.

— Мы с вашими ребятами две ночи рядом почевали, — сказал лейтенант с чужим лицом. — Хорошие попались ребята.

— У них плохих не бывает, — с веселым возбуждением вступил в беседу захмелевший от боли и лихорадки Антон. — В кавалерии плохому человеку пельз. Плохого коня не носят. Копь человека чует. Жена мужа так не понимает, как конь седока.

— Да, — подтвердил кавалерист. — Коня не проведешь. Это тебе не танк. У коня — душа! И сколько я раз замечал, как попадетсЯ к нам барахляный человечешка, так до первой атаки. Плохого седока конь по бережет.

Вдруг рядом защелкали орудия, кавалерист повалился на бок, а из горла у него высоким фонтаном брызнула кровь.

— Доктора! — закричал лейтенант, схватил кавалериста за руки и понес его в операционную.

Розовощекий лейтенант моментально прыгнул с верхней полки и присел на пол, стягивая матрац с постели себе на голову.

— Где шлюпка для тяжелораненых? — спросил он пробежавшую мимо их каюты сестру.

— Обе шлюпки разбито, комиссара разорвало, — ответила она на бегу.

Из соседней каюты вышел начальник судна. Евдокия Петровна шла, прижав обе руки к груди, лицо у нее было бескровным, а губы в забывчивости твердили:

— Что же теперь делать? Леночка, Леночка!

Антоп не знал, что это было имя ее дочери.

— Товарищ начальник! — позвал он ее. Она подошла к нему и посмотрела на него испуганными глазами. — Товарищ начальник, где у вас то оружие, которое вы отобрали у комсостава? — спросил ее Антоп, стараясь говорить отчетливее и громче, как говорят с бредящим человеком.

— В несгораемом шкафу.

— Надо раздать оружие тяжелораненым, тем, которые не могут плыть.

— Зачем раздавать оружие? — спросила она, словно просыпаясь.

— Когда пароход опустеет, мы будем отстреливаться.

— Ключи от несгораемого шкафа у комиссара. Сейчас я принесу.

Она ушла быстро; казалось, ее обрадовала возможность каких-то разумных действий.

Она вернулась очень скоро, и при взгляде на нее он подумал, что она смертельно ранена.

— В верхних карманах ключей нет, а нижняя половинка тела упала за борт, — сказала она, словно отпартовала. Она смотрела на него вопросительно и все время глотала и не могла проглотить клубка, который катался у нее в горле.

— Доктора! — закричали рядом, и она быстро ушла на зов.

Прикованный к койке и забытый всеми, Антоп лежал один и, не отрываясь, смотрел в окно.

На палубе уже не было людей. Антоп видел серое низкое небо, густую зелень прибрежных кустов и спокойную плотную воду.

Он столько раз звал смерть, а сейчас, когда она была близка и неизбежна, он вдруг понял, что вот эта зелень, это небо и вода и есть счастье. И он согласен был на любые страдания, лишь бы не утратить этого куска неба, зелени и воды.

Лейтенант с чужим лицом быстро вошел в каюту, снял с полки два пояса, один надел сам, а другой стал надевать Антопу.

— Поплывем, друг, — быстро говорил он. — Пароход и горит и тонет, спасаться надо!

— Оставь... Но дотянешь, у тебя рука ранена! — сказал Антоп, с жалостью и надеждой глядя в лицо лейтенанту.

— А пояса на что? — возразил тот. — Была бы у меня рука целая, я бы тебя и без пояса вытянул.

Он застегивал пояс на груди Антопа, когда осколок мины вошел ему в плечо. Вторая рука его повисла плетью, лицо приняло беспомощное выражение, и, покачнувшись, он вышел из каюты.

Антоп остался один.

Приподняв голову, он мог видеть, как немцы бегали по берегу. Они махали руками и кричали:

— Рус! Рус! Плыви сюда! Сюда стрелять не буду, туда буду!

Орудия били неторопливо сверху вниз, слева направо.

«Воп она, смерть!» — думал Антоп. Он редко думал о смерти, но когда думал, ему казалось, что он умрет либо на поле боя под грохот атаки, либо еще очень не скоро, седовласым старцем — в кругу печальных родственников и друзей. Но не было ни радостного грохота наступления, ни торжественной печали родных. Была невзрачная каюта, неприбранные постели, скомканные одеяла из серой байки, брошенная на пол раковина от умывальника да жуткая пустота оставленного людьми парохода.

Умереть безоружному, в одиночестве, без человеческого участия, без славы, без памяти, без могилы... И, не в силах совладать с собой, он застонал и, собрав все свои силы, попробовал приподняться. Его руки искали оружие, глаза искали человеческих глаз. Но пусто было на исковерканном пароходе, только орудия все ленивее щелкали по бортам и откуда-то снизу тянуло гарью.

Когда начался обстрел, Катерина Ивановна работала в перевязочной. Узнав, что стреляет береговой десант, она подумала:

«Слава богу, не бомба, не самолет, не мина». Ей казалось,

что стоит отплыть немного, и опасность останется позади. Но пароход не двигался с места. Мины то и дело рвались рядом, раненые переполняли перевязочную, а на палубе шла небывалая суматоха. Потом палуба опустела, раненых стало меньше, пришла Вера и сказала, что начальник и комиссар убиты.

Перевязав последнего раненого, Катерина Ивановна взяла санитарную сумку и спустилась вниз. Там несколько минут назад в начале обстрела раненые из III и IV классов и из трюмов, оборудованных под палаты, бросились к пролетам парохода, стремясь прыгнуть в воду. В пролетах образовалась пробка из сотен людей, и на них сосредоточили огонь немецкие орудия.

Когда Катерина Ивановна спустилась, она увидела кучу окровавленных человеческих тел. Горела кухня, и короткие языки пламени лениво лизали стены. Около машинного отделения, вытянувшись, закинув голову и как-то хитро опустив ресницы, лежал капитан, а на его груди, словно закрывая его собой, лежала «Мы с капитаном». Оба они мертвы.

Из глубины III класса прямо к Катерине Ивановне шел повар Яша. Устремив неподвижный, пристальный взор на Катерину Ивановну, он пробирался к ней, ступая в лужи крови, равнодушный к свистящим вокруг него осколкам и ко всему окружающему. Подойдя к Катерине Ивановне, он остановился, посмотрел на нее блестящим, жадно тоскующим взглядом и сказал:

— А Фросю-то мою сейчас миной убило.

Фрося была его женой и работала санитаркой.

Катерина Ивановна перевязывала раненого и ничего не ответила Яше.

Он молча постоял над ней несколько мгновений, потом повернулся и медленно побрел дальше.

Еще несколько раз она видела его одинокую фигуру. Он безучастно бродил по опустевшему пароходу, но стояло ему где-нибудь увидеть человека, как лицо Яши освещалось надеждой, и, не замечая ни огня, ни крови, он устремлялся туда, для того чтобы взглянуть тем же тоскующим взглядом и повторить ту же фразу: «А Фросю мою сейчас миной убило».

Он жаждал хотя бы слова участия, хотя бы одного из тех вежливых и пустых слов, которые люди так охотно расточают друг другу. Но люди едва смотрели на него непонимающими дикими глазами, каждый был занят собой, и никто

не сказал ему того слова, которое было ему нужнее жизни. И, постояв в бесплодном ожидании, Яша медленно отходил и бесцельно брел дальше.

Кто-то схватил Катерину Ивапову за ногу.

— Доктор, сделайте милость,— попросил ее человек с разпороченным животом. И она сделала то, что запрещали законы и этика,— она ввела ему большую дозу морфия. Она сделала еще несколько перевязок.

Пароход медленно топул, трюмы уже были залиты водой, пламя из кухни перебросилось в соседнее помещение. Пожар на пароходе всегда казался Катерине Ивановне страшным бедствием, но теперь, среди ужасов этого часа, он был самым незначительным из них, и люди входили в горящие двери, перешагивали через огненные пороги, не обращая внимания на пламя. Несколько раз Катерина Иваповна думала о том, чтобы взять пояс и прыгнуть в воду, но какое-то непонятное чувство удерживало ее и приказывало ей оставаться здесь до конца. И, только оглянувшись и не увидев ни одного человека, Катерина Ивановна неторопливо, хотя перпла лестницы уже горели, поднялась наверх и направилась в каюту за спасательным поясом. Но дверь в ее каюту была сорвана, и пояса там не было.

Катерина Ивановна почти не умела плавать, но она отупела от всего виденного и пережитого, и ее не испугало, что нет пояса. Она посидела немного в каюте, вслушиваясь в странную тишину,— убедившись в том, что пароход пуст, немцы перестали стрелять. Потом она пошла по коридору, рассчитывая найти что-нибудь, что помогло бы ей держаться на воде.

— Доктор, доктор! — прозвучал знакомый голос. Из ближайшей каюты на нее смотрели блестящие, напряженные и одновременно очень спокойные глаза раненого тапкиста. Казалось, он смотрел издали, было в его взгляде непередаваемое спокойствие уже все решившего человека. Она подошла к нему.

— У вас нет пояса? Возьмите мой.

Он с трудом вытянул из-за спины пробковый пояс, подал ей и приказал:

— Плывайте!

Она смотрела на его бледное лицо с плотно сжатыми углами длинного рта, широко открытыми блестящими глазами, и ей казалось, что никто в мире не был ей роднее, чем этот юпоша.

— Я не поплыву одна. Мы поплывем вместе на од-

ном поясе,— сказала она с отчаянием, не веря своим словам.

Его лицо озарилось такой благодарностью, таким светом радости и гордости за нее, словно он ждал этих слов и боялся не услышать их. Но голос его звучал ровно:

— Мне не доплыть, доктор, я не могу шевелиться. Не стойте здесь. Прощайте.

Он протянул большую, розовую от вечернего света, теплую и такую живую руку.

Она взяла ее и, вместо того чтобы уйти, села к нему на постель и с силой сжала его пальцы.

Тишина, сорванные двери, брошенная на пол раковина, невытертая кровь, стянутые с полки матрацы — все уже было мертво здесь. Только они двое были живыми на тонущем пароходе, и юноша, окликнувший ее в свой смертный час, был ей бесконечно дорог.

— Доктор, у вас нет оружия? — спросил он, оживляясь и приподняв голову.

— Нет.

— Неужели на пароходе ни у кого не было оружия?

— Была винтовка у вахтенного.

— Доктор, принесите мне ее.

Она снова спустилась вниз, обойдя полпарохода, с трудом отыскала винтовку и принесла ее Антону. Он нетерпеливо схватил ее, пересчитал патроны и попросил:

— Помогите мне повернуться.

Она помогла ему лечь так, чтобы можно было стрелять.

Он глубоко, как перед прыжком, вздохнул и сказал Катарине Ивановне:

— Ну, прощайте, плавайте. Когда вы отплывете, я буду стрелять.

Но у нее не хватило сил на то, чтобы уйти. Беспомощным жепским движением она прильнула щекой к его плечу.

Превозмогая боль, он осторожно гладил ее по голове. Он утешал ее, словно не он, а она оставалась умирать на пароходе. Он был благодарен ей. Своим беспомощным жестом она дала ему радость еще раз почувствовать себя сильным, смелым, мужественным. Он не ошибся: в ней было удивительное свойство без слов угадывать и поступать так, как ему было нужно. И сейчас она делала самое лучшее из того, что могла, — она помогала ему умирать так, как должен умирать мужчина. Он смотрел на нее с нежностью, и пальцы его перебирали ее прохладные тонкие волосы.

Все сильнее пахло гарью и дымом.

— Плывите,— сказал Антон.— Пора.

И для того чтобы облегчить ей уход и утешить ее, добавил, печально улынувшись:

— Ведь скоро стемнеет, может быть, вы и успеете прихватить за мной па шлюпке.

Она знала, что это невозможно, она понимала, что ему хочется утешить ее, но инстинктивно, обматывая себя, она ухватилась за эту мысль и стала надевать пояс.

— Возьмите,— сказал он и подал ей бумажник.— Это документы.

Она спрятала бумажник в резиновую сумочку для документов, которую послала па шею.

Она надела пояс, хотела встать, снова не смогла и прижалась к его рукам мокрыми щеками.

— Я вернусь. Я приеду за вами,— повторяла она. Ей было тяжело оторваться от него.

Наконец она встала, задыхнувшись, не нашла в себе силы на последний взгляд и, как слепая, вытянув вперед руки, вышла из каюты.

Когда па дсерях скрылась тонкая черноволосая женщина — последний человек в его жизни,— он закрыл глаза и долго лежал неподвижно. Он был рад, что именно она пришла к нему в этот час. Тепло ее щек еще согревало его ладони. Он еще видел ее исчезавшую гибкую фигуру в белом халате.

Ему захотелось позвать ее, но он не знал ее имени. Тогда губы сами тоскливо шепнули: «Мама, мама!» Но он сжал их и замер в неподвижности...

Ему казалось, что он очень спокоен, а на самом деле все силы его уходили на то, чтобы не закричать, не забиться в тоске. Выждав время, достаточное для того, чтобы она отплыла, он стал вглядываться в то, что происходило на берегу. Уверенные в своей безопасности, немцы свободно ходили по берегу.

Он выждал некоторое время и, когда увидел двух немцев, перед которыми все другие стали навтыяжку, выстрелил в одного из них. Немец скинул руки и упал.

— Так, паразит! — сказал Антон, загораясь жестокой радостью. Он уложил второго немца и стал стрелять в тех, кто подбежал к упавшим.

По пароходу ударили мины. Осколки свистели над Антоном, пробивали стены, рвали постель, а он лежал словно заговоренный.

На корме разгоралось пламя, и при перемене ветра клубы дыма наполняли каюту. Вода была уже близко — пароход сильнее и сильнее погружался в воду. Антон израсходовал все патроны, кроме одного. Но, когда, успокоенные его молчанием, немцы снова вышли из-за кустов, он не выдержал.

— Пусть будет так, — сказал он и израсходовал свой последний патрон. Немцы снова подняли беспечную стрельбу.

Теперь осталось только ждать. Он откинулся на подушку. Что первым наступит его? Огонь или вода? Если бы пуля! Но и огонь и вода лучше, чем непоправимый ужас страшного увечья.

Антон теперь сам искал пули, стараясь приподняться и показать свою голову тем, на берегу. «Не болезнь, не вода, не огонь — все-таки пуля!» Ему пробило висок.

Катерина Ивановна не помнила, как она прыгнула за борт, не почувствовала холода воды и поплыла вперед почти бессознательно. Только через несколько минут она стала яснее воспринимать окружающее и увидела впереди себя плывущих людей. Она плыла больше часа, тело ее застыло и онемело от усталости и холода, она несколько раз теряла сознание, но, когда волны пачкали захлестывать ее, она, захлебываясь, снова приходила в себя и снова обретала силы.

Наконец она достигла берега, вышла на отмель и только тогда оглянулась. До этого она не позволяла себе оглядываться, инстинктивно оберегая себя, боясь увидеть то ужасное, что было неизбежно, и обессилеть от горя.

Все было кончено. Всюду расстилалась необъятная, ровная и плотная гладь Волги. Парохода не было. И сейчас же у Катерины Ивановны исчезли все ощущения, кроме камнем опустившейся на нее тоски.

Что пережил за этот час тот, чьи руки дали ей пояс и послали ее жить? Как пришла к нему смерть? Вода ли захлестнула или огонь сжег его живое тело? Горе женщины было так велико, что она не могла шевелиться, не хотела видеть людей и слышать их голоса. Она легла на берег, ей казалось, что только эта огромная, серая, мокрая земля может разделить с ней ее горе. Она вдавливалась в землю всем телом, и колючий мокрый песок прилипал к ней, а волны мерно плескались о ее руки.

— Встань-ка, девонька. Встань, голубка, — старик с ведром в руке тряс ее за плечо.

Она поднялась и покорно пошла за ним. Ее мокрое,

насквозь промерзшее тело застыло на холодном осеннем ветру, но она не чувствовала холода. Ноги ее одеревенели от утомления, она шла неверной, заплетающейся походкой, но не чувствовала усталости.

Обогнув береговой холм, старик привел ее к костру, горевшему в ложбинке. Она огляделась вокруг. Был ветреный, пенастый осенний вечер. Недоброе, багровое у горизонта небо было покрыто тучами. В ложбине стояло стадо коров.

Коровы задирали кверху большие красноглазые морды и надрывно мычали.

Вокруг костра сидело несколько человек бойцов и сестер с парохода. Катерину Ивановну увели за кусты и одели в сухое платье. Потом она безмолвно легла у костра. Кто-то дал ей горячего молока, кто-то укрыл шинелью. Было тихо, и только худая женщина говорила неторопливо и мерно:

— Третий день они недоеды. Двоих перегонщиков убило, а мне всех не передоить. Вымя у них нагрубил, сами режут, мочи нет.

Она говорила спокойно и, казалось, думала о чем-то совсем другом. Руки ее быстро и скоро чистили картофель, а по неподвижному спокойному лицу одна за другой непрерывно текли слезы. Они мешали ей, она смахивала их, а они набегали снова.

— Катерина Ивановна, вас не ранило? — спросила Лена.

— Нет.

— Счастье наше такое, — удивленно и безрадостно сказала Лена и, желая подбодрить себя и Катерину Ивановну, продолжала: — Значит, через два дня домой попадем. Я с мамой увяжусь, а вы с мужем. Господи, да неужто это может быть — дом?!

Вот он, тот миг, которого в глубине души так долго ждала Катерина Ивановна. Окончен страшный путь. Она спаслась. Она может ехать домой.

Она закрыла глаза, и перед ней возникли ее уютная и чистая квартира, паркетный пол, голубые вазы на белых салфетках. Она увидела радостное лицо мужа, его сильные теплые плечи. Но сейчас же перед ней встало другое лицо. Оно смотрело глазами брата, друга, командира.

Короткая встреча с человеком, который остался умирать на пароходе, стала самой значительной встречей в ее жизни. Она знала, что никому не расскажет о ней, и знала, что никогда ее не забудет.

Все стало другим за этот день. Давно уже она была на фронте и дышала воздухом войны, но до сегодняшнего дня

мир войны был чужд ей. Всеми мыслями, всею своей сущностью она продолжала жить в милом домашнем миру. Она была женщиной, посланной на фронт, но не была бойцом.

Раньше она жила на фронте, но сердце ее было дома. Теперь, даже если она уедет домой, сердце ее останется здесь.

И странно, ничего ободряющего не произошло за этот день, наоборот, он был насыщен ужасами, но никогда раньше у Катерины Ивановны не было такой твердости и такой абсолютной уверенности в победе. Ее состояние можно было сравнить с состоянием женщины, которая, задыхаясь в родовых муках, по на мигу не теряет уверенности в том, что ребенок появится на свет, что он уже рождается.

Катерина Ивановна села и сказала сестрам:

— Мне дал свой пояс танкист, у которого было ранение позвоночника. Он остался на пароходе и стрелял в немцев из винтовки вахтенного.

Девушки ничего не ответили ей, только лица их стали суровее. Они молча обматывали босые ноги бинтами из санитарной сумки, каким-то чудом попавшей сюда.

Катерина Ивановна вынула бумажник Аптона и открыла его. Она увидела комсомольский билет, несколько писем и фотографическую карточку, на ней была изображена красивая черноглазая девушка. На обороте она прочла: «Будущему командарму от будущего маэстро».

Катерина Ивановна спрятала бумажник и стала тщательно забинтовывать свои застывшие босые ноги. Неподвижность была переносима. Только действие могло облегчить ее. Она встала, затащила бинтом отсыревшую тяжелую шинель и сказала:

— Я буду пробираться к Сталинграду. Мы там нужнее. Кто со мной?

— А там не подумают, что мы шпионки? — спросила Лена.

— Меня знают в здравпункте.

— Мы выйдем на шоссе, там нас подвезут на машине, — сказала Лена, вставая.

Когда они поднялись на холм, из ложбины навстречу им вышли розовощекий лейтенант и Яша. Лейтенант возбужденно и быстро говорил что-то, он энергично жестикировал. Следом за ним шел безразличный ко всему Яша.

— Не в ту сторону. Но в ту сторону! — закричал лейтенант, увидя женщин. — Поворачивайте обратно. Идем с нами. В пятнадцати километрах районный центр, откуда идут

машинны на север. Я уже сговорился с одним человеком, через три дня будем в Саратове.

Катерина Ивановна молча прошла мимо, а Лепа, обернувшись, бросила:

— Мы идем к Сталинграду.

Лейтенант, остановившись, смотрел им вслед.

Был сумрачный вечер. Холодный ветер трепал мокрые ветви низкорослого кустарника.

Две женщины с босыми, обмотанными марлей ногами, одетые в большие мокрые пальто, шли к Сталинграду. И когда они отошли уже далеко, Яша, словно спохватившись, побежал за ними.

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

*Посвящается Лене Строговой,
младшей сестре 10-го стрелкового полка*

Лена ложится на краешек нар, укрывается шинелью и, согреваясь, думает в полудремоте: «Хорошо как! Никогда не знала, что так хорошо в землянке!»

Она только что вернулась на сапроты, расположенной на берегу Днепра, долго блуждала в осенних потемках, намерзлась на сыром ветру и лишь по трассам пулеметов, по окрику часового, изыбшая, усталая, с трудом нашла НП.

Свертываясь под шинелью калачиком, она закрывает глаза, и тотчас откуда-то выплывает дорога, лесистый берег, освещаемый близким светом ракет, густо-черная вода у переправы, огоньки сигарок, раненые на носилках около землянок сапроты. Где-то в ночи рождается далекий свист, он давит все другие звуки, приближаясь и наступая. Сваряд с громом разрывается на кромке берега, косая стена воды вздымается перед землянками, брызги летят Лене в лицо. «Переправу обстреливают. Но почему же раненых не перевозят?» Второй снаряд разрывается в десяти метрах от носилок, и кто-то там кричит, стонет. «Немедленно переправляйте! Немедленно!» И она бежит на этот крик, снова слыша отвратительно воющий, визжащий звук падающего снаряда...

Лена вздрагивает и резко откидывает с головы шинель. В землянке тишина, нарушаемая странным стуком. Это дремал телефонист, и трубка ударяется о стол. Телефонист с усилием подымает голову и продувает трубку.

— «Волпа», «Волпа», — говорит он, сонно прокашливаясь. — Я — «Доп»... Как слышишь? Проверочка... Что у вас там, черти, радио или патефон? — Он вздыхает, утомленно выпрямляя спину. — Ну как у вас... спокойно? Ракеты кл-даст?

Связист поправляет плавающий в плоске огонек и, зябко подышав, кладет голову на ладони.

В землячке душно, сыро и пахнет лежалой соломой. Вместе с Леной на парах, прикрыв лицо фуражкой и не сняв ремни, спит командир батареи капитан Каштанов. На полу возле пар — Володя Серов, ординарец капитана. Свет от свечи мягко бродит по его лицу, оно разглажено сном и кажется совсем юным. На лоб упал рыжий завиток волос, в нем запуталась былинка сена. Лепа долго смотрит на его лицо и думает: «Что ему снится?» — и, улыбаясь, опять закрывает глаза.

Сквозь сон она слышит какой-то шум, чей-то короткий возглас, похожий на команду, и как будто суматошный топот ног. Лепа вскакивает. Она ничего не понимает со сна: ни капитана, ни Володю в землячке уже нет. Телефонист, сгибаясь при каждом слове, надсадно кричит в трубку:

— Ясно! Да плохо тебя слышно! Ясно! Много? Не слышу тебя!

— Что? — тревожно спрашивает Лена и привычно ищет сумку. — Началось?

— По-ошло, — бормочет с полуухмылкой телефонист, прислушавшись. Он поглядывает на потолок землячки, который сильно трясется, и, потягиваясь всем телом, первично зевает. — Пятые сутки контратакует, — говорит он. — Язви их душу. И не спят, поганое отродье, а? В Днепре хотят искупать!.. И все танки пускает да бронетранспортеры... Хорошо бы, если бы в батарее четыре пушки, а то одна осталась, бараповская... на плацдарме. Дела-а!..

Лена молча, торопясь, надевает шпатель и выбегает из землячки. В траншее темно и холодно. С запады от Днепра дует пропыхывающий влажный ветер. Он рвет и уносит звуки выстрелов. Острый запах сырой глины, недавно смоченной дождем, наполняет окопы. Впереди, в вязких потемках, отбрасывая ветром, взвивается белая точка немецкой ракеты и, упав возле самых окопов, горит, шипя, на земле ослепляющим костром. Где-то впереди тонко шьют автоматы. Взапыхивая, над окопами мелькают, обгоняя друг друга, трассы; разрывные пули глухо тюкают в бруствер, то там, то тут брызжут синими огоньками. И Лена, пригибаясь, отталкиваясь руками от степ траншей, бежит вперед на бугор.

Впереди, на высоте, длинными очередями, содрогаясь, режет пулемет. При вспышках в красном огне лихорадочно мелькает край чьего-то лица.

Кто-то с руганью пробегает мимо, задев Лёну автоматом за плечо.

— Баранов! Старший сержант Баранов!

При свете ракеты Лена видит ординарца капитана Володю Серова. Он оглядывается.

— Лена? — Он крепко сжимает ее локоть и едва переводит дыхание. — Лена? Ты?

— Атака? — стараясь говорить спокойно, спрашивает Лена. — Опять?

— Да, в атаку пошли! Совсем осатащили! — разгоряченно говорит он. — Черт возьми, связь с оружием перебили! Баранов! — кричит он в темноту. — Баранов!.. Быстро ко мне!

Неожиданно сверху кто-то прыгает в окоп. Это командир орудия Баранов. Он прерывисто дышит — вероятно, бежал. От него удрушающе пахнет табаком.

— Ну, ну? — резко спрашивает он. — Темень, леший погу сломит! Не разберешь ни хрена! Ну?

— Четыре спаряда! — кричит Володя. — Транспортеры видел? По лощине обходят! Долбаши!

В вспышках ракет появляется и пропадает широкоскулое лицо Баранова. Оно точно отвердело.

— Все? — Баранов, тяжело перекидывая огромное тело, выскакивает на бруствер. Он стоит некоторое время, озираясь. — Обходят фрицы пруде? — говорит он и медленно усмехается. — Ракет не жалеют!

Красные огоньки пуль струей мелькают перед темной головой Баранова.

— Пригнитесь! — кричит Лена сердито. — Что вы стоите?

— А, Лена! И ты тут? — говорит Баранов, только сейчас заметив ее.

И, не дожидаясь ответа, поворачивается, шагает в темноту. Лена хочется крикнуть ему, чтобы он лег и пополз, но за бруствером его уже не видно, и она говорит возмущенно:

— Не пошмаю, зачем рисковать? Можно и пригнуться. Ты тоже так ходишь — во весь рост? Это не геройство, а...

Володя что-то отвечает смеясь — не слышно: все топот и разрывы. Они бегут по траншею. На НП Лене ослепляют беспорядочные вспышки, в уши бьет автоматная трескотня. Сухое, почти неподвижное лицо капитана Каштапова дрожит в красных всплесках. Володя с размаху бросается грудью на бруствер, выкрикивает:

— Порядок, товарищ капитан! Ваше приказание выполнено!

И Лена видит, как трясется его плечо от длинных очередей.

Слева из темноты вылетает рвущийся снап пламени. Все

оборачиваются. В огневых взлетах появляются и исчезают вздрагивающее орудие на высоте, а в лоцине — черные тела бронетранспортеров и вставшие по скатам высоты силуэты — немцы.

— Это Барапов, товарищ капитан! — кричит Володя возбужденно. — Барапов прикурить дает!

Внезапно становится тихо. Только далеко, на правом фланге, без передышки трещат автоматы, торопливо взлетают ракеты.

Все молчат, прислушиваясь. Из пизпы доносится голоса немцев. Опп, по-видимому, окапываются за высотой.

— Замолчали, — негромко говорит Володя. — Пять дисков как ветром сдуло... Еще приготовим, пожалуйста, только спасибо не говорите! — И он вываливает из противогазной сумки в шапку автоматные патроны, готовясь набивать диски.

Капитан Каштанов оглядывает всех на НП, говорит замедленно: «Та-ак» — и, наклонившись ко дну окопа, прикрываясь шинелью, сосредоточенно чиркает зажигалкой. Огонь выхватывает черные, тесно сдвинутые брови. Володя с жадностью прикуривает, смеется:

— Ох, закурить, чтоб дома не журились! — И рукавом шинели вытирает с лица пороховую гарь.

Лена подходит к Володе сзади, тихо говорит:

— Устал, товарищ ординарец? — И в голосе ее звучит ласковая усмешка.

Володя одной рукой обнимает ее.

— Ну-ка поближе сюда, сапьянструктор! — говорит он и прижимает ее к себе.

Лена строго:

— Товарищ старший сержант! — И испуганным шепотом: — Тихе, капитан же рядом... Ты совсем уж... Володька!..

Володя весь разгорячен — ворот расстегнут, руки теплые, и Лене кажется, что в потемках у него светятся от подавшего возбуждения глаза.

— Ну как самочувствие? — еле слышно спрашивает Лена.

— Да ничего, Лепка, — шепотом отвечает он, прикасаясь горячей щекой к прохладным Лениным волосам. — Вот по тебе соскучился, целый день тебя не было... А ты как?

Она отстраняется от него, упираясь руками ему в грудь.

— Осторожней, Володька, капитан же.

— Да он не смотрит!.. У тебя руки холодные — боишься, что ль?

— Не думаю даже...

— Врешь, Ленка,— шепчет он, притягивая ее к себе.
— Ну, немножко,— соглашается она.
— За кого?
— Да за тебя же.
— Это ты оставь, Ленка.— Он сразу становится серьезным.— За меня нечего бояться.
— И оставлять нечего. Тоже ходяшь, как Баранов, не пригибаясь...

Они не видят, что капитан Каштанов сидит на дне окоца, курит и чуть усмехается, слыша рядом с собой шепот.

В ту же минуту возле траншеи разрывают воздух пулеметные очереди, пули щелкают по брустверу. Тотчас откуда-то из ложины тугим звоном ударяют немецкие мины. Мины с чавкающим звуком, с визгом осколков рвутся над головой, сыплется земля, дробно стучит по плащ-палаткам.

Володя и Лена вскакивают. Над высотой, где стоит орудие Баранова, расщепивая потемки, веером летят толстые трассы. Видно, как трассы эти врезаются в землю перед щитом, гаснут.

— Товарищ капитан, бронетранспортеры! Покурить не дали!— кричит Володя, ложась грудью на бруствер, взводя затвор автомата.— Опять пошли! По орудию бьют.

— Спокойно,— говорит капитан Каштанов. Он будто проснулся сейчас, и голос у него сонный и сильный. Потом этот голос накалило опалает: — Справа, по одному — короткими!..

У Володи судорожно трясется плечо, и жутко возникает во вспышках автомата красный блеск его зубов. Он что-то кричит и смеется.

И Лена смотрит на него, и ей неудержимо хочется стоять рядом с ним, стоять до тех пор, пока не кончится атака. Она цупает руками край окоца.

«Санниструктора!» — звучит в ушах Лены, но она знает, что по привычке это часто кажется ей, и, оглянувшись на Володю, все-таки идет по траншее, спрашивая:

— Товарищи, никто не ранен?

Во тьме режут в пизине бронетранспортеры, веера толстых трасс рассыпаются все ближе, и немецкие ракеты уже падают на огневую позицию Баранова и горят на брустверах орудийного двора, и всем видны стоящие и ожидающие за щитом орудия люди и самый высокий — Баранов — возло ставины.

— Товарищ капитан! Баранова, никак, окружают! — доносится сзади голос Володи. — Видите?.. Слева заходят!

Бегло бьет орудие Баранова. Два разрыва, четыре разрыва — и сразу орудие замолкает, и только слышны щелчки разрывных пуль, слышно, как кричат бегущие к орудию пемцы:

— А-а!

— Баранов! — опять доносится чей-то сильный зов из потемок. — Баранов!

Мины рвутся вокруг орудия.

— Санитаров сюда! Где санитары? Санитары!

Лена озирается и бежит на крик.

И на бегу мельком видит страшное, перекошенное лицо капитана Каштанова. Он что-то кричит, но понять нельзя. Она видит его раскрывающийся рот. Она улавливает одно слово:

— Вперед!..

Из траншеи, сбивая Лену с ног, бегут люди. У нее, сжимаясь, колотится сердце.

В проходе она сталкивается с огромным солдатом. На руках он кого-то тащит.

— Кто такой? — хрипит солдат. — Где санитары?

— Я, — задыхается Лена. — Я, милый, я! Где раненый?

— Кто «я»? Не вижу! Ну-ка вставай! — И, возбужденный, злой, шагает прямо на Лену.

— Я санитары! — внезапно сердито останавливает его Лена. — Давайте же его! Куда ранен?

— Живой... да быстрее... — тише, но еще раздраженно и как бы с угрозой говорит солдат, точно по доверья.

Лена его не знает: он, вероятно, из пехоты.

Солдат этот крепко придерживает за плечу обмякшего человека в плащ-палатке.

— Ну, притащи! — сквозь вздох говорит солдат. — Метров двести нес! Нашего-то санитаров... тоже была девочка... Ну, Семен, будь, брат, здоров! Живи...

— Спасибо тебе, — выдыхает раненый.

— Не за что, брат. После войны за столом будешь говорить. В госпитале починят тебя, бывает...

Они прощаются. И солдат поспешно уходит по трапезе. Раненый сдавленно стонет, скользит руками по стене окопа.

— Держись за меня! Идем быстрее! Быстрее в землянку, здесь недалеко! — шепчет Лена.

В землянке по-прежнему горят свеча, по телефону

нет: он, вероятно, наверху. Расстелив плащ-палатку, Лена укладывает раненого на палы.

— Сейчас, сейчас, мы сейчас, мы только перевяжем... и все в порядке... Только перевяжем.

Раненый молод, он еще совсем мальчик. У него бескровное до синевы лицо, побелевшие, искусанные губы плотно сжаты. Большая потеря крови пугает Лену, и она очень спешит.

— Жжет... — Паренек разжимает губы. — Как железом жжет... насквозь будто меня в бедро... А?

Лена рвет на его животе промокшую гимнастерку, расстегивает пуговицы.

— Не падо! — Перекосив лицо, паренек испуганно приподнимается. — Уйди, сестра! Стыдно мне...

Он прикрывает руками живот. Грудь у него ходит под руками, как мехи. На животе разлилось вязкое кровавое пятно.

— Чудной, я только перевяжу... Одну минуту, и все, — убеждает его Лена.

Наконец все сделано. Паренек скрипит зубами.

— Сестра, глотнуть бы!.. Жжет.

Лена торопливо шарит рукой по соломе, по полу, стараясь найти какую-нибудь оставшуюся фляжку, и машинально повторляет шепотом:

— Сейчас, милый, сейчас.

А в полночь приходит капитан. Он, шурясь, долго оглядывает землянку. На палках, на полу — раненые, а Лена сидит спиной к двери и не видит капитана. Тонкая спина ее согнута. Она положила подбородок на ладони и слушает внимательно: раненый ей что-то рассказывает вполголоса.

— Лена, — капитан кашляет, — куда нам?

Лена оборачивается и встает с бледным, осязанным лицом. Она поднимает руки к груди, сейчас же опускает их и медленно, мелкими шагами, точно ноги у нее спутаны, подходит к капитану, глаза у нее широко раскрыты, застыли в ожидании.

— Что? — спрашивает она.

— Давайте.

Капитан сдавленно покашливает, и два солдата тихо вводят в землянку Володю, придерживая его, и капитан, не глядя на Лену, говорит:

— Перевязку сделай...

Лена подходит ближе к Володе, и капитан видит, как пуговичка на ее гимнастерке ходит то вверх, то вниз и брови ее недоуменно дергаются. У Володи на глазах повязка

набухла от крови. Он с пеловкостью тянет к ней руку, — однако капитан, хмурясь, удерживает его.

— Володя, сно-кой-но.

— Товарищ капитан, — слышит она отрывистый, незнакомый, но Володин голос, — надо снять повязку, мешает.

— Товарищ кап... — И Лена осекается от спазмы в горле.

— Лена? — с испугом спрашивает Володя. — Лена здесь?

Лена тупо смотрит на его повязку. И делает еще шаг. Володя осторожно ищет и берет ее за плечи, губы его стараются улыбнуться.

— Лена? — шепчет он и опять тянется к повязке. — Лепочка, надо снять повязку к черту!..

Лена легонько сжимает его руку. Ее лицо кажется неподвижным. Кровь капает ей на пальцы. Она горячая, а рука Володи холодная, как железо на морозе.

— Лепочка, — говорит Володя, — меня обожгло... Меня только ударило... Посмотри, что у меня? Видишь? Совсем уж мелочь — ожгло просто...

Лена молчит. Ей пужно его перевязать, но Володя с повязкой сейчас так далеко от нее, что, наверно, не дотянуть рук.

— Ничего, Володя, ничего... не опасно, — выдавливая она механически, словно во сне, накладывая чистый бинт.

А Володя, все стараясь улыбаться, говорит:

— Это ерунда, пустяки. В голову ранило, кровью глаза залило!..

Она усаживает его на пары и безмолвно стоит возле. Капитан прислонился спиной к стене, прикрыв глаза, и кажется, что дремлет. У него дергается щека и сходятся и расходятся углом черные брови.

— Товарищ капитан, — сниженным голосом спрашивает кто-то из раненых, — как там... наверху?

Капитан разлепляет веки.

— Как там? — снова спрашивает молодой парнишка, раненный в бедро.

— Стоим, — отвечает капитан, — три транспортера горят... Капитан оглядывает раненых. — Три транспорта, — громче добавляет он.

— Все здорово! — естественно оживленно говорит Володя и кивает. — Ну, товарищ капитан, Баранов молодец!

— Лена, — капитан машет Лене пальцем. — Иди сюда... Володька, Володька, Володька, — внезапно глухо говорит капитан и, стиснув Володино плечо, порывисто наклоняется и целует его в губы.

— Спасибо тебе, Володя, спасибо... за все.

Капитан вышагивает из землянки, и Лепа слышит, как он покашливает у входа: ждет ее.

Лепа, хватаясь за стену, будто пьяная, выходит из землянки вслед за ним. Она держится рукой за ослизлую стену траншеи, чтобы не упасть от слабости в погах.

— Вот,— покашливает капитан,— так... Вот как с Володькой, а? Ты слышишь? Цены не было парню. Осколком мины его... Ты вот что... Сейчас же за повозкой... В тыл по оврагу ближе. Раненых немедленно увезти. Никого больше не могу послать — такое время! Иду к Барапову,— добавляет капитан,— там снаряды привезли! Ведь надо же как... Ладно, ладно, беги за повозкой! За ранеными присмотрят.

А Лепа не может вымолвить ни слова.

— Погоди, погоди,— пахмуривается капитан.— А с Володькой вы что... дружили, что ли? — спрашивает он глуховато.

— Какое это имеет значение! — шепчет Лепа.

Капитан задерживает в груди дыхание, очень быстро говорит:

— Эх, ладно, ладно... Иди.

Вокруг тихо. Только впереди над окопами дрожит красный отблеск, как от пожара, и даже не взлетают ракеты. Лепа спускается с бугра и идет по дну оврага в тыл за повозкой. У нее точно клещами хватает за сердце. Удушье сжимает горло, и давит, и выпирает все из груди. Лепа напрягается и морщится, чтобы заплакать, но слез нет. И она, судорожно хватая ртом воздух, останавливается и с ужасом думает: «Неужели? Неужели это все?»

И, кусая губы, на ощупь, по настилу мокрых опавших листьев, Лепа бежит по оврагу.

— Ну вот, Володя, сейчас придет паром, и ты будешь в медсанбате,— говорит Лепа и подымает Володе воротник шинели.— Так лучше, а то ветер...

Володя лежит на носилках около землянок сапроты на берегу Днепра. Около носилок тлеет костер. На обуглившихся досках лепиво ползают и гаснут фиолетовые огоньки. От Днепра несет осенним холодком. С кособора, из сырой рассветной мути, летят влажные листья. Они падают на огонь, шевелятся, как живые, и вспыхивают тихим желтым пламенем. На песке около костра стоит еще несколько носилок.

лок. Из землянок санитары выносят раненых, ждут парома с того берега. Днепр по-прежнему в потемках, но когда далеко слева слабо мерцает край неба, то можно отличить черную воду от берега. Временами ветер стихает, становится тихо, и Лена слышит, как отрываются и падают с деревьев листья. Один лист упал ей на рукав. Лена осторожно снимает его и держит на ладони. Лист пахнет землей и тревожным запахом поздней осени.

«Какой легкий лист!» — думает она.

— Они у нас в Воронже лежали целыми кучами в саду, и как хорошо было по ним ходить... — говорит Лена, — они хрустят.

— А ты раздави этот, — порочаясь, без улыбки советует он. — Тоже хрустит.

— Зачем, Володя? — обиженно отвечает она и сдвигает лист с ладони. — Не падо.

Володя пожимается и вздрагивает.

Лена задумчиво смотрит на его лицо.

— Что, Володя? Что ты?..

— Лена, — говорит он, — скоро паром?

— Сейчас, Володя. И потом в медсанбат. Немного осталось потерпеть.

— Лена, — повторяет Володя, — а ведь я... Ведь мы с тобой теперь...

Он приподнимается на коленях, вдыхает в себя воздух.

— Что? — спрашивает Лена. — Что ты хотел сказать? Ложись, ложись.

— Ничего, — говорит он, стискивая зубы, и мучительно морщится не то от боли, не то от каких-то воспоминаний...

Лена поправляет его повязку и наклоняется к нему:

— О чем ты думаешь?

Володя не отвечает.

— Странный! Какой ты странный, Володя! О чем ты думаешь? — Лена гладит его шею и целует в подбородок... — Я верю, что мы еще увидимся...

Володя лежит молча.

— Эй, сестренка, — говорит кто-то над головой. — Пустяк. Дай-ка мы его возьмем — паром не ждет!

Рядом стоят два санитары. Они берут носилки и, кряхтя, несут их к парому в сопровождении Лены.

— Погодите, ребята. — Володя встревоженно делает усилие приподняться, опираясь локтями, и голос его звучит сдавленным криком отчаяния: — Лена! Меня сейчас увезут... Я хотел сказать... не увижу я тебя больше! Жизни без тебя

мне не будет, а не жалею ты меня, война ведь, Леночка, милая!..

Она дальше ничего не может слышать. Носилки грузят на паром, а она, безмолвно кусая губы, медленно идет к костру, и в ее ушах еще звенит мальчишески отчаянный вскрик Володи, пытавшегося объяснить то, что не поддается никакому объяснению.

И вдруг Лене становится необыкновенно жарко, как тогда в овраге, так жарко, что пересыхает в горле и невозможно дышать. Она бессилечно садится у костра и, схватив колени, пряча в них лицо, горько и беззвучно плачет.

ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ

ЗОСЯ

1

Был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленный...

После месяца тяжелых паступательных боев — в лесах, по пескам и болотам, — после месяца нечеловеческого напряжения и сотен смертей, уже в Польше, под Белостоком, когда в обескровленных до предела батальонах остались считанные бойцы, нас под покровом почти неожиданно спали с передовой и отвели — для отдыха и пополнения в тылах фронта.

Так остатки нашего мотострелкового батальона оказались в небольшой и ничем, наверно, не примечательной польской деревушке Новы Двур.

Я проснулся лишь на вторые сутки погожим июльским утром. Солнце уже поднялось, пахло медом и яблоками, царил удивительная тишина, и все было так необычно, что несколько секунд я оглядывался и соображал: что же произошло?.. Куда я попал?..

Наш тупорылый «додж» стоял в каком-то саду, под высокой ветвистой грушей, возле задней стены большой и добротной хаты. Рядом со мной на сене, в кузове, натянув на голову плащ-палатку, спал мой друг, старший лейтенант Виктор Байков. Еще полмесяца назад и он и я командовали ротами, но после прямого попадания мины в командный пункт Витька исполнял обязанности командира батальона, а я — пачальняка штаба, или, точнее говоря, адъютанта старшего.

Я спрыгнул на траву и, разминаясь, прошелся взад и вперед около машины.

Сидя на земле у заднего ската и держа обеими руками автомат, спал часовой — молоденький радист с пересбинтованной головою: последнюю неделю из-за нехватки людей мы были вынуждены оставлять в строю большинство легкораненых, впрочем, некоторые и сами не желали покидать батальон.

Я заглянул в его измученное грязное лицо, согнал жирных мух, ползавших по темному пятну крови, проступившей сквозь бинты; он спал так крепко и сладко, что я не решился — рука не поднималась — его разбудить.

Обнаружив под трофейным одеялом в углу кузова заготовленную Витькиным ординарцем еду, я с аппетитом выпил целую крынку топленого молока с ломтем черного хлеба; затем достал из своего вещмешка обернутый в кусок клеенки однотомник Есенина, па Витькиного — полнечатки хозяйственного мыла и, отыскав щель в изгороди, вышел на улицу.

Мощная булыжником дорога прорезала по длине деревню; вправо, неподалеку, она скрывалась за поворотом, влево — уходила по деревянному мосту через неширокую речку; туда я и направился.

С моста сквозь хрустальной прозрачности воду отлично, до крохотных камешков проглядывалось освещенное солнцем песчаное дно; поблескивая серебристыми чешуйками, стайки рыб беззаботно гуляли, скользили и беспорядочно сповали во всех направлениях; огромный черный рак, шевеля длинными усами и оставляя за собой тоненькие бородачки, переползал от одного берега к другому.

Шагах в семидесяти ниже по течению, стоя на поле в воде, спиной к мосту и наклонясь, сосредоточенно возились трое бойцов; в одном из них я узнал любимца батальона гармониста Зеленко, гранатометчика, только в боях на Днепре уничтожившего четыре вражеских танка. Тихонько переговариваясь, они шарили руками меж коряг и под берегом: очевидно, ловили раков или рыбу.

Около них на ветках ливняка сохло выстиранное обмундирование. Там же, на берегу, над маленьким костром висели два котелка; на разостланной шинели виднелись банка консервов, какие-то горшки, буханка хлеба и горка огурцов.

Бойцы были так увлечены, а мне в это утро более всего хотелось побыть одному — я не стал их окликать и, спустясь к речке по другую сторону дороги, пошел тропинкой вдоль берега.

День выдался отменный. Солнце сияло и грело, но не пекло нещадно, как всю последнюю неделю. От земли, от высокой сочной луговой травы поднимался свежий и крепкий аромат медвяных цветов и росы; в тишине мерно и весело, с завидной слаженностью трещали кузнечики.

Голубые, с перламутровым отливом стрекозы висели над самым зеркалом воды и над берегом; я было попытался поймать одну, чтобы рассмотреть хорошенько, но не сумел.

С удовольствием вдыхая чудесный душистый воздух, я медленно шел вдоль берега, глядел и радовался всему вокруг.

Как может перемениться жизнь человека! Просто даже не верилось, что еще недавно я, изнемогая от жары, напряжения и жажды, сидел в пулеметном окопчике на высоте 114 (я стрелял лучше других и в бою, когда мог, всегда брался за пулемет) и короткими отрывистыми очередями косил рослых, как на подбор, немцев из танковой гренадерской дивизии СС «Фельдхерпхалле», перебежавших и упрямо ползших вверх по склону.

Как-то не верилось, что совсем недавно, когда кончились патроны, не осталось гранат и десятка три немцев ворвались на высоту в наши траншеи, я, ошалев от удара прикладом по каске и озверев, дрался рукопашную запасным стволом от пулемета; выбываясь из сил и задыхаясь, катался по земле с дюжим эсэсовцем, старавшимся — и довольно успешно — меня задушить, а затем, когда его прикончили, зарубил немца-огнемётчика чьей-то саперной лопаткой.

Все это было позавчера, но оттого, что я сутки спал и только проснулся, оттого, что это были самые сильные впечатления последних дней, мне казалось, что бой происходил всего несколько часов тому назад.

Я не удержался, раскрыл на ходу томик и начал было вполголоса читать, однако тут же решил покончить сперва со всем малоприятным, по неизбежному. На небольшом песчаном пляжике я скинул сапоги, быстро разделся и дважды старательно выстирал грязные, пропитанные потом, пылью, ружейным маслом и чьей-то кровью гимнастерку и шаровары, ставшие буквально черными портянки и пилютку. Затем, крепко отжав, развесил все сушиться на ветках орешника, спустился в воду и, простирнув самодельные плавки, начал мыться сам. Я намылился и со сладостным ожесточением припался скрестить ногтями голову и долго скоблил и тер все тело песком, пока кожа не покраснела и не покрылась кое-где царапинками. Последний раз я мылся

по-настоящему педели три назад, и вода около меня, как и при стирке, сразу сделалась мутновато-темной.

Потом я плавал и, ныряя с открытыми глазами, гонялся в прозрачной воде за стайками мальков и достапал со светлого песчаного дна раковины и камешки; самые из них интересные и красивые я отобрал, решив, пока мы будем здесь находиться, составить небольшую коллекцию. Дома, в Подмоскowie, у меня хранился в сепсах целый сундук всяких необычных камешков и раковин — собирать их я при-страстился еще в раннем детстве.

Немного погодя я вышел на берег, ощущая бодрость и приятную легкость во всем теле и чувствуя себя точно обновленным. Перевернув на ветках орешника быстро сохнувшие гимнастерку и шаровары, я со спокойной душой взял накопец кпнжку.

Я любил и при каждой возможности читал стихи, но Есенина открыл для себя педавно, когда в начале паступления, в развалинах на окраине Могилева, нашел этот одиотмник; стихи поразили и очаровали меня.

На передовой я не раз урывками, с жадностью и восторгом читал этот сборничек, то и дело находя в нем подтверждение своим мыслям и желаниям; многие четверостишия я знал уже наизусть и декламировал их (чаще всего про себя) к месту и не к месту. Но отдаться стихам Есенина безраздельно, в покойной обстановке мне еще не доводилось.

Я начал читать, то заглядывая в кпнжку, то по памяти; начал с ранних, юношеских стихотворений:

...Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижинны хилые
С поджиданьем седых матерей.

...Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Светлая речка в берегах, поросших няняком, скошенный луг со стожками зеленого сена и молодыми березками на той стороне, золотистые ржи, уходящие к самому горизонту, и даже небо, светло-синее, с перистыми, прозрачно-невесомыми облаками — все до боли напоминало исконную среднюю Россию и больше того — подмосковную деревушку, где родилась моя мать и где прошло в основном мое детство. И потому все вокруг было удивительно созвучно стихам

Есенина, его восторженной любви к родному краю, к раздолью полей и лугов, к русской природе и человеку.

С волнением я читал, вернее, увлеченно декламировал, размахивая рукой и повторяя по два-три раза то, что мне более всего нравилось:

...Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жпл.
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове...

Ах, до чего же хорошо, до чего же здорово!.. Я читал и читал, параспев, вздохб, растроганный до слез и забыв обо всем.

...Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой равню
Проскакал на розовом коне...

Очарованный, я был как в забытьи, и не знаю даже почему обернулся — сзади меж двух орешин стояла и с любопытством смотрела на меня невысокая, необычайно хорошенькая девушка лет семнадцати.

Она не смеялась, нет; лицо ее выражало лишь любопытство или интерес, но в глазах — зеленоватых, блестящих, загадочных, — как мне показалось, прыгали смешинки.

Я крайне смутился, и в то же мгновение она исчезла. Я успел разглядеть маленькие босые ноги и крепкую ладную фигурку под полинялым платьем, из которого она выросла; успел заметить корзинку в ее руке.

Она появилась словно бы мимоходом и исчезла внезапно и неслышно, как сказочное видение. Попытно, я не верил в чудеса, и мне подумалось даже, что она спряталась в орешнике. Я проворно потянул шаровары — смешно же, наверно, я выглядел со своей декламацией, в самодельных, из портяточного материала плапках — и обошел весь кустарник, не обнаружив, однако, ни девушки, ни каких-либо видимых ее следов.

В раздумье вернувшись я на берег, раскрыл томик и начал было снова читать, но не мог — мне вроде чего-то не хватало. Ну что за чертовщина; собственно говоря, — чего?.. И вдруг со всей ясностью я осознал, что мне страшно хочется еще увидеть эту девушку, хоть на мигутку, хотя бы одним глазком.

Я даже спрятался, присев под кустом, и прислушиваясь, надеясь, что, быть может, она появится. В самом деле, почему бы ей вновь не прийти сюда?.. Да что я ее съем или обижу?..

По-весеннему радостно звучало тихое птичье щебетание; в траве по-прежнему весело и шумно стрекотали кузнечики; но ни звука шагов, ни шороха я, как ни силился, уловить не смог.

Единственно, что я вскоре различил — негромкий, нарастающий шум мотора. Спусти какую-то минуту, оборотятся, я увидел медленно ехавший через мост «виллис»: в офицере на переднем сиденье я сразу узнал командира нашей бригады подполковника Антонова. Живое соображив, какая получится неприятность, если подполковник застанет и часового и комбата спящими, я с лихорадочной быстротой оделся, втащил сапоги и, на ходу направляя и одергивая еще влажные местами гимнастерку и шаровары, во весь дух помчался к деревне.

Грешным делом я почему-то надеялся, что командир бригады проследует, направляясь в другой батальон, или же, не заметив наш «додж», проедет в конец деревни, и я успею добежать. Но увя... Выскочив на улицу, я увидел машину комбрига возле дома, где мы остановились.

Я не успел дойти до калитки, как со двора появился подполковник — высокий, молодцеватый, в свежих, тщательно отутюженных шароварах и гимнастерке с орденскими планками, в полевых сапогах и фуражке и начищенных до блеска сапогах. Обтянутая черной глянцевиной лайкой кисть протеза недвижно торчала из левого рукава. Было ему лет тридцать пять, но мне в мои девятнадцать он казался пожилым, если даже не старым.

Он приказал водителю отъехать, отвечая на мое приветствие, молча подвинул руку к фуражке и, окинув меня быстрым сумрачным взглядом, поспетерсовался:

— Вас что, корова жевала?.. Погладить негде?.. — Он взял у меня книгу, с ловкостью двумя цепкими пальцами раскрыл, посмотрел и отдал обратно.

В ту же минуту из калитки, застегивая пуговицы воротничка, потирая глаза и оглядываясь по сторонам, торопливо вышел Витька, заспанный, без пилотки и без ремня, грязный и небритый.

— Чудесно! — сказал подполковник. — Комбат спит как убитый, начальник штаба почитывает стихота, а люди предоставлены сами себе! Охранение не выставлено, един-

ственный часовой и тот спит! Кино! — возмущенно закричал он. — Безответственность!!! Немыслимая!!!

Витька недоуменно и растерянно посмотрел на меня. И только тут я вспомнил, что позавчерашней ночью, когда километрах в четырех от передовой мы грузились на машины, он приказал мне по прибытии на место выставить сторожевое охранение и набросать план действий в случае нападения противника. Однако люди валялись с ног от усталости, а никакого наступления со стороны немцев не ожидалось (они ожесточенно сопротивлялись и даже контратаковали, но только на короткое — обороняясь). К тому же по дороге я убедился, что между передовой и Новым Двором, куда мы следовали, расположены части второго эшелона, что само по себе предохраняло от внезапного нападения. Успокоенный этим, я не смог более держаться, и сон мгновенно сморил меня.

Несомненно, я один был во всем виноват, но сказать об этом сейчас не решался: комбриг не любил, когда перед ним пытались оправдываться и не терпел пререканий; считалось, что если он чем-либо недоволен, то лучше всего молчать. Виноват был я, а отвечать теперь в основном приходилось Витьке, причем я знал, что как бы ему ни доставалось, в любом случае он и слова не скажет обо мне.

Мы стояли перед комбригом: я, вытянув руки по швам, покраснев и виновато глядя ему в лицо, а Витька — наклонив голову, как бычок, готовый ринуться вперед.

— В чем дело?! Объяснитесь! — после короткой паузы потребовал подполковник. — Может, война окончилась?.. — с самым серьезным видом язвительно осведомился он. — Тогда не хворые были бы и доложить, порадовать командованию!..

И снова, помолчав, недовольно, с сердцем заявил:

— Воевать вы еще можете, но на боях вас выведешь и — ни к черту не годитесь! Один спит, другой стишками развлекается, а бойцы у нас на речке, посреди деревни, голышом, как на пляже, устроились! — с негодованием сообщил он. — И еще водку, наверное, пьют!

— Люди измучены, — хриловатым голосом упрямо проговорил Витька, хотя делать это ему бы не следовало. — Они заслужили отдых...

— Это не отдых, а разложение! — раздражась, вскричал комбриг. — Вы неопытны и не понимаете азбучных истин! Бездействие, как и безделье, разлагает армию! Пока прибудет пополнение и техника, мы стоим, возможно, по менее

полтора-двух месяцев. Вы, что же, так и будете погоду пивать? Да вы мне весь батальон разложите!.. С завтрашнего дня, — приказал он, — каждое утро два часа строевой подготовки со всем личным составом! И три часа занятий по уставам и по тактике — ежедневно!..

В глубине двора послышался резкий неприятный скрип: створка ворот стоящей на задах большой риги приоткрылась и оттуда, из темноты появился лейтенант Карев — повоепечный командир роты, третий из уцелевших офицеров батальона. Ну падо же было ему в эту минуту вылезти! Долгоногий, худошавый юноша, он в одних шароварах стал на траве, жмурясь от яркого солнца и не видя нас, с удовольствием потянулся вверх руками, улыбаясь и выпнув грудь.

— Потягушеньки! — сдерживая негодование, с язвительной насмешливостью произнес подполковник. — Это просто кино! — яростно воскликнул он. — А план действий на случай нападения противника у нас есть?! О боевом обеспечении вы позаботились?..

Витька, засопев, одарил меня исподлобья мгновенным бешеным взглядом; злой желвак перекатывался на его похуделой щеке.

— Я вас спрашиваю обоих, — повторил подполковник, — о боевом обеспечении вы позаботились?!

— Я, т-товарищ подполковник, п-понимаю... — начал я, но тут же умолк.

— Плана нет, — со свойственной ему прямоотой без обиняков сказал Витька угрюмо. — И боевого обеспечения тоже. Это безответственность и мой недосмотр. Я за это отвечаю.

— Я педоволен вами! — властно и зло объявил Витьке подполковник (эти три слова выражали у него крайнее неодобрение) и немного погодя обратился ко мне: — Вот вы развлекаетесь, а допесения, требуемые по выходе из боя, отправлены?.. Похоронные заполнены? Списки потерь составлены?

Чувствуя себя крутом виноватым, я, потупясь, молчал.

— Даю вам час времени, — сообщил нам подполковник. — Выставить охранение, навести порядок и доложить!

И после короткой паузы продолжал:

— Создайте людям все условия. Обед сегодня по усиленной раскладке. Получить и выдать всему личному составу по сто граммов водки. Но никаких пьянок и никаких жещиц!..

Он вскинул руку к фуражке и вместо ожидаемого обыч-

ного «Выполняйте!», уже поворачиваясь и отходя, приказал:
— Отдыхайте!

Мы с Витькой, не двигаясь, наблюдали, как он быстрым и твердым шагом подошел к машине, сел, и тотчас «виллис», набрав скорость, покатился и скрылся за поворотом.

Витька перевел взгляд, посмотрел на меня, на томик Есенина в моей руке и буквально дрожа от ярости, бешено выдохнул:

— Сюсюк!!!

И возмущенно, с непередаваемым презрением выкрикнул то, что уже не раз гонорил мне, когда я читал стихи и упускал что-либо по службе:

— Пи-я-ижонство!.. А также гнилой сентиментализм!..

2

Минут десять спустя я сидел за столиком в саду и торопливо составлял требуемые документы. К сожалению, я почти не знал батальонного делопроизводства и к тому же с детства испытываю неприязнь ко всякому письму. Но оба писаря были убиты и по необходимости мне предстояло несколько дней самой упорной писанины.

Прибыли вызванные по тревоге командиры подразделений — старшина-артиллерист и четверо сержантов, — подошел и лейтенант Карев. Не отрываясь от бумаг, я сообщил, что необходимо немедленно выставить охранение, представить отчетность по трем формам, а также выделить наряд на полевую кухню и послать машину на бригадный обменный пункт. Как я и ожидал, они начали спорить меж собой и препираться: в одной роте осталось четырнадцать человек, а в другой лишь пять, из них двое раненых; люди отсыпаются, моются, стирают и суют обмундирование и так далее и тому подобное. Начался шумный разговор, но Витька привскочил, и все мгновенно умолкло.

Он брлся, стоя у машины, поглядывая в зеркальце и напевая про себя, вернее, мыча мотив какого-то воинственного марша, что было у него признаком дурного настроения. Я чувствовал себя перед ним виноватым и, составляя документы, спешил и старался повсюду.

Мне он не сказал больше ни слова, но его ординарцу Семепову — ушлому, редкой смелости, однако бесцеремонному бойцу — крепенько попало. Поставленный часовым возле штабной машины, Семепов вздумал грызть яблоки. В другой день Витька не обратил бы на это внимания, но

гут он с чувством высказал Семенову все, что о нем думал, и пригрозил, что заставит «месяц на кухне картошку чистить».

Отдав необходимые приказания, я отпустил командиров подразделений и снова занялся донесениями, когда послышался звонкий приятный голосок, певший по-польски, и я не без волнения увидел ту самую девушку, что уже видел мельком в орешнике на берегу.

Она шла тропинкой через сад, раскачивая в руке плетную корзинку, ловко и грациозно ступая маленькими загорелыми ногами — как бы чуть пританцовывая — и, словно не замечая нас, пела что-то веселое.

Витька — он копчал завтракать, — опустив руку с куском хлеба, смотрел на девушку как зачарованный.

— Кто это? — прожевывая, с некоторой растерянностью спросил он Семенова, как только она скрылась за углом хаты. — Семенов, кто это?

— Как кто? — обиженно сказал Семенов. — Хозяйкина дочь...

— Ясен вопрос, — медленно проговорил Витька и, появившись по его лицу и по голосу, какое впечатление произвела на него маленькая полька, я не на шутку огорчился.

Дело в том, что он был старше меня, несравненно моложе и представительнее; он уже знал женщин и, более того, считал себя — да и мне казался — бывалым и лхим сердцем.

— Города берут смелостью, — серьезно и значительно говорил он, — а женщины — пахальством.

При этом у него делалось такое лицо, словно он сподобился постичь что-то настолько таинственное и необъяснимое, чего ни мне, ни другим понять никогда не суждено.

Не знаю, где он это услышал, у кого позаимствовал, но он так говорил, и я тогда в это верил.

Теперь-то, спустя многие годы, мне совершенно ясно, что Витька не был бабником, да и пахальничать, наверно, не умел — это не соответствовало его характеру; просто легкий успех у двух-трех одиноких женщин, встреченных им на дорогах войны, вскружил ему голову и породил излишнюю мужскую самоуверенность. Но тогда я всего этого не понимал и, убежденный в его неотразимости и несколько не сомневаясь, что в любом случае ему будет отдано предпочтение, помылся, болезненно огорчился, заметив впечатление, произведенное на него девушкой, которая мне так понравилась.

С хмурым лицом подписав уже готовое донесение, он по моей просьбе расписался еще на нескольких листах чистой бумаги, чтобы я и без него мог отправить наиболее срочные документы, и ушел в подразделения.

Вернулся он через несколько часов, уже после полудня. Все это время я, не разгибаясь, сидел над бумагами, по неопытности путаясь и переписывая документы, затем наконец отправил два донесения с мотоциклистом в штаб бригады и, получив в ответ приказание немедленно представить отчетность еще по пяти формам, а также довести «о всех мероприятиях по маскировке, сохранению военной тайны, ПВО, ПХЗ¹ и ПТО²», пришел в совершенное отчаяние. Та нескончаемая писанина, которая одолевает штабы, когда часть выводят из боя, и с которой в батальоне еле справляются три-четыре человека, навалилась на меня одного со всей своей силой и неутомимостью. С непривычки отпиралась рука, болела и плохо соображала голова, я чувствовал, что не справлюсь, но сделать ничего было нельзя — любому бойцу или сержанту, кого я захотел бы привлечь себе в помощники, потребовался бы допуск к секретной работе; Витка же и Карев были заняты с людьми в батальоне.

В душе несомненно завидуя им и мечтая поразмяться: побродить с одноклассником во ржаках за деревней или поплавать, позагорать на речке, — я сидел как привязанный и писал, мучаясь и многое переделывая. Между тем Зося — так звали маленькую польку, — помогая матери, возилась по хозяйству. Ее ясный голосок слышался то у хаты, то на огороде, то совсем близко за моей спиной или где-нибудь сбоку.

Каждый раз, когда она, напевая и ловко уклоняясь от веток, проходила или пробегала через сад у меня перед глазами, я непроизвольно смотрел ей вслед и, проводив взглядом ее легкую фигурку, давал себе слово больше не отвлекаться и не обращать на нее внимания; однако спустя некоторое время она появлялась опять, и все повторялось.

Ее мать, папи Юлия, седоволосая, лет сорока пяти жепщина, с моложавым, добрым лицом и припухлыми усталыми глазами, стирала в тазу у хаты; затем они обе ушли на огород, откуда доносились их негромкие голоса: живой и веселый — Зоси и медленный глуховатый — матери.

¹ Противохимическая защита.

² Противотанковая оборона.

В полдень папи Юлия принесла мне чуть ли не полную крышку парного тепловатого молока и, что-то сказав, поставила на стол. Я поблагодарил заученным «бардэо дзешкую» и, когда она ушла, с удовольствием выпил часть, оставив большую половину Витьке.

Он вернулся веселый и, как всегда, полный энергии и жажды деятельности. Приветливый — словно утром ничего не произошло и комбриг не ругал его по моей вине, — он подошел ко мне и выложил на стол два спелых желтоватых яблока — видно, кто-то угостил его, а он принес мне. Пока я их ел, он, присев рядом на корточки, с увлечением рассказывал, какой богатый обед удалось организовать на батальонной кухне, и посмеялся, что кое-кто даже не пришел обедать — так хорошо здесь с продуктами и столь надоели бойцам котловое вариво.

Тут же он предложил приготовить свое любимое блюдо — пельмени по-сибирски, — живо поднялся и послал Семенова на мотоцикле раздобыть муки и мяса, а сам, смахнув пыль с сапог, пошел в хату знакомиться с хозяевами.

Минут через пять я увидел его на дворе возле поленицы, — скинув ремень и гимнастерку, он колот дрова.

С малолетства привычный ко всякой крестьянской работе, ловкий, широкогрудый, обладая медвежьей, без преувеличения, силой, он легко и скоро разделался с небольшим штабелем — как семечки пощелкал — и помог папи Юлии уложить наколотые ровными четвертинками поленица. Потом в ожидании Семёнова какое-то время сидел на виду во дворе и, тихонько пощипывая струны, сосредоточенный и важный, любовно настраивал свою гитару.

Это была его гордость и очень дорогая игрушка — захваченная в немецком генеральском блиндаже, пикирующая перламутром роскошная концертная гитара, изготовленная собственноручно знаменитым венским мастером Лео-польдом Шенком, чье имя и фамилия вместе с тремя призовыми медалями были выведены золотом на нижней деке, в провале голосника.

Витька болезненно дорожил этим редкостным по красоте и звучанию инструментом и даже приятелям неохотно давал в руки, что не раз служило поводом для товарищеской подначки. Во время боев гитара хранилась на складе хозяйства батальона в специальном футляре, под замком, обернутая еще поверх для пущей предосторожности трофейными одеялами.

Я слышал, как подъехал Семёнов и как Витька одобрил

привезенное им мясо. Когда примерно через час я отправился к хате, чтобы подписать документы, стряпня была в полном разгаре.

Пани Юлия готовила салат из огурцов и редиски со сметаной, а Витька и под его руководством Семенов и Зося дружно и споро делали пельмени. На широкой кафельной плите уже что-то тушилось или жарилось.

Зося раскатывала нарезанное маленькими кружочками тесто в крохотные тонкие блинчики, а Семенов во второй или третий раз — для большой нежности — пропускал фарш через мясорубку.

Витька же, с головой, покрытой вместо поварского колпака чистым носовым платком, успевая приглядывать за помощниками, поправлять, потираливать и подбадривать их, выполнял самые трудные и ответственные операции: кончиком финки проворно клал небольшие кусочки фарша на раскатанные блинчики, затем, подготовив таким образом несколько рядов, быстрыми спортивными пальцами мгновенно защищывал края.

Я не стал заходить в хату; Витька, прямо на подоконнике подписав принесенные мною документы, поинтересовался:

— Еще много?

— Хватит, — промолвил я, уголком глаза незаметно наблюдая за старательными движениями Зосиных рук.

— Ты давай, закругляйся! — распорядился он и, посмотрев на часы, с шутилой официальнойностью объявил: — В шестнадцать тридцать — обед по усиленной раскладке. Форма одежды — парадная; явка офицерского состава — обязательна! — он весело приложил руку к носовому платку на голову. — Выполняйте!..

3

Я пришел последним, когда в большой, сравнительно прохладной комнате, за столом, по-праздничному уставленным едой и питьем, уже сидели и хозяева и гости. Кроме Карева, Семенова и меня, приглашены были, надо полагать хозяйкой, еще трое — худой, с тонким орлиным носом, вполуми, как у запорожца, усами и светлыми на загорелом лице глазами старик Стефан — двоюродный брат пани Юлии, и две женщины: рыжевато-седая, шулыбчивая соседка, за весь обед не сказавшая и пяти, паверное, слов и посматривавшая на нас недоверчиво, с очевидной пасторожностью,

и Ванда, молодая, красивая, с подбритыми бровями, сильным телом и высокой торчащей грудью.

Витка чинно помещался во главе стола. Возле него сидели с одного боку пани Юлия, а с другого — Стефан. Когда я вошел, старик рассказывал, как невесело и трудно жилось при немцах. Хотя наведывались они в Новы Двур не часто, но внезапно и довольно опустошительно: рысая по хатам, ригам и погребам, забирали вещи и некоторые продукты; год тому назад, оцепив неожиданно деревушку, угнали всех мужчин от 17 до 55 лет, а отступая, увели лошадей — нещадно, до единой.

Последствия этого недавнего мародерства тревожили Стефана, пожалуй, более всего.

— Что делать, а?.. — озабоченно спрашивал он у Витки. — Ни землю вспахать, ни дров привезти, что же теперь — капут?..

Он свободно с незначительным акцентом говорил по-русски, нередко и к месту употребляя простонародные речения, старые присловицы и прибаутки. Как далее я узнал, многие годы он служил солдатом в царской армии, воевал еще с японцами в Маньчжурин, а спустя десять лет — и с немцами, где-то в Галиции. Слушая, он тут же с ходу переводил; разговор за столом велся в основном с его помощью.

Я сел на свободное место между Стефаном и молчаливой полькой; напротив меня оказались Карев и Зося.

Она была в нарядной дветастой блузке с короткими рукавами; у шеи, в небольшом вырезе виднелась топкая серебряная цепочка, на каких носят нательные крестики. Впрочем, и блузку и цепочку я разглядел позднее: первое время — до того, как немного охмелеть, — я и глаз на Зосю не решался поднять.

Стол по военному времени был обильный и весьма аппетитный: тарелки с салатами и огурцами; вазочки, полные сметаны; два блюда с розоватыми, веером разложенными ломтиками сала; большущая, только что снятая с плиты сковорода молодого тушеного картофеля; горки щедро нарезанного, нашего армейского, а также хозяйкиного, невешенного, домашней выпечки, светлого и пышного хлеба. Еще предстояли пельмени, придерживаемые Виткой как гвоздь обеда.

И питья гоже хватало: графины с бимбером — ароматным и очень крепким польским самогонем, пол-литра водки, получашной Семеповым на нас четверых, и высокие бутылки с коричневатой пенистой брагой.

На комодѣ за спиной Карева торжественно покоилась великолѣпная Витькина гитара; чуть выше на стѣнѣ висѣло несколько фотографий, причемъ я обратилъ вниманіе на двѣ большіе, одинаковаго размера карточки чем-то весьма похожихъ мужичи — юноши и пожилого — в польской военной формѣ.

Витька палил бимберъ в стаканы себѣ и Стефану и, передавъ графинъ Кареву, плеснулъ мнѣ в рюмку немного водки, замѣтивъ при этомъ вскользь, что я не совсемъ здоровъ.

Это было неверно. Просто я не любилъ, да и не умѣлъ пить, и онъ наперняка побаивался, что я опьянею.

— За освобожденіе Польши! — поднимаясь со стаканомъ в руку, провозгласилъ онъ затемъ.

Мы выпили и принялись закусывать.

Я проголодался, но, чувствуя себя несколько стесненно, ел маленькими кусочками, медленно и осторожно, стараясь не чавкнуть и правильно держать вилку, от которой совсемъ отвыкъ.

Стефанъ продолжалъ рассказывать, какъ имъ жилось при немцахъ, какъ ихъ обирали. Витька, съ аппетитомъ уминая тушеный картофель, слушалъ его, не перебивая, но, думается, и безъ особаго сочувствія: мы прошли Смоленщину и Белоруссію — порушенные города и спаленные дотла деревни, гдѣ в целой округѣ не то что коровы, но и кошки живой не сыщешь; мы видели такое страшное опустошеніе и обнищаніе, после которыхъ Польша, да и Западная Белоруссія, какъ бы она ни пострадала, могли насъ только удивлять и радовать своимъ сравнительнымъ достаткомъ.

Витька не терпѣлъ, чтобы его называли «панъ», какъ это принято в Польшѣ, и здѣсь онъ уже успѣлъ провести разъяснительную работу: Стефанъ, обращаясь къ нему или къ кому-нибудь изъ насъ, говорилъ «товарищъ офицеръ» или же просто «товарищ».

Не знаю, подействовало ли на меня то небольшое количество водки, но, выпивъ затемъ в два приема еще около стакана браги и почувствовавъ себя чуть свободнее, смелее, я началъ вскоре украдкой поглядывать на Зосю.

Нѣтъ, я не обманулъся, мнѣ ничуть не пригрѣзилось... Все было плѣнительно в этой маленькой девушкѣ: и прѣкрасное живое лицо, и статная жемчуженная фигурка, и мелодическій звукъ голоса, и темно-зеленыя сияющіе глаза, и то радужное и вопрошающее любопытство, с какимъ она смотрѣла на насъ.

Держалась она непринужденно и просто, какъ и подобаетъ хозяйкѣ. Помогая матери, угощала гостей, бегала в кухню

за посудой, улыбалась и, чтобы поддержать компанию, даже пригубила бимбера — поморщилась, по глотнула. Потом, не скрывая заинтересованности, внимательно вслушивалась в русскую речь Стефана, будто старалась постичь, о чем он говорит и какое впечатление производят на нас его слова, не упуская при этом милым женским движением поправлять густые и непослушные каштановые волосы.

Иногда наши взгляды на мгновение встречались, и с певольным трепетом я ловил в ее глазах поощряющую приветливость, ласковость и еще что-то, волнующее, необъяснимое, причем мне подумалось, что до этой минуты никто и никогда не смотрел на меня так...

Карев, сын какого-то ленинградского профессора, самый из нас учтивый и предупредительный, успевал галантно ухаживать за женщинами: подкладывал им на тарелки закуску, предлагал хлеб и наливал брагу в стаканы. По-наблюдав, я решил последовать его примеру и, поддев большой ложкой горстку салата, хотел положить на тарелку Ванде, но она поспешно и весело воскликнула: «Дзенькуе! Не!..»¹ — подкрепив отказ энергичным жестом; на меня посмотрел, и, в смущении зацепив рукавом высокую вазочку со сметаной, я едва не опрокинул ее, тут же дал себе слово больше не вылезать.

Витька обычно легко сходился с людьми, особенно простыми, а тем более с крестьянами. И здесь, спустя полчаса, выпив не один стакан бимбера, он уже обращался к Стефану přátельски, на «ты», дымил вместе с ним забористым самосадам, звучно смеялся, шутил и называл его доверительно, по-свойски — Стопа.

Используя свое крайне скудное, как и у всех нас, знание польского языка — десятка три-четыре слов, — Карев пытался разговаривать с Зосей. Она слушала его с веселой, чуть лукавой улыбкой, смеялась неверному пропалошепию, быстро и озорно что-то переспрашивала, и он, почти ничего не понимая, приподняв плечи, весьма комично выражал на лице преувеличенное недоумение и разводил руками.

Витька через Стефана тоже несколько раз обращался к Зосе со всякими пустячными вопросами, явно желая завязать беседу и познакомиться поближе; без удовольствия наблюдая за всем этим, я решил, что мне также надо обязательно с ней заговорить.

Я полагал даже, что имею некоторое преимущество.

¹ Спасибол! Не хочул!.. (польск.)

У меня в кармане лежал полученный только что из штаба бригады в одном-единственном экземпляре «Краткий русско-польский разговорник», который, очевидно, должен был облегчать общение с местными жителями, и, признаться, я возлагал немалые надежды на эту крохотную, размером с удостоверение личности, книжницу.

Достав ее потихоньку из кармана и поместив незаметно на коленях, я исподволь просмотрел все от начала и до конца. В ней было свыше тридцати коротеньких разделов, и, кажется, были предусмотрены все возможные случаи не только на земле, но и на воде или в воздухе. Я мог, например, без малейшего труда и промедления осведомиться о столь различных вещах: «Знаете ли вы, где скрываются оставшиеся немецкие солдаты и офицеры?.. Скажите, известно ли вам, где немцы заминировали местность?.. Прошу быстро показать, на каком пути стоят цистерны с горючим?..» Или: «Можно ли перейти реку вброд?.. Где?.. Могут ли переправиться танки?.. Сколько сброшено парашютистов?.. Где приземлялись планеры?..»

Ну к чему мне была в тот час вся эта опросная лабуда?..

Из всех разделов наиболее соответствовал моему стремлению предпоследний — «Разговор на общие темы». К великой досаде, в нем оказалось всего лишь пятнадцать фраз, из них самыми немвоенными и человеческими были: «Здравствуйте!.. Благодарю вас!.. Как вас зовут? (Но я с утра знал, что ее зовут Зося...) Пожалуйста, закурите... (Еще не хватало, чтобы я предложил ей закурить!) Как истинный поляк вы должны нам помочь в борьбе против нашего общего врага — немца... Где находится ближайшая аптека (больница, баня)?..»

Обескураженный, я спрятал книжечку в карман, сказав самому себе, что обойдусь и без нее.

Стефан — слушал ли он или говорил — своими умными с хитрой улыбкой глазами внимательно присматривался к нам, как бы желая определить, что мы, «радецкие», за люди, насколько изменились русские за три без малого десятилетия с тех времен, когда он служил в царской армии, и, наверно, более всего хотел бы разведать и уяснить, чего от нас следует ждать?

Слегка, приятно опьянев и ободренный к тому же Зосиной приветливостью, я начал поглядывать на нее чуть длительно, как вдруг она мгновенно осадил меня: посмотрела в упор, строго и холодно, пожалуй, даже с оттенком горделивой надменности.

Ошеломленный, я не представить себе не мог причины подобной перемены. Да что я такого сделал?.. Неужто позволил лишнее?..

А может, это была та самая игра, какую подсознательно уже многие века и тысячелетия ведет слабая половина рода человеческого с другой, более сильной?.. Не знаю. Если даже и так, то я в ту пору был еще слишком робок и неопытен, чтобы принять в ней участие.

Я терялся в догадках, впрочем, спустя какую-нибудь минуту Зоя взглянула на меня с прежней вежливостью и радушием, и я тотчас внутренне ожил и ответно улыбнулся.

Вскоре я заметил или мне показалось, что она поглядывает на меня чаще, чем на Витьку или Карева, и как-то особенно: ласково и выжидательно — словно хочет со мною заговорить либо о чем-то спросить, но, по-видимому, не решается. И всем существом своим я внезапно ощутил смутную, но сладостную надежду на вероятную взаимность и начало чего-то нового, значительного, еще никогда мною не изведанного. Я уже почти не сомневался: между нами что-то происходило!

Хмель развязал понемногу языки и растопил некоторую первоначальную сдержанность. Вада, чему-то про себя усмехаясь, довольно откровенно поглядывала на Витьку, что было с ее стороны безусловной ошибкой: по Витькиному убеждению наступать полагалось мужчине, а женщинам следовало только обороняться; к тому же он не признавал в жизни ничего легкого, достигающегося без труда и усилий.

Я снова поймал на себе загадочно-непонятный, но вроде бы выжидательный взгляд Зои и буквально через мгновение ощутил легкое, как мне показалось, не совсем уверенное прикосновение к своему колену — у меня перехватило дыхание, а сердце забилось часто и сильно.

Надо было действовать! Не теряя времени, немедленно!

«Смелостью берут города... — подбодрил я себя. — Не будь рохлей!.. Ну!..» И с внезапной решимостью я двинулся вперед погу. В тот же миг Карев поморщился от боли — у него осколком была задета коленная чашечка — взглянул под стол и, ничего не понимая, вопросительно посмотрел на меня.

Я сидел, сгорая от конфуза, но Зоя, кажется, ничего не заметила, а если и заметила, то виду не подала. Немного погодя она что-то сказала Стефану, и он, улыбаясь, обратился ко мне:

— Товарищ молится богу?

— Нет, почему? — удивился я.

— Зоська говорит, что товарищ на речке молился.

Так вот что ее интересовало! Только-то и всего?!

— Это не молитва... — Я покраснел и опечалился. — Совсем...

— Это стихи, — услышав и сразу сообразив, пояснил Витька и огорченно, с укоризной посмотрел на меня. — Вот видишь...

Было бы неверно сказать, что Витька не любил поэзию, — он просто не понимал.

— Чуть! — например, от души возмущался он. — Да где он видел розового кося?! Я же сам из крестьян! Навыдумывают черт-те что!

Стефан, должно быть, по эпил или позабыл, что означает слово «стихи» и, повторив его медленно вслух, недоуменно пожал плечами.

— Ну, Пушкин... — еще более смутясь, проговорил я.

— А-а-а... — Он улыбнулся и сказал что-то Зосе.

Витька же, не упустив случая, заявил, что церковь — это опium и средство угнетения трудящихся и что с религией и с богом у нас в основном покончено. Если где и остались еще одиночные верующие, то это темные неосознательные старики, отживающие элементы, а молодежь-де такой ерундой не занимается, и девушка вроде Зоси — он показал на нее взглядом — постыдилась бы носить на шее цепочку с крестом...

Кажется, он не сказал ничего обидного, но как только Стефан перевел, произошло неожиданное: Зося, вспыхнув, пламенно залилась краской, ее нежное, матово-румяное лицо в мгновение сделалось пунцовым, глаза потемнели, а пушистые цвета каштана брови задрожали обиженно, как у ребенка.

Я даже не без страха подумал, что она вот-вот расплчется, но она, с гневом и презрением посмотрев на Витьку, вдруг энергичным движением вытащила из-за пазухи цепочку с католическим крестиком и вывесила его поверх блузки, скинув голову и с явным вызовом выпятив вперед грудь.

В ее лице, осанке и взгляде выразилось при этом столько чувства, столько негодования, гордости и нескрываемого презрения, что Витька подрастерялся. Бодливо наклоня голову, он посмотрел на меня, затем на Карева, словно ища поддержки или призывая нас в свидетели и как бы желая во всеуслышание заявить: «Вы видите, что она вытворяет?!».

Пани Юлия быстро, умоляющим голосом о чем-то просила Зосю, и Стефан, дахмурясь, тихо, но твердо сказал ей несколько слов, очевидно, предлагая спрятать крестик, однако Зося, пунцово-красная, разгневанная, уставясь прямо перед собой, сидела, не двигаясь, только изволнованно поднималась маленькая грудь.

В напряженной тишине угрожающе сошел Витька, и, зная его, я, конечно, поппмал, что стерпеть подобную демонстрацию и промолчать, он будет просто не в состоянии.

— Кстати, у нас, в Советском Союзе,— вдруг послышался голос Карева,— свобода вероисповедания! И чувства верующих уважаются государством!

Он сказал это ни к кому, собственно, не обращаясь, отчетливо и так громко, словно выступая перед большой аудиторией. Витька исподлобья посмотрел на него, сосредоточенно соображая, вероятно, смекнул, что в данном случае не следует выставлять принцип и что лучше уступить, и, наконец, пересилив себя, заговорил со Стефаном о хлебах.

Спустя буквально минуту он, словно ничего и не было, радушно беседовал с пани Юлией и Стефаном и даже улыбался, однако Зося успокоилась и отошла еще не скоро. Напрасно Карев старался отвлечь ее, рассмешить или как-то расшевелить — она сидела все еще оскорбленная, молчаливая и строгая, не замечая Витьки или во всяком случае не глядя в его сторону. Прошло порядочно времени, прежде чем она несколько смягчилась и начала улыбаться, однако крестик так и не убрала — он по-прежнему висел поверх блузки.

Между тем Витька, сварив в крепком мясном бульоне пельмени, сам разложил их на тарелки и показал, как надо их есть, хорошенько полив сделанным им по особому рецепту острым соусом из уксуса и горчицы. Готовил он необычайно вкусно, а пельмени по-сибирски были его коронным блюдом и не удивительно, что, отведав, и пани Юлия и гости отметили его кулинарное искусство и довольно быстро опустошили два больших блюда. Мне очень нравилась Витькина стряпня, и, наверно, я тоже съел несколько штук, но точно не знаю — в тот час мне было не до пельменей.

Все это время я то и дело поглядывал на Зосю, впрочем, думается, не больше, чем на Стефана или пани Юлию. Только на них я смотрел, не стесняясь, преимущественно по необходимости, для маскировки, а на Зосю — украдкой, как бы мимоходом и невзначай, млея от нежности и затаенного восторга.

Даже когда я не смотрел на нее, я каждый миг ощущал ее присутствие и не мог думать ни о чем другом, хотя пытался прислушиваться к разговору, улавливал отдельные фразы и даже улыбался, если рядом смеялись.

Со мною творилось что-то небывалое. Еще никогда в жизни я не испытывал такого волнения при виде девушки или женщины, хотя влюблялся уже не раз, причем впервые, когда мне было всего пять или шесть лет и моей «написи» примерно столько же. Последний же предмет моих сокровенных вздыханий, сапитарка из соседнего батальона Оленька, была в начале наступления тяжело ранена и находилась где-то в тыловом госпитале, ничуть и не подозревая о моих чувствах.

Тогда, в юности, я частенько говорил стихами, справедливо полагая, что очень многие мысли и желания выражены поэтами несравненно лучше, ярче и точнее, чем это удалось бы мне. И сейчас в голове моей неотвязно вертелось:

Дорогая, сидим рядом,
Поглядим в глаза друг другу...

Ах, если бы я смел сказать это Зосе, если бы я только мог и умел!..

Разговор по-прежнему велся главным образом между Витькой и Стефаном — хозяйственный, по-крестьянски обстоятельный и во многом непопятный для меня или Карева — о землях и пахоте, об урожаях, нагонах и кормах. Беседовали они спокойно и неторопливо, пока Стефан не заинтересовался тем, о чем нас уже спрашивали и в других деревнях: будут ли в Польше колхозы и правда ли, что всех поляков станут переселять в Сибирь?

Витька — он был родом из-за Омска, — как и обычно в таких случаях, ужасно обиделся и оскорбился.

— Ты, Степа, говори, да не заговаривайся! — сбывчась, рассерженно воскликнул он. — С чужого голоса поешь! Тебе Сибирь что — место каторги и ссылки?! Ты ее видел?.. Из окошка? Проездом?.. Да я свою Михайловку на всю вашу округу не променяю! — потемнев от негодования, запальчиво вскричал он. — На всю вашу Европу!.. С чужого голоса поешь! От немцев нахватался?! Позор!.. Я ая такие байки любому глотку порвать могу — учти!..

Стефан — он был заметно под хмельком, — ошарашенный столь внезапным оборотом до того спокойного и дружелюбного разговора, приложив руку к груди, растерянно бормотал «шешепрашам папъства» и, как мог, извинялся. Остальные

притихли, причем Зося с откровенной неприязнью смотрела на Витьку. Ощущая немалую неловкость, я тоже молчал, и снова находчиво и удачно вмешался Карев:

— Давайте выпьем за Михайловку, — весело предложил он, доливая в стакан Стефану, — и за Новы Дуры!

Я уже достаточно опьянел, но попытаться заговорить с Зосей все никак не решался. Для смелости требовалось еще, и неожиданно для самого себя, взяв у Карева графин, я наполнил бимбером свой стакан из-под браги.

Витька, все еще нахохленный после разговора о колхозах в Сибири, посмотрел на меня с удивлением и очевидным недовольством, хотел что-то сказать, но засопел и промолчал.

До того для мне никогда не доводилось выпивать сразу столько водки, а тем более неразбавленного самогона, и делать это, разумеется, не следовало. Однако меня подзадорило высказанное ранее Стефаном замечание, что, дескать, немцы слабоваты против нас — пьют крохотными рюмками — на меня повлияло и присутствие Зоси, и стремление обрести наконец смелость, необходимую, чтобы заговорить с ней. Недовольство же Витьки показалось мне явно несправедливым — да что, в самом деле, я хворый, что ли?

Впрочем, отступить было уже невозможно; я с небрежным видом — мол, подумаешь, эка невидаль! — поднял стакан и, улыбаясь, бодро посмотрел на Стефана и пани Юлию: «Сто лят, папове!..» Запомнилось, что пани Юлия глядела на меня задумчиво и грустно, подсерев щеку ладонью, совсем как это делала моя бабушка.

Я знал понаслышке, что такое бимбер, и все же не представлял, сколь он крепок — настоящий горлодер! Я ожегся и поперхнулся первым же глотком, в глазах проступили слезы, и, с ужасом чувствуя, что вот сейчас окопфужусь, я, еле превозмогая себя, умудрился выпить все без остатка и, лишь опустив стакан и заметив, что на меня смотрят, заметив внимательный и вроде насмешливый взгляд Зоси, закашлялся и покраснел, наверно, не только лицом, но даже синицей и ягодицами.

Мне сразу сделалось жарко и неприятно; я сидел стесненный, ощущая ядреный самогон не только в голове, но и во всем теле, ничего не видя и не замечая малосольный огурец и кусок хлеба, которые совал мне сбоку Стефан, папававший при этом:

Мы млодз, мы млодз,
Нам бимбер не зашкодан

Венц пеймы го шклянками,
Кто з памі, кто з памі!..¹

Через несколько минут я понял, что совершил непоправимое — и дернула меня нелегкая выпить эту свирепую гадость! Я пьнул стремительно и неотвратимо; все вокруг затягивало прозрачной пеленой — и стол и лица людей я видел уже как сквозь воду.

Снова вытащив разговорник, я начал его листать, однако вспомнил, что он бесполезен, и сунул назад в карман. В голове слегка шумело и путалось, по одна мысль ни на мгновение не оставляла меня: я должен — во что бы то ни стало! — заговорить с Зосей.

Я все-таки соображал, что она меня не поймет, и, поворачиваясь, крепко взяв Стефана за руку — чтобы привлечь его внимание — и, сжимая ему ладонь, требовательно сказал:
— Просту вас — переведите!

Затем, постучав кулаком по столу, прикрикнул на всех: «Минутку!» — и для внушительности строго уставясь Стефану в лицо и стискивая ему руку, громко, должно быть, чересчур громко продекламировал:

Дорогая, сядем рядом!
Поглядим в глаза друг другу!
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу!

Стефан и рта не успел раскрыть — недоумело улыбаясь, он смотрел на меня, — как слева оглушительно захохотал Семепов, и еще кто-то засмеялся.

— Сюсюк! — тотчас услышал я над ухом разгневанный голос Витьки. — Даже пить не умеешь! Погоны позоришь и Советский Союз в целом!.. Проводить тебя?!

— Не-е-ет! — замотав головой, громко и решительно заявил я.

Мне теперь и море было по колено. Я смотрел на Зосю, но уже не видел отчетливо: ее лицо двоилось, плясало, расплывалось, а мне было жарко и худо, спустя же какие-то полминуты начало основательно мутить.

Я поднялся и, удерживая равновесие, пошатываясь и на что-то патыкаясь, двинулся к дверям.

Карев догнал меня в сенях и, полуобняв, вывел на крыль-

¹ Мы молоды, мы молоды,
Пам бимбер не повредит.
Так пьем же его стаканами,
Кто с памі, кто с памі!.. (польск.)

цо, но мне это не понравилось, и я выпернулся, оттолкнув его.

— Я провожу вас...

— Не-ет! — сердито закричал я. — Сам!

И он послушно ушел.

Я постоял на крыльце, с облегчением вдыхая свежий воздух, обиженный на все и на всех, затем решил: «А пу их к черту!» — шагнул и полетел со ступенек вниз, больно ударясь обо что-то лицом.

Потом я оказался на задах, у риги, и Семенов — это был он, — держа меня под руку, презрительно говорил:

— Эх, пазола! Всю рожу ободрал...

Он пригнул мою голову книзу, сунул мне в рот свои пальцы и, когда меня вырвало, вытирая руку о голенище, наставительно сказал:

— Газировочку падо пить. И не больше стакана — штаны обмочите...

* * *

Я очнулся поздним вечером в душной риге на охатке сена. Левая створка ворот была распахнута, и прямо перед моими глазами тихая нежная луна низко стояла над садом, а дальше, разбросанные в темно-синем небе, искрясь, трепетали десятки звезд.

Совсем рядом, чуть ли не задевая меня хвостами и тиховько повизгивая, возлились, играя, какие-то собаки — три или четыре, — не обращая на меня ни малейшего внимания. Во рту было противно, голова разламывалась от боли, а руки, шея, лицо и даже тело под гимнастеркой и шароварами отчаянно чесались и горели — я весь был искусан блохами.

Откуда-то издали доносилось запоздалое пение одинокого соловья, а около хаты слышались звуки Витькиной гитары, шарканье ног, веселые голоса и смех.

Играл Витька, откровенно сказать, плохо. Как правило, его умение сводилось к довольно заурядному и почти однообразному аккомпанементу, правда, он это объяснял тем, что гитара-то шестиструнная, а он, мол, привык к отечественной — семиструнной. Да и пел он средние, без особого таланта, но я его любил, и, должно быть, поэтому мне нравилось.

Сейчас он не пел, а брел чей-то похожий на вальс — там, возле хаты, танцевали. И Зося тоже, наверное, танце-

вала; собственно говоря, а почему бы и нет?.. Там, несомненно, было весело; и ей, очевидно,— тоже. Ну и пусть, и пусть...

Не жалею, не зову, не плачу,—

убеждал я самого себя.

Все пройдет, как с белых яблонь дым...

Я лежал, прислушиваясь к смеху, шарканью и голосам, и мучился не только душевно: алые неумемные блохи жилили меня, жгли как огнем.

Немного погодя в ригу, чуть прихрамывая и нетвердо ступая, пришел Карев. Он присветил фонариком и, увидев меня, необычным полупьяным голосом заговорил:

— Вы не спите?.. Пойдемте на воздух — здесь полно блох. Вас не кусают?

Я был нещадно пскусан, но чувство обиды и противоречия еще не совсем оставило меня.

— Нет! — ощущая сильнейшую головную боль, упрямо сказал я. — Никуда я не пойду.

Карев, обычно молчаливый, подвыпив, сталовился словоохотливым и сейчас, взяв с сена слою шинель и встряхнув ее, продолжал:

— А какой все-таки молодчага пащ командир батальона! Простоват, по орел — орлом!.. Великая это вещь — обаяние силы! Вы заметили: они все смотрят на него восторженно и влюбленно!

— Так уж все?

— Клянусь честью — и старые и молодые! А со Степой он дважды целовался... Молодчага я хват,— воскликнул Карев восхищенно, — ничего не скажешь! Одного лишь бимбера выпил больше литра, и как стеклышко!.. А я вот еле держусь... И вы знаете, он бесконечно прав: женщинам нравятся сильные и рошительные! До наглости самоуверенные, идущие напролом!.. А вот мы с вами слишком интеллигентны, чтобы пользоваться успехом... Никчемная интеллигентность, — раздумчиво и огорченно вздохнул он, — будь она трижды пеладна!.. Тут, понимаете... с женщинами необходима боевая наступательная тактика, — он взмахнул сжатой в кулак рукой, — папористость, грашчащая с нахальством!..

Я мог, конечно, разъяснить ему, что мой отец — потомственный рабочий, а мать — гкачиха, причем из бедной крестьянской семьи, и что сам я попал на войну со школьной скамьи, еще не успев стать интеллигентом, и что дело, по-видимому, в чем-то другом, но мне не хотелось говорить.

И я лишь заметил, медленно и с трудом произнося слова:
— А я не ставлю себе целью кому-нибудь нравиться.
Тем более женщинам. Меня это ничуть не волнует...

4

Я проснулся на рассвете с тяжеловатой головой и чувством огорчения и стыда за вчерашний вечер, за свою ошьяпелость и мальчишески-дурацкое поведение. Встал хмурым, а когда, умываясь возле машины, глянул в зеркальце и увидел на носу и на скуле багровые ссадины, — совсем расстроился. Однако сожалеть и предаваться угрызениям было некогда — не завтракая, я тотчас прился за работу.

Когда поднялся Витка, я уже закончил донесения о мероприятиях по маскировке, ПВО и ПХЗ, дал ему подписать и отправил с мотоциклистом в штаб бригады.

Мы позавтракали у машины вдвоем — Витка, Карев и я, причем они, избегая разговора о вчерашнем и словно не замечая, что у меня окорябаны нос и скула, обсуждали план занятий с подразделениями по уставам и по тактике, интересуясь и моим мнением.

После их ухода, составив не без труда еще одно срочное донесение, я занялся похоронными.

Мне предстояло заполнить двести три совершенно одинаковых форменных бланка, вписав в каждый: адрес, фамилию и инициалы одного из близких погибшего, а также воинское звание, фамилию, имя, отчество убитого, год и место его рождения, дату гибели и место захоронения.

Исполненный великолепным каллиграфическим почерком образец, присланный из штаба в качестве эталона, лежал передо мною, все нужные сведения также имелись, и, приступая, я почему-то мельком подумал, что это простая механическая работа, несравненно более легкая, чем составление ведомых мне отчетностей и донесений, — как же, однако, я ошибался!

Многих из убитых я знал лично, некоторые были моими товарищами, двое — друзьями. И, начав писать, я целиком погрузился в воспоминания; я как бы вторично проделывал восьмисоткилометровый путь, пройденный батальоном за месяц наступления, еще раз участвовал во всех боях, опять видел и переживал десятки смертей.

И вновь на моих глазах тонул в быстром холодном Немане автоматчики из группы захвата старшего лейтенанта Аббасова, веселого и жизнерадостного бакинца, часа два

спустя — уже на плацдарме — раздавленного тяжелым немецким танком.

Опять я слышал, как, лежа с оторванными ногами на минном поле, кричал, истекая кровью, мой связной Коля Брагин, славный и привязчивый деревенский паренек, единственный кормилец разбитой параличом матери.

Я снова видел, как через пустошь на окраине Могилева, увлекая за собой бойцов и сплыв преодолеть возрастную отдышку, бежал впереди всех пожилой и мудрый человек, в прошлом инженер-механик, парторг батальона лейтенант Ломакин, и падал на самом всполье, разрезанный пулеметной очередью.

И прокусив от страшной пчеловеческой боли насквозь губу, еще раз корчился сожженный струей из огнемета мой любимец и лучший боец, владивостокский грузчик Миша Саенко.

И, лежа на дне окопа с животом, распоротым осколком кишки, тихонько стопал и в забытии слабеющим, еле слышимым голосом звал: «Ма-ма... Ма-ма... Ма-мочка...» — командир батареи Савинов, старый — по возрасту годный много чуть ли не в дедушки — учитель математики из-под Смоленска, редкой душевности человек...

И снова... Опять... И вновь...

Все они, да и десятки других убитых были не посторонние, а хорошо знакомые и близкие мне люди. Заполняя извещенья, я смотрел в тетради учета личного состава, листал уцелевшие красноармейские книжки, офицерские удостоверения, узнавал о некоторых из погибших что-то новое, подчас неожиданное, вспоминал, и они явственно, словно живые, вставали передо мной, я слышал их голоса и смех — как это было совсем недавно — и еще раз переживал их гибель.

Пока их смерть была достоянием лишь батальона. Однако почти все они имели родных: матерей и отцов, жеп и детей, — имели родственников и, несомненно, друзей. Где-то в городах и деревнях о них думали, волновались, ждали и радовались каждой весточке. И вот завтра полевая почта повезет во все концы страны эти похоронные, неся в сотни семей горе и плач, сиротство, обездоленность и лишения.

Страшно было подумать, сколько надежд и ожиданий разом оборвут эти сероватые бумажки с одинаковым стандартным сообщением: «...в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив мужество и героизм... был убит». Страшно было даже представить, — по что я мог поделать?..

Мне с самого начала, как только я занялся похоронными, не поправилось указанное в присланном образце официально-казенное обращение: «Гр-ке...» Третье или четвертое извещение, которое я заполнял, адресовывалось в Костромскую область матери моего друга Сережи Защипина, Евдокии Васильевне, милой и радушной сельской фельдшерше. Я ее знал: дважды она приезжала в училище и баловала нас редким по военному времени угощением, сдобным на меду домашними лепешками, и все знала меня после войны к себе в гости, на Волгу. И я почувствовал, что назвать ее «гр-ка» или даже «гражданка» я не могу и не должен. Уважаемая?.. Товарищ?.. Милая?.. Дорогая?.. Я сидел в нерешимости, соображая, вспомнил почему-то Есенина и после некоего колебания вывел: «Дорогая Евдокия Васильевна!»

Посоветоваться мне было не с кем, а время шло, и я на свою ответственность после адреса и фамилии с инициалами стал всем без исключения писать «дорогая» или же «дорогой», а затем указывал полностью имя и отчество.

В строке «Похоронен» я везде писал «на поле боя», и эти три слова все время беспокоили меня.

Я помнил, как в самую распутицу первой военной весны мать, сколько ее ни отговаривали, отправилась пешком чуть ли не за двести километров разыскивать могилу Алешки, моего старшего брата, убитого где-то под Вязьмой, и как недели через две, так ничего и не найдя, она вернулась, измученная, больная, совершенно обезноженная и постаревшая сразу на много лет.

Я не сомневался, что многие из моих адресатов, многие из тех, кому я писал «дорогие», захотят, если не сейчас, то после войны, разыскать могилы близких им людей. Однако в ходе наступления мы оставляли убитых похоронным командам стрелковых дивизий, а потому не знали точно места захоронения, и указать его при всем желании я не мог.

Единственно, что после долгих размышлений я еще надумал — вписать в каждое из двухсот грех извещений перед «Ваш сын (муж, отец, брат...)» следующие слова: «С глубоким прискорбием сообщаем, что...»

Это также было, конечно, вольностью и отклонением от формы и образца, но я решил, что подобная отсебятина, смягчающая официальную сухость похоронных, желательна и просто необходима. Если же в штабе бригады не захотят заверить мою самостоятельность печатью, что ж, я перепису все заново — в батальоне имелось еще тысячи две чистых бланков.

Часов в десять утра приехали поверяющие из бригады: начальник строевого отдела, немолодой, молчаливый и неувлбчиво-строгий капитан и инструктор полвтотдела, подвижной и шумный старший лейтенант, тоже в годах; увидев меня, он еще с улыбки, достав из машины связку свежих газет и брошюр, громко и радостно закричал, что наши войска штурмом овладели городами Нарвой и Демблин (Иван-город).

Нарва находилась где-то далеко на северо-востоке, под Ленинградом, а Демблин — где-то южнее Белостока и тоже неблизко; я никогда не был ни там, ни там, и эти с боями взятые города представились мне в ту минуту с чьсто писарской, наверхое, точки зрения — многими пачками похоропных.

Я поднялся и доложил, с недовольством подумав, что теперь у меня отнимут немало времени, однако, к счастью, они сразу же отправились в подразделения.

Похоропные заняли у меня не менее шести часов, причем я даже представить себе не мог, сколь разбитым, расстроенным и опустошенным буду чувствовать себя по мере того, как передо мной вырастала стопа заполненных извещений. Я писал, охваченный скорбными мыслями и воспоминаниями, и мог только позавидовать Витке и Кареву: не ведая моих переживаний, они занимались с бойцами и оттуда, из-за деревни, где маршировали остатки батальона, доносились слова бодрой строевой песни:

Шко-ола мла-адших командиров
Ком-состав стра-не лихой кует.
Сме-ело в бой идти готовы
За-а трудящийся народ!
В сме-ртный бой идти готовы
За трудящийся народ!

Как и вчера, стоял чудесный солнечный день, жаркий, но не пеклый, и так славно, так изумительно пахло яблоками в меде. Как и вчера, Зося с утра возплась по хозяйству около хаты и на огороде, выполняя разную легкую работу, причем папи Юлия по однажды останавливала ее, стараясь по возможности все сделать сама. Я уже заметил, что она тщательно оберегает Зосю, как без меры, до баловства любимую дочку, единственную у матери, потерявшей в боях с немцами еще осенью тридцать девятого года сына и мужа.

Пробегая поутру через сад, Зося на ходу приветливо бросила мне: «Дзесь добры!» — и я смущенно пробормотал ей вслед: «День добрый...» Я сддел, переставив стол так,

чтобы густая агузлая ветвь яблони свисала у самого моего лба, прикрывая одарапанное лицо.

Потом Зося еще много раз, напевая что-то игриво-веселое, проходила или пробегала мимо меня, то с маленьким ведерком — носила воду в бочки на огород, — то с цанкой или еще с чем-то.

Поглощенный похорошными, я уже не смотрел ей вслед, как вчера; я вообще почти не поднимал глаз и если видел ее мельком, то лишь случайно, непреднамеренно. Отвлекался и обращать на нее внимание представлялось мне в то утро чуть ли не кощунственным неуважением к памяти погибших. Уверен, что если бы она знала, чем я занят и что содержат эти сероватые бумажки, она бы не пела так радостно и не бежала бы через сад мимо меня.

Часа в два пополудни, наполнив последнюю похорошную, я послал часового с приказанием в пятую роту, предложив ему заодно пообедать самому и принести мне обед с батальонной кухни. Когда он ушел, я занялся было допесенным, но затем, передумав, достал из планшетки однотомник, решив позволить себе короткую передышку.

Я огляделся: в саду и на дворе никого не было — начал читать и сразу же увлекся. Выйдя из-за стола, я с удовольствием декламировал то, что мне более всего нравилось, преимущественно по памяти, почти не обращаясь к тексту.

Я отчасти забылся, однако стаял лицом к хате и смотрел перед собой, чтобы вовремя заметить возвращение бойца.

Я читал с выражением и любовью, наслаждаясь каждой строкой и в душе радуясь, что часового еще нет и мне никто не мешает.

...Пусть порой мне шепчет спящий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи,
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных...

Я стремительно обернулся на шорох — сбоку от меня, шагах буквально в десяти, под яблоней, держась рукою за ствол, стояла Зося.

Не знаю, что могла она ощущать, не понимая языка, но лицо у нее было сосредоточенное, взволнованное, словно она что-то переживала, а открытые широко глаза напряженно смотрели на меня. Возможно, ее захватила проникновенная мелодичность, прекрасное, подобное музыке, звучание есенинских стихов или она силилась догадаться, о чем в них говорилось, — не знаю.

Умолкнув на полуслове, я залился краской и, тотчас вспомнив о ссадинах, поспешно отвернулся, однако явственно расслышал, как у меня за спиной она тихо сказала: «Еще!» И по-польски и по-русски это слово означает одно и то же.

Я совсем растерялся, но счастью в эту минуту появился боец с двумя дымящимися котелками. Из-за ветви, краем глаза я видел, как Зося, сняв с сучка небольшой сверкнувший на солнце серп, медленно, гордо и вроде с недовольством пошла меж яблонь. Когда она скрылась в конце сада, я начал есть, положив перед собой раскрытый одностомник; впрочем, минут через пятнадцать я уже составлял очередное донесение.

Вскоре вернулись Витька и Карев. Настроение у них было приподнятое — поверяющие остались довольны батальоном. Как признался Витьке политотделец, они ожидали худшего, поскольку командир бригады приказал им бывать у нас чуть ли не через день, контролировать и помогать.

По моей просьбе Витька, присев с краю стола, за какие-нибудь полчаса подписал все похоронные. При этом он не вздыхал, не раздумывал и вообще не проронил ни слова, однако по-своему переживал: наклоня голову и пасуясь, тяжело натужно сопел, то и дело, очевидно, встречая фамилии хорошо знакомых ему людей, морщился, как от кислого или от боли, сдавленно кряхтел и с ожесточением скреб нательную затылок.

Заключив, так же молча поднялся, умылся возле машины и, уже вытираясь, позвал меня на обед, приготовленный пани Юлией. Мне не хотелось туда идти, и, поблагодарив, я показал под яблоню на порожные котелки — не настоящая, он и Карев ушли в хату.

5

После обеда Витька, прослышав, что в лесу неподалеку имеется заготовленный еще при немцах швырок, решил привезти по машине пани Юлии и Стефану.

Это было в его обычае.

— Мы не просто воины, а освободители, — не однажды с достоинством говорил он бойцам. — Кого мы освобождаем?.. Обездоленных!.. Мы обязаны, чем возможно, помогать им. Мы должны не брать, а давать...

Убежденный в этом, он, где бы мы ни стояли, в свободные минуты охотно помогал жителям: заготавливал для них

топливо или вскапывал огороды, отрывал на пожарищах землянки и даже умудрялся складывать печи из старого битого кирпича. Я не сомневаюсь, что впоследствии эти люди нередко вспоминали его добрыми словами.

Еще он очень любил и также полагал делом чуть ли не государственной важности, насадив полный кузов ребятишек — то-то бывало крику, впага и радости! — покатав их вдоволь с ветерком, хотя наш прежний, погибший две недели назад командир батальона по одобрял подобный, по его выражению, «не вызванный необходимостью расход бензина» и не раз указывал Витьке на это.

По распоряжению Витьки Семенов пригнал «студебеккер» минометной батареи. Я видел и слышал, как, стоя во дворе у машины, Витька расспрашивал Стефана о дороге и как тот убеждал его не ездить. По словам Стефана леса вокруг буквально кишели немцами, пробирающимися из окружения к линии фронта; дня три назад на хуторе недалеке они вырезали польскую семью, а позавчера в том самом лесу, куда собирался ехать Витька, обстрелили из чащобы наш санитарный автобус, убив водителя и фельдшера, а машину с ранеными сожгли.

И пани Юлия тоже упрасивала Витьку, и подоспевшая к ним Зоя по-свойски грозила ему кулачком и что-то быстро, с возмущением говорила матери и Стефану, как я понял, требуя, чтобы они запретили Витьке ездить.

Однако все эти уговоры могли только подзадорить Витьку. Снисходительно, благодушно усмехаясь, он велел Семенову принести два автомата, запасные диски и штук шесть гранат, проверив мельком оружие, уселся за руль — Семенов поместился рядом — и поехал со двора. В самый последний момент Стефан, не на шутку рассерженный его упрямством, от души ругаясь по-польски и по-русски, помпная холеру, «дзябола», а также Витькиных родителей, уже на ходу вскочил сзади в кузов.

Я сидел под яблоней и писал, но мысленно находился в лесу с Витькой. Мне очень хотелось поехать с ним и чтобы на нас в самом деле обязательно напали — вот тогда бы я себя и проявил. Мне грезилось, как мы возвращаемся в деревню, причем я тяжело и опасно ранен, а в кузове, навало — убитые мною немцы. Нас встречают взволнованные Зоя и пани Юлия, а Стефан и Витька наперебой рассказывают им, что если бы не я, то никто бы вообще не уцелел.

Смешно и нелепо, что я мог об этом мечтать, да и затем было бы приписать из леса трупы врагов, но, помнится,

я этого действительно сильно желал. Чтобы Зося — и не только она — на деле убедилась, что я не просто писарышка, но какой-нибудь юнец с окорябанным посом, способный лишь корпеть над бумажками и читать стихи, а мужика и вопи. Понятно, она видела награды у меня на гимнастике, однако ордена получали и в штабах, перепадали они подчас тем же писарям, и потому мне очень хотелось наглядно проявить себя.

Я так размечтался, что испортил донесение о палочном пижонерного имущества в батальоне, и пришлось все переделывать.

Витка с Семеновым и Стефаном вернулись часа через полтора, довольные и веселые, на машине, груженной выпис бортов отменным борзовым швырком. Папи Юлия тоже заулыбалась, но Зося негодовала по-прежнему. Как объяснял Витке Стефан, она не желала дров, из-за которых кто-то мог погибнуть, и заявила, что они с матерью проживут и обойдутся и без этого швырка. Она столь темпераментно протестовала и выражала свое возмущение, что папи Юлия быстро сдалась, отказалась от дров и попросила Витку увести их на двор к Стефану.

Против обыкновения Витка даже не попытался настаивать, машина тут же развернулась и уехала, папи Юлия и Зося ушли куда-то по своим делам, и я остался с злополучными бумажками. Несмотря на все мои старания и усилия, их вроде и не убывало, а мне так захотелось закопчить наконец и со спокойной душой написать письмо матери.

Я трудился, не разгибаясь, меж тем Витка пригвоздил вторую машину дров, и, пользуясь отсутствием Зоси и папи Юлии, он с Семеновым и Стефаном проворно сбросил швырок и за минуту-другую сложили в поленницу возле ряги.

Я помнил, что требуется сменить часового в саду, и, как только Семенов освободился, поставил его на пост. Стефана тем временем позвали — к нему приехали родичи, — и он ушел, еще раз поблагодарив Витку и пригласив его зайти и распить со свояком бутылку бимбера. Витка обещал — малость погодя.

Прежде чем отогнать машину, он сидел на подножке и курил, в задумчивости оглядывая ровную поленницу, когда на дворе появилась какая-то пищески одетая, жалкая и грязная старуха и обратилась к нему плачущим голосом.

Она запричитала, часто повторяя «ниц нема»¹ и показы-

¹ Ничего нет (польск.).

бая то на полешницу, то через улицу, на хилую хатенку, где, очевидно, она жила.

— Завтра, мамаша, завтра, — сразу появив ее, заверил Витька. — Обязательно!

Я не сомневался, что он и ей завтра привезет дров, но она этого не понимала и продолжала плакать, стуча себя костлявой рукой по груди и упрямо повторяя «пиц нема».

— Вот чертова бабка, колысь она пополам! — поднимаясь, в сердцах воскликнул Витька, не перепоспавший слез; он построил свирепое лицо и, словно пища сочувствия, посмотрел в мою сторону, — как бавный лист!

Сделав последнюю затяжку, он загасил каблук окурком и живо взялся за дверцу кабины.

Я почувствовал, что он решил съездить сейчас же, причем один, а солнце уже садилось, и в лесу наверняка смеркалось, отчего опасность нападения на него возрастала. Поспешно собрав бумаги, я запер их в металлический ящик и, схватив из «доджа» свой автомат, бросился на двор.

— Ты куда?.. — высовываясь из кабины, удивленно спросил Витька. — За дровами?.. Ты давай с бумажками кончай! — распорядился он. — Я быстренько!

И, отжав сцепление, ходко поехал со двора, а я постоял, глядя ему вслед, подумал еще, что мне бы надо было проявить настойчивость и не отпускать его одного, и затем вернулся в сад.

Писать я уже физически не мог. Рука онемела и совсем отнималась; как я ни напрягал глаза, в смуром полусвете под яблоней буквы и строки различались с трудом; голова разламывалась и не соображала. К тому же Семенов, видимо, недовольный тем, что я на весь вечер поставил его часовым, и уверенный, должно быть, в моем мягкосердечии и своей безнаказанности, набрал в подол гимнастерки яблоч и, развалившись на сиденье «доджа», демонстративно, с непероятным хрустом жрал их и, швыряя огрызки, пагло и вызывающе поглядывал на меня.

Я ушел за деревню, и сразу же мысли о Зосе овладели мною. Произошло это не по моему желанию, а произвольно, и я, как мог, пытался перебороть себя.

Действительно, какое мне дело до этой Зоси?..

И собственно говоря, что она такое и что в ней особенного?.. Самая обыкновенная девчонка, каких в моей жизни — если, понятно, я уцелею — встретится еще немало. Причем, без сомнения, будут среди них и лучше и красивее.

Да и что может быть общего между мною — комсомоль-

цем, убежденным атеистом — и какой-то католичкой? Что?! Ведь она, если вдуматься и назвать вещи своими именами, — религиозная фанатичка. И к тому же еще должно быть ярая националистка...

Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться...

Теоретически все было правильно и логично, но, увы, только теоретически. И напрасно я то заставлял себя думать о другом, то, наоборот, старался выискать в ней что-нибудь дурное, уговаривая себя и домысливая черт знает что.

Я шагал и шагал полями, не задумываясь, куда и зачем, и лишь очутясь на опушке большого угрюмого в наступающих сумерках леса, остановился, оглядываясь и соображая.

Догадка осенила меня, когда я случайно рассмотрел на песчаной дороге свежие рубчатые следы шп «студебеккера».

Очевидно, это был тот самый лес, куда ездил Витька за дровами, и все объяснялось несложно: я слышал, когда после обеда Стефан отвечал Витьке, как проехать к делянке с заготовленным швырком, запомнил его рассказ и теперь, в глубине души успокоясь за Витьку, сам о том не думая, шел по этой дороге.

В лесу крепко пахло хвоей, было темно, душно и мрачно. Я углубился, наверное, не более чем на пятьсот метров, когда увидел перед собой что-то очень черное, большое и не вдруг сообразил, что это — сожженный пемцами наш санитарный автобус.

Подойдя, я не стал заглядывать внутрь — за полтора года я перевидел достаточно трупов, — а присел на корточки и, не без труда различив на обочине след «студебеккера», двинулся дальше.

Не помню точно, испытывал ли я страх в том зловещем враждебном лесу, но не волноваться, безусловно, не мог. Если бы с Витькой что-либо случилось, я бы никогда не сумел простить себе, что отпустил его одного.

Я шел в глубь густого массива, пока не услышал где-то впереди шум мотора, и, определив, что машина движется мне навстречу, скользнул в сторону и спрятался за деревьями.

Минуты две спустя мимо меня, тускло присветывая затемненными фарами, проехал «студебеккер», груженный швырком; Витька, настороженно всматриваясь в полумрак, сидел за рулем.

У меня и в мыслях не мелькнуло его окликнуть. Просто мне хотелось и я считал своим долгом в случае чего быть рядом с ним. Однако я не сомневался, что, если бы он меня теперь увидел, если бы он узнал или может сам догадался, что меня привело в лес беспокойство, тревога за его жизнь, он наверняка бы посмеялся и, думается, сказал бы без злобы, но и не скрывая своего презрения, что-нибудь вроде: «Телячьи нежпости!» или «Пижонство, а также гнилой сентиментализм!»

И еще, должно быть, крепенько отругал меня: ведь я был совершенно безоружен; выходя, я не предполагал, что окажусь в лесу, и даже пистолета с собой не взял.

Он проехал к деревне, а я немпого погоды выбрался на дорогу и побрел следом, мимо сожженной машины, к опушке.

Помнится, я даже не ощутил особой радости, когда лес наконец кончился и чересполосица ржей снова окружила меня. Что хорошего обещал мне этот вечер и что ждало меня в деревне?..

Будто сочувствуя, сиротливо шелестела колосьями рожь я, не переставая, с утомительной монотонностью стрекотали кузнечики.

Я добрал до околицы, когда совсем уже стемнело и первые звезды набрали яркость, а луна, утратив начальную желтизну, сделалась серебрянстой.

В ее призрачном сиянии распятый Христос страдал на высоком деревянном кресте; признаться, мне тоже было нелегко: тоскливо и одиноко.

Еще подходя, я услышал гитару — играл Витька. Он, конечно, уже успел сгрузить дрова, поставил машину, переоделся, поужинал и теперь отдыхал. Будучи человеком действия, он скоро и решительно сделал нужное дело, а и в это же время со своим томлением и переживаниями телепался, как цветок в проруби, никак и бесполезно.

Там, возле хаты папы Юлии, видимо, как и вчера, собрались, чтобы потанцевать и повеселиться. Ну и ладно... А меня там не будет — я туда и не покажусь. И пусть Зося — да и не только она — думает, что меня это ничуть не волнует, что у меня есть дела поинтересней и поважнее, чем всякие танцы-шмапцы, эмоции и ухаивания.

А Витька, аккомпанируя себе на гитаре, с чувством пел:

Разбирая побликшно карточки,
Орошу запоздалой слезой
Гимназисточку в белеском фартучке,
Гимназисточку с русой косой...

Вспоминаю, и кажется нелепым и неправдоподобным, что Витька, столь мужественный, сильный и цельный парень, не терпевший никаких сантиментов и нежностей, мог под настроение распевать подобную чувствительную дребедень. Нелепо и неправдоподобно, но, как говорится, из песни слова не выкинешь — было...

Вы теперь, вероятно, уж дамою,
И какой-нибудь мальчик босой
Называет вас, боже мой, дамою,
Гимназисточку с русой косой.

Ну и пусть... В невеселом раздумье я стоял у креста; идти в деревню, с кем-либо общаться и разговаривать мне не хотелось, и я не знал, что же теперь предпринять. Куда себя деть и чем заняться до сна?..

От ближних хат тянуло жильем и аппетитным запахом свежеспеченного хлеба; я даже ощутил некоторый голод и не без грусти подумал, что, может, никто и не вспомнил, ужинал я или нет.

Постояв еще немного, я задворьем тихонько прошел к хате Стефана, где около крыльца размещалась батальонная кухня.

Из завешепного — для светомаскировки — дерматиновой окна доносилась русская и реже польская речь, но на дворе возле двухколесных автомобильных прицепов с полевыми котлами никакого не было. Не желая звать повара — я узнал его по голосу, слышному из хаты, — я сам приподнял крышечку и в одном из котлов обнаружил темный тепловатый чай, а в другом — остатки вкусно пахнущей мясом и дымом кашки.

Я посмотрел вокруг, однако ни черпака, ни ложки, ни котелка нигде не нашел. Тогда я подобрал малую саперную лопатку, обмыл ее водой из бочки, осторожно, чтобы не запачкаться, перегнулся в котел и зачерпнул ею изрядную порцию густого крупяного варева.

Это оказалась еще не совсем остывшая и удивительно вкусная гречневая каша, обильно одобренная трофейным шпиком, свиной тушенкой и жареным луком. Присев на чурбачок у прицепа, я, орудуя щепкой, с аппетитом и большим удовольствием принялся есть, только теперь почувствовал, насколько проголодался.

В хате выпивали и были уже порядком под хмелем. Кроме повара, пожилого степного ефрейтора Зюзина, пазымаемого всеми в батальоне Фомичом, я узнал по голосу Сте-

фапа, а также Сидякина, молодецкого ершистого автоматчика из пятой роты. Был там еще кто-то, очевидно, свояк Стефана, говоривший мало и только по-польски.

Стефан все расспрашивал о колхозах, причем Фомич с пьяноватым спокойствием, растягивая слова, говорил:

— Ничего-о... Жить мо-ожно...

Сидякин же, паоборот, ссылаясь на свою деревню, ругался и с жаром советовал Стефану податься в город на заработки, поскольку, мол, толку все равно не будет.

— Не бо-ойсь... — успокаивая старика и невозмутимо противореча Сидякину, тянул параспев Фомич. — Не пропадешь...

Я немного отвлекся, слушая их разговор, и, должно быть, охотно посидел бы еще, но получалось, что я подслушивал, и потому, доев всю кашу, поддетую на лопатку, я попил воды и, так пижем и не замеченный, вернулся на задворье.

Тем временем Виткино пенне под гитару сменялось гармонью. Играл любимец батальона, грачатометчик Зеленко, играл с редким талантом и мастерством. Что бы он ни исполнял: украинскую пародную песню или старинный вальс, чеканил ли озорную плясовую или строевой бравурный марш — приходилось лишь удивляться, как из старой обшарпанной трехрядки с пробитыми и залатанными мехами ему удается извлекать такие чистые, мелодичные и берущие за душу звуки.

Вкусная сытная каша подкрепила меня не только физически, но и морально, я почувствовал себя бодрее и как-то увереннее. Зеленко играл, и меня преодолимо влекло туда — потихоньку я медленно подвигался задом к хате папи Юлии, где танцевали под гармонию.

Спустя некоторое время я стоял в крапивнике за ригой, с волнением прислушиваясь к смеху и голосам, а трехрядка звала меня, все звала, подбадривая и будоража, и постепенно я склонился к мысли, что мне следует пойти туда и пригласить Зосю танцевать.

В самом деле, почему бы мне это не сделать?.. Да что я рыжий, что ли?..

Я попытался увидеть себя со стороны и оценить строго, но объективно.

Я был не хлипкого телосложения, достаточно ловок и танцевал во всяком случае не хуже Витки или Карева. Поятно, ссадины на лице не украшали меня, однако в конце концов это не так уж существенно и падо быть выше этого.

Возможно, я совсем не умел пить и у меня не доставало командных качеств, не хватало властности в обращении с подчиненными, но я отнюдь не был тряпкой или пикеном. Я воевал уже полтора года, имел ранения и награды, причем стрелял лучше других и, если верить донесениям и фронтовой газете, имел на личном боевом счету больше убитых немцев, чем кто-либо еще в батальоне.

«Смелостью берут города... — убеждал и настраивал я себя, расхаживая за ригой. — К черту интеллигентность!.. Под лежачий камень и вода не течет... Главное — боевая наступательная тактика! Напористость, граничащая с нахальством...»

И еще я мысленно повторял любимое Витькино изречение: «Жизнь, как и быка, надо брать за рога, а не хватать за хвост!»

Вскоре я так осповательно настроил себя, что, отбросив все сомнения, уже ясно представлял себе, как подхожу к Зосе я, с кем бы она ни стояла, приглашаю ее танцевать. Приглашаю не интеллигентски наклоном головы, а как и подобает настоящему мужчине — повелительно, с силой и грубовато взяв ее за руку. Я уже надумал, что если кто-нибудь окажется рядом с нею — у меня на дороге, — то я как бы невзначай, мимоходом отодвину его плечом, точно так же, как это сделал на моих глазах Витька с одним лейтенантом-артиллеристом на танках в деревушке за Могилевом.

Возбужденный, переполненный необыкновенной решимостью, я метался в крапивнике, чувствуя, что теперь уже никто и ничто меня не остановит — я пойду напролом, как тапк!

Стремительным ударом всего корпуса я отшвыривал вероятного соперника и с такой яростью хватал воображаемую руку Зоси, что у меня даже мелькнуло опасение — как бы не переборщить!.. Ведь она юная и нежная девушка, и, если ее так схватить, она может, не выдержав, заплакать от боли или, оскорбясь, разгневаться, как вчера за обедом, когда Витька, не тронув ее и пальцем, всего-навсего указал взглядом на цепочку от крестика.

В конце концов я так себя распалил и так разошелся, что уже положительно не мог находиться в бездействии.

Было бы несомненно появиться с задворок, к тому же не мешало сначала смахнуть пыль с сапог, и я прошел к машине в сад.

Часовой — все тот же Семенин — полулежал в кузове на

сене и лениво тянул «Темную почву». Когда я приблизился, он, скосив глаза, посмотрел на меня, однако даже не поднялся.

— Встань! — негромко, но твердо приказал я, и поскольку он и не шевельнулся, с силой рванул его за плечо и властным железным голосом закричал: — Встань!!!

Недоумело глядя на меня, он поднялся в кузове (если бы он помешкал еще хоть две-три секунды, я безусловно, выкинул бы его из машины) и хотел что-то сказать, но я, не дав ему и рта открыть, свирепо оборвал:

— Молчать!!! Вы что на посту или у тещи на блинах?! Совсем обгадел! Увижу еще раз — заставлю месяц на кухне картошку чистить!.. — Я вскинул руку к пилотке. — Выполнять!..

Я еще никогда с ним так не разговаривал, попятно, он не ожидал и несколько ошел. Он послушно вышел из кузова, повесил себе на грудь автомат и, потирая плечо и невинно, недовольно бормоча, отошел к яблоням.

Собственно, я ничуть не собирался его воспитывать, просто мне надо было достать бархотку из Витькиного вещмешка, на котором, как мне показалось, он лежал.

Не обращая более на него внимания, я спял пыль с сапог, щедро намазал их гуталином военного времени — черной воючей мазью — и, как это делал Витька, старательно до блеска насандавил бархоткой.

Затем подтянул ремень еще на две дырочки, одернул тщательно гимнастерку, поправил погоны и пилотку и через идель в нагороду вышел на улицу.

Прежде чем, как я намеревался, с некоторой развязностью принужденно и решительно войти во двор, прежде чем начать действовать, я, чтобы бегло ознакомиться с обстановкой, стал незаметно у калитки за деревом.

На залитой лунным полусветом небольшой площадке перед крыльцом кружились парами под гармонь человек двадцать, в основном бойцы и сержанты батальона; часть из них танцевала «за дам». Женщин было всего три или четыре, и я сразу увидел Зосю.

Она танцевала с Витькой, доверчиво положив руку на его плечо. Он придерживал ее сзади за талию и, вальсируя, что-то ей говорил; не знаю, понимала ли она хоть слово, но она улыбалась или даже смеялась. Я напряженно всматривался, и спустя мгновение меня поразило, ударило в самое сердце неподдельно радостное, откровенно счастливое выражение ее бледного в серебристом свете лица.

Несомненно, ей было весело и даже радостно — ей и без меня было хорошо!..

Я ушел за хату и лег на сено в кузове, пытаюсь как-то овладеть собою, успокоиться и собраться с мыслями.

Мне было тяжело, непередаваемо тяжело и больно.

Не жалею, не зову, не плачу...

Нет, — неправда!.. Не то!.. Совсем не то...

В Хороссано есть такие двери,

Где обсыпан розами порог.

Там живет задумчивая перс.

В Хороссане есть такие двери,

Но открыть те двери я не смог.

«Не смог!..» Я лежал на спине, я перед моими глазами в темном глубоком небе ярко мерцали бесчисленные звезды, дрожали, лучисто помигивали, словно насмешничали и дразнились. Только звезды да еще луна, должно быть, знают, сколько в мире влюбленных и сколько среди них неудачников... Луна, конечно, солидней, тактичней и добродушнее; по звездам...

А может, они все и не насмешничали?.. Может, наоборот, подбадривали меня, мол: «Не робей!.. Смелостью берут города... Иди!.. Дерзай!..»?.. Может быть — не знаю... Однако лицо Зоси сказала мне больше, чем любые надежды, подбадривания и самовнушение; оно было нагляднее и несравненно убедительнее всех остальных доводов.

Мне еще долго не спалось. Семенов с автоматом наготове, как и положено часовому, мерно расхаживал взад и вперед по саду. В глубине души у меня даже ворохнулось сожаление, что я так резко с ним обошелся. Возможно, следовало бы теперь сказать ему что-нибудь хорошее, одобрительное, но заговорить я не мог. К тому же мне было стыдно перед ним, как перед очевидцем моих энергичных приготовлений к моему незамедлительному возвращению.

Я лежал, чувствуя себя глубоко несчастным и обездоленным, а по ту сторону хаты танцевали под задорные звуки гармони, то и дело слышался смех, веселые восклицания, и, как мне казалось, я даже различал среди других звонких и радостный голос Зоси.

Ей и без меня было хорошо!.. До боли, до муки ужасало сознание, что она даже не думает, не вспоминает обо мне, что через несколько недель мы двинемся дальше, а она останется со своей жизнью, создавая, несомненно, для кого-то другого; я же — буду ли убит или уцелею — в любом случае

навсегда исчезну из ее памяти, как и десятки других постоянных, безразличных ей людей...

Я думал о несправедливости, о жестокости судьбы, и чем дальше, тем более обида и жалость к самому себе охватывали меня...

* * *

Я проснулся после полуночи от громкого разговора. В свете луны около машины стояли Витька и Семсепов, причем Витька, к моему удивлению, был пьян.

— Товарищ старший лейтенант, я одеяло из хаты принесу, — неуверенно говорил Семенов, поддерживая его под руку. — И подушку...

— Отставить!.. Телячьи нежности, а также... Ты, Семсепов, совсем разболтался... Азбучных истин не понимаешь! — рассерженно бормотал Витька, с помощью ординарца забираясь в кузов. — Безделье разлагает армию... И никаких пьянок и никаких жепцин!..

6

А на другой день, когда начало смеркаться, мы покидали Новы Двур.

Вечером перед самым ужипом был получен совершенно неожиданный приказ: к утру быть восточнее Бреста, в районе станции Кобрин, где уже, оказывается, выгружалось маршевое пополнение и техника для нашей бригады.

Почти одновременно с приказом к нам на штабном бронетранспортере заехал комбриг.

— Дней пять на ознакомление, на выработку слаженности и взаимодействия и — в бой! — приподнятым молодцеватым голосом объявил он. — Нас ждут на Висле! — обнимая за плечи меня и Витьку рукой и протезом, сообщил он с гордостью и так значительно, будто без нашего небольшого соединения ни форсировать Вислу, ни вообще продолжать войну было невозможно. — Хорошенького, ребята, повемпожку. Отдохнули — надо и честь знать...

Все было правильно. Наступление продолжалось, фронту требовались подкрепления, где-то там, наверху, очевидно, в Ставке, перерешили, и потому полтора-два месяца предполагаемого отдыха обернулись для нас всего лишь тремя днями. Все было правильно, но получилось как-то очень уж неожиданно, а даже письма матери не успел написать. Да

и какой по существу это был отдых — я трудился, почти не разгибаясь, с рассвета и дотемна.

Мы собрались за какие-нибудь полчаса.

Витка, развернув на коленях карту, сидел в головном «додже» рядом с водителем, угрюмый и молчаливый. Весь день он ходил сумрачный и мычал самые воинственные мелодии, а более всего: «В атаку стальными рядами мы по-ступью твердой идем...» Поутру он несколько часов занимался с бойцами строевой подготовкой, был до придирчивости требователен и грозен.

От Карева в обед я узнал, что прошлым вечером, когда после танцев Витка попытался «по-постоящему» обнять Зо-сю, она взвыла, как ужаленная, и в одно мгновение разбила о его голову гитару — прекрасную концертную гитару собственноручной работы знаменитого венского мастера Леопольда Шенка.

— Так врезала, — не без восхищения сказал мне Карев, — вдребезгу!

Со стыда или от огорчения, обескураженный и, поверно, увлеченный Витка в полночь напился.

Понятно, для меня это было неожиданностью, впрочем, услышав, что она его ударила, я и не особенно удивился. В этой девчонке был порыв и какая-то диковатая горделивость и независимость — я почувствовал это в первый же день.

Крестьяне нас провожали. К нашей машине подошли папи Юлия, Стефан и еще кто-то. И другие машины окружили провожающие и просто любопытные. Но Зоси нигде не было видно.

Папи Юлия принесла большой букет цветов и крышку сметаны. Витка, взяв букет и что-то пробормотав, тут же сунул его за спину в кузов и снова углубился в карту; принимая цветы, он даже по улыбнулся. Стефан притащил две тяжелые корзины и с ядреной солдатской прибауткой вывалил на сено в кузове яблоки и отборные зеленые огурчики. Он было заговорил, обращаясь к Витке, но, не получив ответа, сразу умолк и, вынув аккуратно сложенную газету, оторвав ровный прямоугольничек и занялся самокруткой.

Последние запоздалые бойцы торопливо подбегали и влезали на машины. Распорядясь погрузкой, я инструктировал командиров и водителей, проверял размещение людей с оружием вдоль бортов и, беспокоясь, как бы чего не упустить, отдавал и повторял все необходимые приказания по боевому обеспечению марша.

Нам предстояло до рассвета, за каких-нибудь семь часов, с затемненными фарами и ориентируясь в основном по звездам, проделать почти двести километров, большей частью по плохим рокадным проселкам, в лесах, где, как прежде, бригады, полно было немцев, разрозненными группами прорывающихся на Запад, и где на каждом шагу мы могли подвергнуться обстрелу и нападению из темноты. Однако для маскировки передислокации бригаде предписывалось двигаться обязательно ночью, побатальонно — тремя автоколоннами — и по разным дорогам.

Витька с угрюмо-сосредоточенным видом рассматривал карту, а пани Юлиа, стоя рядом и часто вздыхая, глядела на него расстроганная, добрыми благодарными глазами, глядела с такой любовью, сожалением и печалью, словно навсегда расставалась с близким и очень дорогим ей человеком.

Целком полагаясь на меня, Витька ни во что не вмешивался и во время погрузки не проронил ни слова. Меж тем наступала минута, назначенная приказом для выезда, и следовало подать команду, а я медлил: мне страшно хотелось еще раз, хоть на мгновение, увидеть Зою. Но она часа полтора назад куда-то убежала со своей корзинкой и, надо полагать, до сих пор не вернулась.

Чтобы помешкать и немного задержаться, я с озабоченным видом начал проверять пулемет, установленный на треноге в «додже», и занимался им несколько минут, однако Зоя не появлялась. Тогда, презирая и проклиная себя в душе за слабование и неспособность преодолеть свои чувства, я опять обошел малешкую — восемь машин — колонну, снова инструктируя командиров и водителей; затем, возвратясь к «доджу», глянул незаметно на часы: тянуть далее было невозможно.

Стоя на обочине, я в последний раз с горечью и грустью посмотрел на хату пани Юлиа и, решившись, громко скомандовал:

— Приготовиться к движению!

Затем, легко прыгнув в невысокий кузов, выпрямился, слушая передаваемую в хвост колонны команду, и в ту же секунду увидел Зою.

Что-то крича, она со всех ног мчалась от хаты к нашей машине. Я мельком подумал, что ей, наверно, неловко перед Витькой за вчерашнее и, чтобы загладить свою излишнюю резкость, она решила попроситься с ним и пожелать ему перед отъездом «сто лет» жизни, как того желали нам пани Юлиа, Стефан и другие провожающие.

Задыхаясь от быстрого бега, она достигла нашей машины, но не бросилась, как я ожидал, к Витьке, а, наклоня голову, сунула мне через борт какой-то старый конверт и, показывая три пальца, что-то быстро проговорила.

— Три дня невозможно смотреть! — хитровато улыбаясь, перевел Стефая.

Я покраснел и, плохо соображая, в растерянности машинально поблагодарил и присел на скамейку у борта. А Витька, кажется, даже не обернулся.

Мотор заработал сильнее, но машина не успела тропуться, как неожиданно Зося с напряженным испуганным лицом — в глазах у нее стояли слезы! — вдруг обхватила меня руками за голову и с силой поцеловала в губы...

Я пришел в себя, когда мы уже выехали за околицу... До того дня меня еще не целовала ни одна женщина, разумеется, кроме матери и бабушки.

Первой моей мыслью, первым стремлением было — вернуться! Хоть на минуту!.. Но где там... Как?..

Мы быстро ехали в наступающих сумерках, не включая до времени узких щелочек-фар, а полумрак все плотнел, сгущался, очертания дороги, отдельных кустов и деревьев расплывались и пропадали. Высокий чащобный лес темной безмолвной громадой тянулся по обеим сторонам, кое-где вплотную подбегая к дороге.

Настороженно глядя вперед и по бокам, я сидел на ящике у пулемета, машинально держа ладони на шероховатых ручках затыльника, готовый каждое мгновение привычным, почти одновременным движением двух больших пальцев, левым — поднять предохранитель, а правым — нажать спуск и обрушиться кинжальным смертоносным огнем на любого возможного противника.

Я запретил на марше курить, шуметь и громко разговаривать, к тому же внезапная перемена действовала несколько ошеломляюще, и на машинах сзади не слышалось ни голоса, ни лишнего звука.

В вечерней лесной тишине ровно, нешумно гудели моторы, шуршали шины, и только в нашем «додже» молоденький радист с перебинтованной головой — он так и не пожелал уйти в медсанбат, — пытаясь установить связь со штабом бригады, как и четверо суток тому назад, упорно повторял: «Смоленск!» «Смоленск!» Я — «Пенза!» Я — «Пенза!» Почему не отвечаете?! Прием...»

Мы двигались навстречу неизвестности, навстречу новым, для многих последним боям, в которых мне опять предстояло

командовать по крайней мере сотней взрослых бывалых людей, предстояло уничтожить врага и на каждом шагу «являть пример мужества и личного героизма», а я — тряпка, сюсю-тэй, сюсюк! — даже не сумел, не решился... я оказался неспособным хотя бы намекнуть девушко о своих чувствах... Боже, как я себя рутал!

Витька, прямой и суровый, недвижно сидел рядом с водителем и смотрел перед собой в полутьму, где метрах в двухстах впереди ходко шел придавленный нам комбригом в качестве головной походной заставы или же прикрытия его личный бронетранспортер. Витька смотрел в полутьму и, не переставая, мычал: «В атаку стальными рядами мы поступью твердой идем...» Немного погодя, очевидно вспомнив, рывком обернулся и, задев локтем штырь аптечки, схватил букет, поднесенный ему пави Юлней.

— Как на похороны! — в сердцах закричал он, сильным движением забрасывая цветы за кушет. — Телячьи пелюстки, а также... гишлой септмемгаллам!..

И снова в настороженной тишине ровно шумели моторы, и радист упрямой скороговоркой вызывал штаб бригады.

— Что там в конверте? — шепотом приставал ко мне Карев. — Давайте посмотрим...

— То есть как это посмотрим? — заметил я строго и по без возмущения. — Ведь сказано: три дня!..

Однако я не удержался. В тот же вечер, на первом же привале, отойдя потихоньку в сторону, я накрылся в темноте плащ-палаткой и при свете фонарика распечатал заклепанный хлебным мякишем конверт. В нем оказалась завернутая в бумагу фотография Зоси — наверно, еще довоенный снимок красивой девочки-подростка с ямочками на щеках, короткими косицами вразлет и ласковым, наивно-доверчивым выражением детского лица.

А на обороте крупными корявыми буквами, размашисто, видимо, второпях, было написано: «Ja cie kocham, a ty spisz!..»¹

7

Города действительно берут смелостью. Витька — Герой Советского Союза Виктор Степанович Байков — первым из нашей армии ворвался на улицы Берлина и навсегда остался там под каменным надгробием в Третьов-парке... А вот

¹ Я тебя люблю, а ты спишь!.. (польск.)

чем покоряют женщины, я и сейчас — став вдвое старше — затрудняюсь сказать; думается, это сложнее, индивидуальнее...

Был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленный — это было так давно!.. — но и по сей день я не могу без волнения вспомнить польскую деревушку Новы Длур, Зосю и первый, самый первый поцелуй.

Видю ее как сейчас: невысокая, ладная и необычайно пленительная, раскачивая в руке корзинку, легко и ловко ступая маленькими загорелыми ногами — как бы пританцовывая, — она идет через сад, напевая что-то веселое... оскорбленная, пупцово-красная, разъяренная сидит за столом, высоко вскинув голову и вызывающе выпятив грудь с католическим серебряным крестиком на цветастой блузке... Представляю ее себе необыкновенно живо, до мелочей, до веснушек и точечной родинки на мочке крохотного уха... Представляю ее себе то по-детски смешливой и радостной, то строгой и до надменности гордой, то исполненной удивительной пещности, кокетства и пробуждающейся женственности... Видю ее и в минуту расставания — напряженное, испуганное лицо, дрожащие, как у ребенка, брови и слезы в уголках глаз...

Сколько раз за эти годы я вспоминал ее, и всегда она заслоняла других... Теперь она, наверно, уже не та, должно быть, совсем не такая, какой осталась в моей памяти, но представить ее себе иной, повзрослевшей я не могу, да и не желаю. И по сей день меня не покидает ощущение, что я и в самом деле что-то тогда проспал, что в моей жизни и впрямь — по какой-то случайности — не состоялось что-то очень важное, большое и неповторимое...

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

ЯСНЫМ ЛИ ДНЕМ

Памяти великого русского певца
Александра Пирогова

И в городе падал лист. С тополей — зеленый, с лип — желтый. Липовый лист разметало по улицам, а тополиный лежал кругами возле деревьев, серая изнанкой. И в городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало.

Сергей Митрофанович шел по тротуару и слышал, как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе. Шел он медленно, старался деревяшку ставить на листья, но она все равно стучала.

Каждую осень его вызывали на лесного поселка и город, на врачебную комиссию, и с каждым годом разрасталась в его душе обида.

Дело дошло до того, что, молча терпевший с сорок четвертого года все эти никому не нужные выслушивания, выстукивания и осмотры, Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача, холодными пальцами тискавшего тупую, внахлест зашитую культю:

— Не отросла еще?

Врач поднял голову и с пробуждающимся недовольством глянул на него:

— Что вы сказали?

Непривычно распаляясь от давно копившегося негодования, Сергей Митрофанович повторил громче:

— Нога, говорю, не отросла еще?

За соседним столом обернулась медсестра, заполнявшая карточки, и подозрительно уставилась на Сергея Митрофановича, всем своим видом давая понять, что место здесь тихое и, если он, ранбольшой, выпивший или просто так побуйнить вздумал, она поднимет трубку телефона, наберет 0-2. Нынче милиция не церемонится, она тебя, голуб-

чика, моментом острижет. Ничего смирно себя вести получается.

Но медсестра не подняла трубку, не набрала 0-2, хотя сделала бы это с охотой, чтоб все эти хмурые, ворчливые инвалиды почувствовали, к какой должности она приставлена в какие у нее права, да и монотонность писчебумажной работы, глядишь, встряхнуло бы.

Заметив, что инвалид спит, не знает, куда глаза и дрожащие руки деть, она взглядом победителя обвела присмную валу, напомиравшую скудный базаришко, потому как вешалка была на пять крючков и ее заняли врачи, а пациенты складывали одежду на стулья и на пол.

— Можете одеваться, — сказал Сергею Митрофановичу врач. Он снял очки с перетомленных глаз и начал протирать стекла полкой халата.

Деревяшка и одежда Сергея Митрофановича лежала в углу. Он попрыгал туда. Пустая кальсонная болталась, стегая тесемками по стульям и вышитой ковровой дорожке, расстеленной меж столами.

Так он и пропрыгал меж столами, будто сквозь строй, а кальсонная все болталась, болталась. Телу непривычно было без деревяшки, и, лишившись противовеса, Сергей Митрофанович боялся — не шатнуло бы его на какой-нибудь стол, и не повалил бы он там червильницу, и не облил бы чей белый халат или полированный стол.

До угла он добрался благополучно, опустился на стул и глянул в залу. Комиссия занималась своим делом. Он появлялся, что этим людям все здесь привычно и никто ему в спину не смотрел. Врач, последним осматривавший его, что-то быстро писал, уткнувшись в бумагу.

Сергей Митрофанович облачился, приладил деревяшку и пошел к столу. Врач все еще писал. Он оторвался на секунду, кивнул на стул и даже ногою подопрнул его поближе к Сергею Митрофановичу. Но садиться Сергею Митрофановичу не хотелось. Он терпеливо ждал. Тянуло скорее выйти отсюда и закурить.

Он стоял и думал о том, что год от года меньше и меньше встречается на комиссии старых знакомых — инвалидов, вымирают инвалиды, а распорядки все те же. И сколько отнято дней из без того укороченной жизни инвалидов такими вот комиссиями, осмотрами, хождениями за разными бумагами и ожиданиями в разных очередях...

Врач поставил точку, промокнул ученической голубой промокашкой написанное и поднял глаза:

— Что же вы стоите? — И тут же извисяющим топом доверительно пробормотал: — Писанины этой, писанины!..

Сергей Митрофанович принял справку, свернул ее вчетверо и поместил в бумажник, целовко держа при этом под мышкой новую, по случаю поездки в город взятую кепку. Он засунул бумажник со справкой в пиджак, надел кепку, а потом торопливо стянул ее и молча поклонился.

Врач редкозубо улыбнулся ему, развел руками, — что, мол, я могу поделывать? Такой закон.

Сергей Митрофанович вымученно улыбнулся в ответ, как бы сочувствуя, вздохнул протяжно и пошел, радуясь тому, что все кончилось до следующей осени.

А до следующего года всегда казалось далеко, и думалось о переменах в жизни.

На улице он закурил. Жадно истянул папироску «Пробой», зажег другую и, уже неторопливо куря, попенял самому себе: «Уж если поднял голос, так не пасуй! Закон такой! Ты, да другой, да третий, да все бы вместе сказали где падо — и переменили бы закон. Он что, из камня, что ли, закон-то? Гора он, что ли? Так ведь и горы спосят...»

До поездки оставалось еще много времени. Сергей Митрофанович зашел в кафе «Спутник», купил две порции сосисок, стакан киселя и устроился за столом без клеенки, но чистым и гладким.

За одним столом с Сергеем Митрофановичем сидела патлатая девочка, тоже ела сосиски и читала толстую книгу с линейками, треугольниками, разными значками и перусскими буквами. Она читала не отрываясь и в то же время намазывала горчицей сосиску, орудовала ножом и вилкой, пила чай из стакана и ничего не опрокидывала на столе. «Ишь, как у нее все ловко выходит!» — подивился Сергей Митрофанович. Сам он пожом не владел. Однако девушка не замечала его неумелости в еде. Он радовался этому.

С потолка кафе свисали полосатые фонарики. Стены голубые, и по голубому так и сяк проведены полосы, а на окнах легкие шторы — тоже в полосках. Голубой, мягкий полумрак был кругом. Шторки шевелило ветром и разбивало кухонный чад.

«Красиво как! Прямо загляденье!» — отметил Сергей Митрофанович и подилялся.

— Приятно вам кушать, девушка.

Она оторвалась от книжки, рассеянно посмотрела на него:

— Ах, да-да, спасибо! — И прибавила еще: — Всего вам наилучшего! — И тут же снова уткнулась в книжку, шаря

вилкой по пустой уже тарелке. «Так, под книжку, ты и поа-
снешь!» — улыбнулся Сергей Митрофанович.

Дверь в кафе стеклянная и узкая. Два парня в одинако-
вых светлых, не по-осеннему легких пиджаках открыли перед
Сергеем Митрофановичем дверь. Он засуетился, заспешил, не
успел поблагодарить ребят, подосадовал на себя.

А по улице все кружилось и кружило палый лист. Бежали
молчаливые машины, мягко колыхались троллейбусы с еще
по-летнему открытыми окнами, в ребятишки в еще не по-
трепанной форме шли с сумками из школы, распылявая ли-
стья и гомоля.

Устало приковывал Сергей Митрофанович на вокзал, ку-
пил билет и устроился на тяжелой скамье с закрашенными,
но все еще видными буквами: «М.П.С.» — и стал ждать поезд.

С пригородной электрички вывалила толпа парней и де-
вочок. Все в штатах, в одинаковых куртках заграничного
покроя, стрижеши коротко, и где парни, где девки — сразу
не разберешь. В корзинах у кого с десяток грибов, а у кого
и меньше. Зато все наломали рябины и у всех от черемухи
темные рты. Навалился на мороженое молодняк.

«И мне мороженого кушать, что ли? А может, выпить
маленько?» — подумал Сергей Митрофанович, но мороженое
он есть боялся — все живота мучает, а потом сердце, или
почки, или печень — уж бог его знает, что болит.

«Война это, война, Митрофанович, по тебе ходят», — по-
торяла его жена. Вспомнив о жене, Сергей Митрофанович,
как всегда, помятчал душою и незаметно от людей пощупал
карман пиджака. Там, в целлофановом пакете, персики с ры-
жими подпалинами. Жена его, Паня, любому подарку рада.
А тут персики. Она и не пробовала их сроду. «Экая дико-
вшла! — скажет. — Из-за моря небось привезли!» И спрячет
их, а потом ему же и скормит.

В вокзале прибавилось пароду. Во главе с пожилым ка-
питаном толпою ввалились стриженные парни в сопровожде-
нии девчат и заняли свободные скамейки. Всем места не
хватило, и Сергей Митрофанович подошел к краю,
освобождая место подле себя.

Парни швырнули на скамейку тощий рюкзакишко, спор-
тивную сумку со шнурком, сумочку с дядками. Вроде немец-
кого военного ранца сумочка, только неукладистой и паряд-
ными картинками обклеенная.

Трое парней устроились возле Сергея Митрофановича.
Одни — высокий, как из кедр тесаный, в шерстяном спор-
тивном костюме. Второй — будто вылушенный из лица жел-

ток: круглый, яркий. Он все время потряхивал головой и хватался за нее — чуба ему доставало. Третий — небольшого роста, головастый, смирный. Он в серой туристской куртке, за которую держалась кучерявенькая девчонка в короткой юбке с прорехой на боку.

Первого, как потом выяснилось, звали Володей. Он с гитарой был и верховодил среди парней. С ним тоже пришла девушка, хорошо кормленная, в голубых брюках, в толстом свитере, до середины бедер спускавшемся. У свитера воротник — что хомут, и на воротник этот спадали отбеленные, гладко зачесанные волосы. У рыжего, которого все звали Еськой, а он просил звать его Евсеем, было сразу четыре девчонки. Одна из них, судя по масти, сестра Еськина, а остальные — ее подруги. Еськину сестру ребята называли «традизистором», — должно быть, за болтливость. Имя третьего паренка узнавать труда не составляло. Девушка в юбке, в розовой тонкой кофточке, под которой острелись титюпки, не отпускаясь от него и, как в забытьи, по делу и без дела твердила: «Славик!.. Славик!..»

Среди этих парней, видать, из одного дома, а может, из одной группы техникума, вертелся потасканный паренек в клетчатой кепке и в рубашке с одной медной запонкой. У него еще был малинового цвета шарф, одним концом заброшенный за спину. Лпцо у парня переменчивое, юркое, глаза цепкие, смысленные, руки суетливые. Сергей Митрофанович сразу определял: этот парень бродяга и блатняжка, без каких-либо ни одна компания российских людей обойтись почему-то не может.

Капитан как привел свою команду, так и приволил на дальней скамейке, выбрав такую позицию, чтобы можно было все видеть, а самому оставаться незаметным.

Родителей пришло на вокзал мало, и они потерянно жаллись в углы, втихомолку смахивали слезы. Ребята были не очень подвыттые, но вели себя шумно, независимо, а временем и вызывающе.

— Новобранцы? — на всякий случай поинтересовался Сергей Митрофанович.

— Они самые! Рекруты! — ответил за всех Еська-Евсей и махнул товарищу с гитарой: — Володя, давай!

Володя ударил по всем струнам пятерней, и парни и девчата грянули:

Черный кот, оборкот!
В жизни все наоборот!
Только черному коту и на везе-о-о-от!..

И по всему залу грязной подхватили:

Только черному коту и не везе-о-о-от!..

«Вот окаляпши!» — покачал головой Сергей Митрофанович. — И без того песня — погань, а опи ее...»

Не пел только Славик и его девушка. Он вповалку улыбался, а девушка залезла к нему под куртку и притаилась.

К «коту», с усмешками, правда, присоединились и родители, а «Последний непонятный денечек» не ревел никто. Гармошек не было, но голосили бабы, как в проводины довоенных лет, мужики не лезли в драку, не пластали на себе рубахи и не грозились расщепать любого прага и диверсанта.

С «кота» ребята и девочки перешли на какую-то уж вовсе песуразную песню-дрыгалку. Володя самозабвенно дубасил по гитаре, девки в парни заперевали погами, запри-топывали.

Чик-чик, ча-ча-ча!

Чик-чик, ча-ча-ча...

Слов уже не понять было, и музыки никакой не улавливалось. Но ребятам и девочкам хорошо от этой изверченной, какой-то первобытной по бессмысленности песни. Они смеялись, дергались, выкрикивали. Даже Володина ядреная деваха стучала туфелькой о туфельку и, когда волосы ее, гладкие, стеклянно отблескивающие, сползали городьбою на глаза, откидывала их петерсбургским движением головы за плечо.

Капитан ел помидоры с хлебом, расстелив газету на коленях, и ни во что не вступал. Не подал он голоса протеста и тогда, когда парни вынули поллитровку из рюкзака и прицелились пить из горлышка. Первым, конечно, хватил водки приبلудный парень в кепочке. Пить из горлышка умел только он один, а остальные больше дурачились, делали ужасные глаза, взбалтывая водку в поллитровке. Еська-Евсей, приложившись к горлышку, сразу же бросился к вокзальной емкой мусорнице, а у Славика покатались слезы, как только глотнул он водки. Славик разозлился и начал совать своей девушке бутылку:

— На! (Девушка глядела на него со шлепящей преданностью и не понимала, чего от нее требуется). На! — Славик слепо и настойчиво совал ей поллитровку.

— Ой, Славик!.. Ой, ты же знаешь... — залепетала девушка. — Я не умею без стакана.

— Дама требует стакан! — подскочил Еська-Евсей, пы-

тирая слезы с разом посеревшего лица.— Будет стакан! А ну! — подал он команду приبلудному.

Тот послушно метнулся к рапцу Еськи-Евсей, выудил из него белый стаканчик с румяной женщиной на крышке. Эта нарисованная на сыре «Виола» женщина походила на кого-то, или на нее походила кто-то. Сергей Митрофанович глянул и засек глазами Володину деваху — она!

— Сыр съесть! — отдал распоряжение Еська-Евсей. — Та ру даме отдать! Посколько она...

Она, она не может без стакана!.. —

подхватили парни дружно. Этим ребятам, видать, все равно что петь и как петь.

Володя дубасил по гитаре, но сам веселился как-то патужно и, делая вид, что не замечает своей барышни, все-таки отыскивал ее глазами и тут же изображал безразличие на лице.

— Ску-у-успа-а! — завопил блатняжка, обсасывая сыр с пальца, и, забывшись, добавил ядрепое слово.

— Ну, ты! — резко повернулся к нему Славик.

— Славик, Славик! — застучала кулаками в грудь Славика девушка, и он отвернулся, заметив, что капитан хмуро поглядывает в их сторону.

— Хохма! Братва, хохма! — повизгивал приبلудный, буд-то и не слышал и не видел Славика. — Этот сыр, ха-ха... — начал рассказывать он и наперед всех смеяться. — Банку такую же, ха-ха... Передачку в родилку принесли... Жипки новорожденные которые, ха-ха, глядят — на крышке красота баская — и па-ма-азались-а-а! Крем, думал-и-и!..

Грохнули парни, взвизгнули девочки, шны даже повалились на скамейки. На что уж Володина барышня стойко держалась и та колыхнула ядрами груди, и молнии пошли по ее свитеру, а хомут воротника заколотился под накипевшим подбородком. Сергей Митрофанович отвернулся — неловко ему как-то сделалось, но по себе.

— А ты-то, ты-то че в родилке делал? — продираясь сквозь смех, спросил Еська-Евсей.

— Знамо че, — потупился блатняжка и начал крутить илсточку шарфа. — Аборг!

Девчата разом припмолкли, краской залились, а Славик вскочил со скамейки и двинулся к приبلудному. Но девушка уцепилась за полу его куртки:

— Славик! Ну, Славик! Он же шутит!..

Славик послушно ошлыл и уставился в зал поверх голо-

вы своей девушки, проворно порхнувшей под его куртку, будто под птичье крыло.

Стаканчик меж тем освободился и пошел по кругу.

Володя выпил из стаканчика половину и откусил от шоколадной конфеты, которую успела супуть ему Еськина пламенно-яркая сестра. Затем Володя молча держал стаканчик у поса своей барышни.

— Тебе же известно, я не переношу водку, — жеманилась она.

Володя держал протянутый стаканчик, и скулы у него все больше твердели, а брови, черные и прямые, поползли к перепосью...

— Серьезно, Володеська... Ну, честное пионерское...

Он не убирал стаканчик, и деваха прищипла его двумя музыкальными пальцами.

— Какой ты! Мне же плохо будет...

Володя никак не отзывался на эти слова. Барышня сердито вылила водку в крашеный рот. Девчонки захлопали в ладоши. Володя сунул в растворенный рот своей барышни остаток конфеты, супул, как кляц, и озверело задубасил по гитаре.

«Э-э, парень, не розовые твои дела... Она небось на коньяках и кофках выросла, а ты с водкой...»

Сергея Митрофановича потянули за рукав и отвлекли. Славка девушка поднесла ему стаканчик.

— Выпейте, пожалуйста, за наших ребят... И... за все, за все! — Она закрыла лицо руками и, как подрубленная, пала на грудь своего Славки. Он упрятал ее под куртку и, забывшись, стал баюкать и раскачивать.

«Ах ты, птичка-трясогузка!» Сергей Митрофанович поднялся со скамьи, стянул кепку с головы и супул ее на лавку.

Володя прижал струны гитары. Еська-Евсей, совсем ослепевший, обхватил руками сестру и всех ее подруг. Так же всегда со всеми дружат, но не основательно как-то. Придет время, схватит Еську-Евсея на лету какая-нибудь баба-жох и всю жизнь потом будет шпынять, считая, что спасла его от беспутства и гибели.

— Что ж, ребята, — заговорил Сергей Митрофанович и прокашлялся. — Что ж, ребята... Чтоб дети грому не боялись! Так, что ли?.. — И, пересиливая себя, выпил водку из стаканчика, в котором белели и плавали лохмотья сыра. Он даже крикнул, якобы от удовольствия, чем привел блатняк-ку в посхощение.

— Во даст! Это боец! — воскликнул тот и доверительно, по-свойски кивнул на деревяшку: — Ногу-то где оттяпало?
— На войне, ребята, на войне, — ответил Сергей Митрофанович, не глядя на приبلудного, и опять падел кепку.

Он не любил рассказывать о том, как и где оторвало ему ногу, а потому обрадовался, когда объявили посадку, — разговор о ноге отпал сам собою.

Капитан поднялся с дальней скамьи, приказал новобранцам следовать за ним.

— Айда в вы с нами, батя! — крикнул Еська-Евсей. — Веселая будет! — дурачился он, употребляя простонародный уральский выговор. — Отцы и дети! Как утверждает современная литература, конфликта промеж папц пету...

«Грамотные, холеры! Языкастые! С такими нашему хохлу-старинце не управиться бы. Они б его одним юмором до припадков довели...»

Помни свято,
Жди солдата,
Жди солдата-а-а-а,
Жди солда-а-ага-а-а... —

уже как следует, без кривляния пели ребята и девушки, за которыми тащился Сергей Митрофанович. Все шли обнявшись. Лишь Володина барышня отчужденно шествовала в сторонке, помахивая спортивным мешком на шнурке, и чувствовал Сергей Митрофанович, если б приличия позволяли, она бы с радостью не пошла в вагон и поскорее распрощалась бы со всеми.

Володя грохал по гитаре и на барышню совсем не смотрел.

Сергей Митрофанович узрел на перроне кюск, застучал деревяшкой, метнувшись к нему.

— Куда же вы? — крикнул Еська-Евсей, и знакомцы его приостановились. Сергей Митрофанович помаячил: мол, идите, идите, я сейчас.

В кюске купил две бутылки заграничного вермута, другого никакого вина тут, кроме шампанского, не оказалось, а трату денег на шампанское он считал бесполезной.

Он поднялся в вагон. От дыма, гвалда, песса и смеха оторопел было, но заметил капитана, и вид его подействовал на бывшего солдата успокоительно. Капитан сидел у вагонного самовара, шевелил газету пальцами и опять просматривал весь вагон и никого собою не беспокоил.

— Крепка солдатская дружба! — гаркнули в проходе

стриженные парни, чокаясь граепными стаканами, унесенными из перронных автоматов с газировкой.

— Крепка, да немвожко продолговата!

— А-а, цалу-ете-есы! Ночь коротка! Не хватило-о!

И тут же запели щемяще-родное:

Ночь коротка,
Спят облака...

«Никакой вы службы еще не знаете, соколики! — усмехнулся Сергей Митрофанович. — Ничего еще не знаете. Погодите до места! Это он тут, капитан-то, вольничать дает. А там гайку вам закрутит! До последней резьбы».

Старая фронтовая песня стронула с места его душу, и он поспешил к ребятам, чтобы окончательно не впасть в уныние и грусть.

— Володя! Еська! Славки! Где-ка вы? — Сергей Митрофанович приостановился и прислушался, будто в лесу.

— Тута! Тута! — раздалось из-за полог, с середины вагона.

— А моей Марфуты нету тута? — спросил он, протискиваясь в тесно запруженное куче.

— Вашей, к сожалению, нет, — отозвался Володя. Он поугрюмел еще больше и не скрывал своего худого настроения.

— Вот, солдатики! Это от меня, па проводники... — с пристуком поставил бутылку на столик Сергей Митрофанович.

— Зачем же вы расходовались? — разом запротестовали ребята и девочки, все, кроме блатняжки, который, конечно же, устроился в переднем углу у окна, успел когда-то еще добавить, и кепчонка совсем сползла на его глаза, и шарф впился на крючке, утверждая собою, что это место занято.

— Во дает! — одобрил приблудный паренек поступок Сергея Митрофановича и цапнул бутылку: — Сейчас мы ее раскур-рочим!..

— Штопор у кого? — перешибая шум, крикнула Еськина сестра.

— Да па кой штопор? Пережитки! — подмигнул ей блатняжка и, как белка скорлупу с орешка, содрал зубами позолоченную пахлобучку, а затем просунул пальцем пробку в бутылку. — Вот и все! А ты, дура, боялась! — довольный собою, подмигнул он Еськиной сестре. Липи он к этой девчонке, но она с плохо скрытой брезгливостью отстранялась от него. И когда он все же изловчился и цапнул ее, обрвала:

— А ну, убери немые лапы!

И он убрал. Однако значения ее словам не придавал и, как бы неспароком, то на колесо ее руку клал, то повыше, и она пересела подальше.

На перроне объявили: «До отправления поезда номер пятьдесят четыре остается пять минут. Просьба к пассажирам...»

Сергея Митрофановича и парня в кепке оттесняли за столик разом повскакивавшие ребята и девчонки. Еська-Евсей обхватил сеструху и подруг ее. Они плакали, смеялись, Еська тоже плакал и смеялся. Девушка в розовой кофточке намертво вцепилась в Славика и повисла на нем и вроде бы отпустить не собиралась. По ее и без того размытому лицу катились круглые, как у ребетенка, слезы, оставляя на кофточке серые полоски. Глаза у девчонки были излажены под японочку, и краску слезами разъедало.

— Не реви ты, не реви! — бубнил сдавленным голосом Славик и тряс доушкку за плечо, желая привести ее в чувство. — Слово же давала! Не буду реветь...

— Ладно, не бу... лады-но-о-о...

— Во дают! — хохотнул блатняжка, чувствуя себя отторгнутым от компании. — Небось вилотную дружили... Мокнет теперь... засвербило...

— Служи, Володя. Храни Родищу... — приткнулась барышня крашеными губами к Володиной щеке и стояла, не зная, что дальше делать. Часто и нервно откидывала она белые, ухоженные волосы свои.

Бросив на вторую полку руки, Володя глядел в окно вагона и ничего не говорил, а лишь барабанил пальцами по полке.

— Ты пиши мне, Вова, если желание появится, — сказала барышня и обернулась на публичку, толпящуюся в проходе вагона: — Шуму-то, шуму!.. И синухой отовсюду прот!..

— Все! — разжал губы Володя. Он повернул свою барышню и повел из вагона, крикнув через плечо: — Все, парни!

Ребята с девушками двинулись из вагона, а Славикова девчонка вдруг села на скамейку.

— Не пойду-у-у...

— Ты че?! Ты че?! — коршуном палетел на нее Славик. — Позоришь, да?! Позоришь?..

— И пу-усть...

— Обрюхатела! Точно! — ерзнул за столиком блатняжка. — Жди, Славик, солдата! А может, солдатку!..

— Дочепька, дочепька!.. Пойди, милая, пойди, попрощай-

ся ладом... А то проревешь дорогие-то минутки, потом жалеть будешь...

Славик благодарно глянул на Сергея Митрофановича и, как больную, повел девушку из вагона.

«Во все времена повторялось одно и то же, одно и то же,— подпершись руками, горестно думал Сергей Митрофанович.— Разлуки да слезы, разлуки да слезы... Цветущие свои годы — в казарму, душу — в рамки военного устава. А на уставе с тех пор, как его придумали, только корочки менялись. Самоглавнейшее же — из человека делать подчиненного — осталось. Слабая душа так и останется заформованной, что кирпич на всю жизнь...»

— Может, трахнем, пока нету стилига? — предложил блатняк, которого улетало одиночество, и с готовностью потер руки.

— Выпьем, так все вместе.

Поезд тронулся. Прибежал Славик, взгромоздился на столы, просунул большую свою голову в узкий притвор окна.

Поезд убыстрял ход, и, как в прошлые времена, бежали за ним девушки, жепщины, матери, махали отцы и деды с платформы, а поезд все набирал ход. Спешила за поездом Еськина сестра с разматавшимися рыжими волосами и что-то кричала на ходу. Володина барышня немощко прошлась рядом с вагоном и остановилась, плавно, будто лебяжьим крылом, помахивая рукою.

Дальше всех гвалась за поездом девушка Славика. Платформа кончилась, она спрыгнула на междупутье. Узкая юбка мешала ей бежать. Она спотыкалась, пытаясь поймать руку Славика.

— Упадешь! Не бежи, упадешь! — кричал он ей в окно.

Поезд дрогнул на выходных стрелках, изогнулся дугой, и девушка розовогрудой птичкой улетела за поворот.

Славик мешком повис на окне. Руки его вывалились за окно и болтались, голову колотило о толстую раму.

Ребята сидели потерянные, смиренные, совсем не те, что на вокзале. Все молчали. Даже блатняк притих и не ерзал за столом, хотя перед ним стояла непочатая бутылка.

По вагону прошла проводница с веником, начала подметать и ругаться. Густо плыл в открытые окна табачный дым, жужжала электровозная дуга. Вот и ребра моста пересчитали вагонные колеса. Переехали реку. Начался дачный пригород и незаметно растворился в лесах и перелесках. Поезд пошел без рывков и гудков, на одной скорости, и пошел он, а равно бы летел уже низко над землю с дело-

пытным перестуком, падающим людей на долгую дорогу.

Не выдержал Еська-Евсей:

— Славка! Слав!.. — и потянул товарища за штаны. — Так и будешь торчать до места назначения?

Изворачиваясь шеей, Славик вынул из окна голову, втиснулся в угол и потянул на ухо куртку.

Сергей Митрофанович взял бутылку и сказал, отыскивая глазами стаканчик из-под сыра:

— Что ж вы, черти, приуныли? На смерть, что ли, едете? На войну? Давайте-ка лучше выпьем, поговорим, спосм, может. «Кота» я вашего не знаю, а вот свою любимуюведу.

— В самом деле! — зашевелился Еська-Евсей и дернул куртку с уха Славика. — Ну ты че? Володы! Ребята! Человек же предлагает. Пожидой воп, без поги...

«Парень ты, парень, — глядя на Славика, вздохнул Сергей Митрофанович. — Ничего, все перегорит. Не то горе, что позади, а то, что впереди...»

— Его не троньте пока, — сказал он Еське-Евсею и громче добавил, отыскивая измятый, уже треснутый с одного края стаканчик: — Пусть вам хороший старшина попадется.

— Пойдите! — остановил его очнувшийся Володя. — У нас водь кружки, ложки, закусь — все есть. Это мы на вокзале пофасонили, — он усмехнулся совсем трезво. — Давайте как люди.

Выпивали и разговаривали теперь как люди. Пережитое расставание сделало ребят проще, доступней. Не чуждались они больше людей, и записчивости в них не осталось.

— Давайте и мне! — высунулся из угла Славик. Расплескивая вино, захлебываясь им, выпил, с сердцем отбросил стаканчик и снова потянул на ухо куртку.

Опять пристали ребята насчет ноги. Сергей Митрофанович дорожил теперь дружелюбием и расположением ребят, не хотел отчуждаться от них, стал рассказывать о том, как, застигнутые внезапно танковой атакой противника в лесу, не успели изготовиться артиллеристы к бою.

Сосняк стеною вздымался на гору, высокий, прикарпатский. Сектор обстрела выпиливали по время боя. Два расчета из батареи пилили, а два разворачивали гаубицы. С наблюдательного пункта, выкинутого на опушку леса, торопили. Но сосны были толсты, пилы всего две и топора всего четыре. Работали без рубах, мылом покрылись, несмотря на холод. С наблюдательного пункта по телефону грозили, матерились и наконец завопили:

— Танки рядом! Сомпут! Огонь на пределе!

Нельзя было вести огонь и на пределе. Надо свалить еще пятюк-другой сосен впереди орудий. Да на войне часто приходится переступать через нельзя.

Повелл беглый огонь.

Снаряд из того орудия, которым командовал Сергей Митрофанович, ударился о сосну, расчет накрыло опрокинувшейся от близкого взрыва кургузой гаубицей, а командира орудия, стоявшего поодаль, подняло и бросило на землю.

Очнулся он уже в госпитале, без ноги, оглохший, с отнявшимся языком.

— Вот так я отвоевался я, ребята.

— Скажи, как бывает! А мы думали... — начал Еська-Евсей.

Славик высунул нос из воротника куртки и изумленно тараторил на Сергея Митрофановича. Глаза у него лзались, опухли от слез, голова почему-то казалась еще больше.

— А вы думали — я ногой амбразуру затыкал?

— А жена? Жена вас встретила нормально? — подал голос Володя. — После ранения, я имею в виду.

— А как же? Конечно, нормально. Приехала за мной в госпиталь. Забрала. Все честь честью. — Сергей Митрофанович пристально посмотрел на Володю.

Ему и в голову не приходило, чтобы Папа не приняла его. Да и в госпитале не слышал он о таких случаях. Самопары — без рук, без ног инвалиды — и те ничего такого не говорили. Может, тащились? Правда, от баб поселковых он потом слышал всякие повествования о том, что такая-то стерва отказалась от такого-то мужика-калеки. Да не отец он вникал в бабьи рассказы. В книжках читал о том же, но бумага, как говорится, все стерпит.

— Баба, папа русская баба не может бросить мужа и увечье. Здорового может, сгульнуть, если невтерпех, может, а калек и спроту спокинуть — нет! Потому как баба наша во веки веков человек! И вы, молодцы, худо про них не думайте. А твоя вот, твоя, — обратился Сергей Митрофанович к Славку, — да она в огонь и в воду за тобой...

— Дайте я вас поцелую! — пьяненько взревел Славик и притиснулся к Сергею Митрофановичу. А ему захотелось погладить Славика по голове, да не решился он это сделать и лишь растроганно пробормотал:

— Ребятишки вы, ребятишки! Так споем, что ли, орел? — повернулся он к Володе. — Детишек в загоне нету?

— Нету, нету,— загалдели новобранцы.— Почти весь вагон нашими занят. Давайте, батя!

По голосам и улыбкам ребят Сергей Митрофанович догадался: они его считают совсем захмелелым и ждут, как он сейчас затынет «Ой, рябина-рябинушка» или «Я пулеметником родился и пулеметником помру!..»

Посмотрев сбоку на парней, он едва заметно улыбнулся и мягко начал грудным, глубоким голосом, так и не испитым в запасном полку, на морозе и ветру, где он был ротным запевалой:

Ясным ли днем
Или ночью угрюмою...

Снисходительность, пасмешливые взгляды — все это разом стерлось с лиц парней. Замешательство, пробуждающееся внимание появились на них. Все так же доверительно, ровно бы расходясь в беседе, он повел дальше:

Все о тебе я мечтаю и думаю...

На этом месте он полуприкрыл глаза и, не откидываясь, а со сложными в коленях руками сидел, чуть ссутулившись, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном, и совсем уже тихо, на пугливой какой-то струне, притупив готовый вырваться из груди крик, закончил вступление:

Кто-то тебя приласкает?
Кто-то тебя приголубит?
Милой своей назовет?...

В голосе его, без пьяной мужицкой дикости, но и без вышколенной лощености, угадывался весь его характер, вся душа — приветная и уступчивая. Он давал рассмотреть всего себя оттого, что не было в нем хлама, темени, потайных закоулков. Полуприщуренный взгляд его был смягчен временем, усталостью и тем пониманием жизни, которое дается людям, познавшим смерть. Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноким, с души его струями сходила скверна и пакость житейских будней, потребность в братстве ощущал человек, хотел, чтоб его любили и он бы любил кого-то.

Не было уже перед ребятами инвалида с осиповою деревяшкой, в сукопном старомодном пиджаке, в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы. Залысины, седые виски, морщины, так не идущие к его моложавому лицу,

и руки и царапинах и темных проколах уже не замечались.

Молодой, бравый командир орудия с орденами и медалями на груди выделялся ребятам.

Да и сам он, стоило ему запеть эту песню, повесть когда услышанную на пластинке и переиначенную им в словах и в мотиве, видел сам себя там, в семье своего расчета, молодого, здорового, чубатого, всеми уважаемого не только за песни и за покладистый характер.

Еще ребята, слушая Сергея Митрофановича, изумлялись: как это с таким голосом он затерялся в глуши? Бывали, и не раз, эти ребята в оперном театре своего города, слышали там перестарок женщин и пузатеньких мужчин с жидкими, перегорелыми голосами. Зарабатывать хлеб им следовало совсем в другом месте. Но в искусстве, как в солдатской бане, пустых скамеек не бывает. И поет где-то, вместо Сергея Митрофановича, тугой на ухо, пробойный человек. Он же все, что не трудом добыто, а богом дано, ценить не научен и к дару своему относится стыдливо, поет, когда сердце просит или когда людям край подходит, поет, не закабалия дара своего, по и не забавляясь им.

Никто так не разбрасывается своими талантами, как русские люди. Сколько их, наших соловьев, испелось на лицейском облучке, в солдатском строю, в пьяном застолье, в таинном одиночестве, позатерялось в российской глухомани? Кто сочтет...

...Постукивали колеса, и все припадал вагон на одну погу.

Сергей Митрофанович, копчив петь, все так же сидел, вытянув деревяшку под столик, в руки, совсем не похожие на его голос, в заусеницах, проколах и царапинах, покоились все так же, меж колес. Лишь бледнее сделалось его лицо, и видно стало непробритое под нижней губой, да глаза его были где-то далеко-далеко.

— Да-а,— протянул Еська-Евсей и тряхнул головою, ровно бы отбрасывая чуб. Рыжие, они все больше кучерявые бывают.

Заметив, что в разговор собирается вступить приبلудный, и заранее зная, чего он скажет: «У пас, между прочим, в колодыни один кореш тоже законно шел, про разлуку и про любовь», Сергей Митрофанович посмотрел в окно и хлопнул себя ладонями по коленям:

— Что ж, молодцы, я ведь подъезжаю,— и застенчиво улыбулся: — С песнями да с разговорами скоро доехалось. Давайте прощаться.— Он поднялся со скамьи, почувствовал,

как тлнет полу пиджака, схватился: — У меня ведь еще одна бутылка! Может, раздавите? Я-то больше не хочу.

— Не надо,— придержал его руку Славик.— У вас есть. И деньги и вино. Лучше домой унесите, угостите жену.

— Дело ваше. Только я ведь...

— Нет-нет, спасибо,— поддержал Славика Володя.— Привет от нас жене передайте. Правильная она у вас, видать, женщина.

— Худых не держим,— простодушно ответил Сергей Митрофанович и, чтоб наладить ребятам пастроение, добавил: — В нашей артели мужик один на распарке дерева работает, так он все хвалится: «Я какой человек? Я вот пятую жену додерживаю — единой не обиживал...»

Ребята засмеялись, пошли за Сергеем Митрофановичем. В тамбуре все закурили. Поезд пикинул тормозами и остановился на небольшой станции, вокруг которой клубился дымчатый пихтовник. Даже возле колодца и в скверике росли пихты. К одной подсеченной пихте был привязан сонный губатый копы.

Осторожно спустившись с подножки, Сергей Митрофанович утвердился на притоптанной, мазутной земле, из которой выступал камешник. Поезд словно б того только и дождался, почти незаметно для глаза двинулся. Сергей Митрофанович приподнял кепку:

— Мирной вам службы, ребята!

Они тесно стояли за спиной проводника и смотрели на него, а поезд все убыстрял ход, электровоз уже глухо стучал колесами в пихтаче, за станцией, дробили на стрелке вагоны, и скоро электродуга плыла уже над лесочком, высекая ошпие огоньки из отсыревших проводов. Когда последний вагон прострочил пулеметом на стрелке и сделалось совсем тихо, Сергей Митрофанович повторил:

— Мирной вам службы! — и надел кепку.

В глазах ребят он таким и остался: на деревяшке, с обнаженной, побитой сединою головой, в длинном пиджаке, оттянутом с одного боку, а за спиной его маленькая станция с тихим названием «Пихтовка». Наносило от этой станции старым, пахотным миром и святым ладавым праздником.

...Попутных не попало, и все хотя и привычные, по дороге для него четыре километра Сергею Митрофановичу пришлось ковылять одному.

Пихтовка оказалась сзади, пихты тоже. Они стеной отгораживали вырубки и пустоши. Даже спелозащитные полосы были из пихт со спелыми макушками. Пихты

там распознались вширь, сцепились ветвями. Прель и темень устоялась под пням.

Осенью сорок пятого по вырубкам лесок только-только еще поднимался, елани были всюду, болотистые согры, испятнанные красной клюквой да брусничкой. Часто стояли разрозненные черные стога с прогнутыми, как у старых лошадей, спишамп. Раскаленными жестянками краснели па стогах листья, кинутые ветром.

Осень тогда ведренней пышней была. Небо просторней было, даль солнечно светилась, понизу будто веселым дымком все подернулось.

А может быть, все нарядней и приветнее казалось оттого, что он возвращался из госпиталя, с войны, домой. Ему в радость была каждая травинка, каждый куст, каждая птичка, каждый жучок и муравьишка. Год провалявшийся на койке с отшибленной памятью, языком и слухом, он наглядеться не мог на тот мир, который ему сызнова открывался. Он еще не все узнавал и слышал, говорил заикаясь. Вел он себя так, что, не будь Паяя предупреждена врачами, посчитала бы его рехнувшимся.

Увидел в зарослях опушки бояг, колючий, пахально цветущий, — не вспомнил, огорчился. Ястребнику, козлобородник, бородавник, пуговичник, крестовник, яковку, череду тоже не вспомнил. Все они, вядать, в его нынешней памяти походили друг на дружку, потому как цвели желтенько.

— Кульбаба! Кульбаба! — заблажил он и ринулся па костылях в чащу, запугался, уцал. Лежа на брюхе, сорвал худой, сорный цветок, нюхать его взялся.

— Кульбаба! Узнал? — подтвердила Паяя и сняла с лица его паутину. Он еще не слышал паутины па лице.

Остановился подле рябины и долго смотрел на нее, соображая. Розетки па месте, а ягод нету?

— Птички, птички склевали.

— И-и-птички! — просиял он. — Ры-рябчики?

— Рябчики, дрозды, до рябины всякая птица охоча, ты ведь знаешь?

— З-знаю.

«Ничего-то ты не знаешь!» — горевала Паяя, вспоминая последний разговор с главврачом. Врач долго, терпеливо объяснял, что требуется больному, чего ему можно пить, есть, какой ему нужен уход, и все время ровпо бы оценивал Паяю взглядом. Будто между прочим, врач поинтересовался насчет детей. И она смущенно сказала, что не успели насчет детей до войны. «Да чего горевать? Дело молодое...» —

«Очень жаль», — сказал врач, спрятав глаза, и после этого разговор у них разладился.

В пути от Пихтовки до поселка она все попляла: и слова врача, жестокое их значение тут только и дошло до нее во всей полноте.

Но не давал ей Сережа горевать и задумываться. Он уже показывал на крупную, седовато-черную ягоду, с наглым вызовом расположившуюся в мясистой сердцевине листьев:

— В-вороний глаз?

— Вороний глаз, — послушно подтвердила она. — А это вот заячья ягодка — майником зовется. Красивая ягодка и до притору сладкая. Вспомнил ли?

Он напряженно сморщил лоб. На лице его появилась болезненная сосредоточенность, и она догадалась, что его контузженная голова устала, и заторопила:

— Пойдем, пойдем!

В речке он падал на черемуху, хватал ее горстями.

— С-сладко!

— Выстоялась. Как же ей несладкой быть?

Он пристально поглядел на нее. Совсем недавно, всего месяца три назад, Сергей стал чувствовать сладкое, а до этого ни кислого, ни горького не различал. Неведомо Паше, что это такое. И мало кому ведомо.

Еще раз, по уже не настойчиво показал он ей на перелитый вокруг черемухи хмель, и она утомленно объяснила:

— Жаркое лето было. Вот и цету шишек. Нитки да листья одни. Хмелю сырость падо.

Он устал, обвис на костылях, и она пожалела, что послушалась его и не вызвала подводу. Часто садились отдыхать возле стогов. Он мыл в руках сено, нюхал. И взгляд его оживлялся. Сено, видать, он уже чуял по запаху.

На покосах свежо зеленела отава, блекло цвели погремки и кое-где розовели бледные шишечки позднего клевера. Небо, отбеленное по краям, было тихое, ясное, незазойливо голубело. Предчувствие заморозков угадывалось в этой призрачной тишине.

Ближе к поселку Сергей ничего уже не выпрашивал, суетливо перебирал костылями, часто останавливался. Лицо его подтаяло, на верхней губе выступил немощный, мелкий пот.

Поселок с пустыми огородами на окраинах выглядел голо и сиротливо среди нарядного леса. Дома в нем постарели, зачернелись, да и мало осталось домов. Мелкий лес вплотную подступал к домам. Подзарос, запустел поселок. Не было

в пем шума и людской суетни. Даже и ребятишек не слышно. Только постукивал в глуби поселка движок и дымила наполовину сгоревшая артельная труба, утверждая собою, что поселок все-таки жив и идет в пем работа.

— М-мама? — повернулся Сергей к Папе.

— Мама все гляденья, поди, проглядела. Давай я тебе помогу в гору. Давай, давай!..

Опа отобрала у Сергея костыли, почти взвалила его на себя и выволокла в гору, но там костыли ему вернула, и по улице они шли рядом, как полагается.

— Красавец ты наш неаглядный! — заголосила Папина мать. — Да чего же она с тобой сделали, проды ерманские-е?! — и копной валянулась на крыльцо. Зятя она любила не меньше, а показывала, любит больше дочери. Он стоял перед ней худенький, вылежавшийся в душном помещении и походил на блеклый картофельный росток из подпола.

— Так и будете теперича? Друг на дружку глядеть? — прикрикнула Пания.

Старуха расцеловала Сережу увядшими губами и, помогая ему подняться на крыльцо, жаловалась:

— Заела она меня, змея, заела... Теперь хоть ты дома будешь... — И у нее заплясали губы.

— Да не клеви ты мне солдата! — уже с привычной домашней списходительностью заворчала Пания, глядя на мать и на мужа, снова объединившихся в негласный союз, какой у них существовал до войны.

Всякий раз, когда приходилось идти от Пихтовки в поселок одному, Сергей Митрофанович заново переживал возвращение с войны.

Меж листовника темнели тапавшиеся до времени ели, пихты, пасеянные сосны и лиственницы. Они уже давили пустырный чад — иппак, бузину, малинник, осипу и березник. Лицы впереголки с хвойняком тянулись ввысь, скручивали ветви, извертывались черными стволами, но места своего не уступали.

И стогов на вырубках поубавилось — позаросли покосы. Но согры затягивало трудно. Лесничко па них чах и замирал, не успевши укрепиться.

По косогорам пспекло ипеем позднее грибы. Шапки грибов пьяно съехали набок. В озерны и лужи падала прихваченная черемуха и рябища, капелью решетила воду. Шорохом и вздохами наполнены старые вырубы.

Через какое-то время здесь снова начнется заготовка леса, а пока сводят старую березинки. До войны березы

по рубили. Когда прикончили хвойный лес, свернули участок лесозаготовителей, открыли артель по производству мочала и фалеры.

Сергей Митрофанович работал пилоправом, а Папа в мокром цехе, где берсзовые сутунки запаривали в горячей воде и потом разматывали, как рулоны бумаги, выкидывая сердцевины на дрова.

Свернув с разрезанной дороги на тропу, Сергей Митрофанович пошел вдоль речки Каравайки. Когда-то водился в ней хариус, но лесозаготовители так захлामी речку, а на стеклозаводе, что припик к Каравайке, столько дерьма пускают в нее, что мертвой она сделалась. По сию пору гнили в речке бревна, пенья, отбросы. Мостики на речке просели, дерном покрылись. Густо пошла трава по мостам, в гнилье которых уж и плодятся — только им тут и сподобно.

Тропка заплеталась от речки по пригорку, к огородам, с уже убранной картошкой. В поселке, установленное на клубе, звучало радио. Сергей Митрофанович прислушался. Над осенней, тихой землей разносилась нерусская песня. Поначалу Сергею Митрофановичу показалось — поет женщина, но, когда он поднялся к огородам, различил — поет мальчишка, и поет так, как ни один мальчишка еще петь не умел.

Чудилось, сидел этот мальчишка один на берегу реки, бросал камешки в воду, думал. Но сквозь его бесхитростные, детские думы просачивалась очень уж взрослая печаль.

Он подражал взрослым людям, этот мальчишка. Но и в подражании была неподдельная искренность, детская доверчивость к его чистому, еще не захваченному миру.

— Ах ты, парнишечка! — шевельл губами Сергей Митрофанович. — Ах ты, парнишечка! Из каких же ты земель? — Он напрягся, разбирая слова, но не мог их разобрать, однако все равно боязливо было за мальчишку, думалось, сейчас вот произойдет что-то непоправимое с ним, накличет он на себя беду, и Сергей Митрофанович старался дышать по возможности тихо, чтоб не пропустить тот момент, когда еще можно будет ему помочь.

А тот все пел и пел. Про что хотелось, про то и пел, не скрытничая, не таясь от людей. Вот, мол, я, весь перед вами.

Осо... осо-о-о-ол-ле... —

донеслось до Сергея Митрофановича, и он встрепенулся обра-
дованно:

— Солнце, брат, солнце. Вон оно к закату катится, может, к вашей державе? Пой, брат, громче. Глядишь, одумаются люди, поймут, что солнце на всех одно...

Сергей Митрофанович не знал, что мальчишку уже по докличешься и ничем ему не поможешь. Вырос мальчишка и затерялся, как вышедшая из моды вещь, в хламе эстрадной барахолки. Слава яркой молнией накоротко ослепила его жизнь и погасла в быстротекущей памяти людей.

Радио на клубе затворило что-то. А Сергей Митрофанович все стоял, опершись рукою на огородное прысло, и почему-то горестно вилился перед пивуном-парнишкой, перед теми ребятами, которые ехали служить в незнакомые места, разлучившись с домом.

Оттого что у Сергея Митрофановича не было детей, он всех ребят чувствовал своими, и постоянная тревога за них не покидала его. Скорее всего, получилось так потому, что на фронте он уверил себя, будто война эта последняя и его увечья и муки тоже последние. Не может быть, думалось ему, чтобы после такого побоища и самоистребления люди не образумились.

Он верил, и вера эта прибавляла ему в всем окопникам сил, — тем, кого они нарожают, неведомо будет чувство страха, алобы и неспависти. Жизнь свою употребляют они будут только на добрые, разумные дела. Ведь она такая короткая, человеческая жизнь!

Не смогли сделать, как мечталось. Он не смог, отец того голосистого парнишки не смог. Все не смогли. Война таится, как жар в загнете, и землю то в одном, то в другом месте огнем прошибает.

Оттого и беспокойно на душе. Оттого и вина перед ребятами. Иные брехией и руганью обороняются от этой вповатости. По радио однажды выступал какой-то заслуженный старичок. Чего только не говорил он! И не ценит-то молодежь ничего, и старших-то не уважает, и забыла она, неблагодарная, чем ее обеспечили, чего ей понастроили...

«Но что ж ты, старый хрен, хотел — чтоб они тоже голышом ходили! Чтоб недоедали, недосыпали, кормили бы по баракам вшей да клопов? Почему делаешь вид, будто все хорошее детям дал ты, а худое к ним с неба свалилось? И честишь молодяк таким манером, ровно не тлел они дети, а подкидыши?..»

До того разволновался Сергей Митрофанович, слушая важного, но лукавого старика, что плюнул в репродуктор и выключил его. Но память и совесть не выключишь.

«Корить и куражиться пад молодняком — это прощо простого. Они выкормлены нами и за это лишены права возражать. Кори их. Потом они начнут своих детей корить. Так и пойдет сказка про мочало, без конца и без начала. А пот дорасти бы до того, чтобы дети уважали старших не только за хлеб... И волчппа своим щенятам коры добывает, ипой раз жизнью жертвует. Щенята ей морду лизут за это. Чтоб и нас облизывали? Так зачем тогда молодым о гордости и достоинстве толковать?! Сами же впущасм и сами же притужальник устраиваем!..»

Паня вернулась с работы и поджидала Сергея Митрофановича. Она смолоду в красавицах не числилась. Смугло-линая, скуластая, с мужиковатой походкой, с руками, рано познавшими работу, она еще в певичах выглядела гром-бабой. Но прошли годы, отцвели и завяли в семейных буднях ее подруги, за которыми наперебой когда-то бегали парни, а ее время будто и не коснулось. Лишь поутихли, смягчились глаза, пристальней сделались. Время спяло с них блеск шалого, горячего беспокойства. Лицо ее уже не круглилось, щеки запали и обпакжили крутой, не бабий лоб с двумя морщинами, которые, воперкос всем женским поиятиям о красоте, шли ей. Без падажности делающая любую работу, как будто беззаботно и легко умеющая жить, она злила собою плаксивых баб.

«Нарожала б ребятешек кучу да мужик не мякиш попался бы...»

Она никогда не спорила с бабами, в рассужденья насчет своей жизни не пускалась. Муж ее не любил этого, а что не по душе было ему, не могло быть по душе ей. Она-то знала: все, что есть в ней и в нем хорошего, они перепадали друг от друга, а худое постарались изжить.

Старуха копалась в огороде, вырезала редьку, свеклу, морковь, недовольно гремела ведром. Дом восьмиквартирный, и огорода каждому жильцу досталось возле дома по полторы сотки. Постоянно роясь в огороде, мать тем самым доказывает, что хлеб она ест не даром.

— Да ты, никак, выпивши? — спросила жена, встречая Сергея Митрофановича на крыльце.

— Есть маленько, — виновато отозвался он и впереди Папи вошел на кухню. — С повобраицами повстречался, вот и...

— Ну дак че? Выпил и выпил. Я ведь ниче...

— Привет они тебе передавали. Все передавали,— сказал Сергей Митрофанович.— Это тебе,— сунул он пакетик с персиками Пани,— а это всем нам,— поставил он красивую бутылку на стол.

— Гляди ты, они шероховатые, как мыша! Их едят ли?

— Сама-то ты мыша! Пермляк солёны ушш! — с улыбкой отозвался Сергей Митрофанович.— Позови мать. Хотя постой, сам позову.— И, сникши голопой, добавил: — Что-то мне сегодня...

— Митрофаны-ыч! Ты чего это? — быстро подскочила к нему Пани и подняла за подбородок лицо мужа, заглянула в глаза.— Разбредили тебя опять? Разбредили...— И заторопилась: — Я вот чего скажу, послушай ты меня — не ходи ты больше на эту комиссию. Всякий раз как обпаренный воруешься. Не ходи, прошу тебя. Много ли нам падо?..

— Не в этом дело,— вздохнул Сергей Митрофанович и, приоткрыв дверь, крикнул: — Мама! — и громче повторил: — Мама!

— Че тебе? — недовольно откликнулась старуха и звякнула ведром, давая понять, что человек она запятой и отвякаться ей некогда.

— Иди-ка в избу.

Панина мать была когда-то жёнщиной компанейской, пошивала, и не только по праздникам, а теперь изображала из себя святую постницу. Явившись в избу, она увидела бутылку на столе и заворчала:

— С каких это радостей? Втору группу дали?

— На третьей оставили.

— На третьей. Они те втору уж на том свете вырешат...

— Садись давай, не ворчи.

— Есть когда мне рассиживаться! Овощи-те, кто рыть будет?

Панина мать и сама Пани много лет назад уехали из северной уральской деревни, на производстве осели, здесь в старика схоронили, но говор пермяцкий так и не истребился в них.

— Сколько там и овощ-те? Четыре редьки десятком морковин! — сказала Пани.— Садись, приглашают дак.

Старуха побрепчала рукомыльником, подседа бочком к столу, взяла бутылку с ярко размалеванной наклейкой.

— Эко палепили на бутылку-то! Дорого небось?

— Не дорожэ денег,— возразила Пани, давая укорот матери и как бы поддерживая мужа в вольных расходах.

— Ску-у-усна-а! — сказала Панипа мать, церемонно выпив рюмочку, и Сергей Митрофанович вспомнил, как повобрапец в кепке обсасывал сыр с пальца. — Ты же жмешь, Парапка? — рассердилась старуха. — Где-то куружовник есть, огорчип. У нас все есть! — гордо стукнула она кулаком в грудь и метнулась в подполье.

После второй рюмки она сказала:

— На меня не напасешиа, — и ушла из застолья, оставив мужа с женой наедине.

Сергей Митрофанович сидел в переднем углу, отвалившись затылком на стену, прикрыв глаза. Деревяшка, вытертая тряпкой, сушилась на шестке русской печи, и без нее было легко ного, легко телу, а сердце все подмывало, подмывало.

— Чего закручинился, артиллерист гвардейский? — убрав лишнее со стола, под села к мужу Паня. — Спел бы хоть. Редко ты петь стал.

— Слушай! — открыл глаза Сергей Митрофанович, и где-то в глубине их разглядела Паня боль. — Я ведь так вроде бы и не сказал тебе ни разу, что люблю тебя?

Паня вздрогнула, отстранилась от мужа, и по лицу ее прошел испуг.

— Что ты! Что ты! Бог с тобой!..

— Так вот и проживешь жизнь, а главное-то и не сделаешь.

— Да не пугай ты меня-а!..

Он нашарил ее, притиснул к себе. Затылок жены казался под ладонью детским, беспомощным. Паня утихла, лица не поднимала, стеснялась, видно.

Потом она ласково провела ладонью по его лицу. Ладонь была в мозолях, цеплялась за непробритые щеки. «Шероховатые», — он едва удержался, чтобы не погладить ладонь жепы. Паня уютно припала к его плечу:

— Родной ты мой, единственный! Тебе — чтоб все счастливые были, да как же это устроишь?

Он вспомнил ее молодую, подавленную. В родном селе подпугал ее старшина катера, с часами на руке, лишил девичества. Он ни словом, ни намеком не ушиб ее, но в душе все же появилась мужицкая ссадина. Так с нею и на фронт ушел, и только в долгой разлуке рассовалось все, и обида оказалась такой махонькой и незначительной! Видно, в отдалении от жены и полюбил он ее, да все открыться не смел.

«Ах, люди, люди! Зачем же с таким-то прятаться? Или

затаскали слово до того, что и произносить его срамно?»

— Старенькие мы с тобой становимся,— чувствуя под рукой заострившиеся позвонки ее спины, чуть слышно прошептал Сергей Митрофанович.— К закату клонимся...

— Ну уж...

— Старенькие, старенькие,— настаивал он и, отстранив жену, попросил: — Налей-ка по последней. Выпьем с тобой за всех нас, стареньких.— И сам себя перебил: — Да нет, пусть за нас другие, колп вспомпят. А мы с тобой за ребяташек. Едут где-то сейчас...

Папя провинно порхнула со скамьи, налила рюмки с краями. Когда выпили, со звуком поцеловала его в губы и прикрылась после этого платком.

— Эко вас, окаянных! — заворчала старуха в сенях.— Все никак не памплются. Ораву бы детишков — некогда челомкаться-то сделалось бы!..

У Сергея Митрофановича дрогнули веки; сразу беспомощным сделалось его лицо, не пробритое на впалых щеках и под нижней губой,— ударила старуха в самое больное место.

«Вечно языком своим долгим болтает! Да ведь что? — хотела сказать Папя.— Детишки, они пока малы — хорошо, а потом, видишь вот, отколупывать от сердца падо...» Но за многие годы она научилась понимать, что и когда говорить падо.

— Наплевай ты на все! Пой лучше. Может, на душе полегчает.

Сергей Митрофанович поспел, зажав в горсть лицо, и тихо, ровно бы для себя, зашел:

Соловьем залетным
Юность пролетела...

Папя слушала, слухала и заткнула рот платком. Она сама не понимала, почему плачет, и любила в эти минуты своего Сергея так, что скажи он ей сейчас — пойди и прими смерть, она пошла бы и приняла бы смерть без страха, с горьким счастьем в сердце.

Не стиская рук ото рта и плохо видя его сквозь слезы, Папя причтала про себя: «Ой, Митрофанович! Ой, солдат ты мой одноподный!.. Так, видно, и по избыть тебе войны до гробовой доски? Где твоя память бродит сейчас? По каким краям и окопам? Запахали окопы, хлебом заросли, а ты все тама, все тама...»

Она притиснула его к себе, торопливо пробежала губами

по его горестному лбу, по глазам, по лицу, тремеща вся от благодарности за то, что он есть. Живые полоски на его лице покалывали губы, рождая чувство уверенности, что и вечно он будет с пею.

— Захмелел я что-то,— тихо молвил Сергей Митрофанович.— Пора костям на место. Сладкого помаленьку, горького не до слез.

— Еще тую. Про нас с тобой.

— А-а, про нас. Ну, давай про нас:

Ясным ли днем
Или ночью угрюмому...

И снова увидел Сергей Митрофанович перед собой странных ребят, нарядную, заревавшую девочку, бегущую за вагоном. Эта песня была и про них, еще не умеющих защищаться от разлуки и горя.

Старухи на завалинке слушали и сморкались. Папина мать жалостливо рассказывала в который уж раз:

— В ансамблю его знали, а он, простофиля, не дал согласия.

— Да и то посуди, кума: если бы все по асаблям да по хорам, кому бы тогда воевать да робить?

— Неправильные твои слова, Анкудиновна. Воевать да робить всякий может. А талант богом даден. Зачем он даден? Для дела даден. На утешенье страждущих...

— Талант у каждого человека есть, да распорядиться на него не выдано.

— Мели.

— Чего мели? Чего мели? Талант — делать другим людям добро — все одно есть, да пользуются им не все. Ой, по все!

— У меня вот талант был — детей рожать...

— Этого у нас у всех излишек.

— Не скажи. Вот Паныка-то...

— А чего Паныка? Яловая, что ли? В ей изъели? В ей? — взъелась Папина мать.

— Тише, бабы, слушайте.

Но просудачили песню старухи. Подождали они еще, позавали, которые крестясь, а которые просто так разошлись по домам.

На поселок опускалась ночь. Из низины, от речки Каравайки, по ложкам тянуло изморозью, и скоро на траве выступил иней. Пятнадцать начало огороды, отаву на покосах,

крыши домов. Стояли подвижные леса, и цепенел на них последний лист.

Шорохом и звоном наполнятся утром лес, а пока над поселком плыло темное небо с яглыми звездами. Такие вызревшие, еще не остывшие от лета звезды бывают лишь осенью.

Покой был на земле и в поселке. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал оружийный расчет, много оружийных расчетов. Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала в себя осколки, глушила собою отзвуки битв...

ЕВГЕНИЙ НОСОВ

ШОПЕН, СОНАТА НОМЕР ДВА

После первых осенних дождей серый пыльный большак почершел, умягчился упруго и был до глянца накатан автомобильными колесами. Сахарозаводской грузовик бежал по нему ходко, почти не гремя бортами, будто по асфальту. В шоферскую кабину никто не стал подсаживаться, всем оркестром в двенадцать человек ехали в кузове на клубных откидных стульях. Здесь, на вольном ветерке, можно было слушать, как Ромка, валторнист, травит спол бесконечные анекдоты, и перешучиваться со студентками, присланными убирать сахарную свеклу. Машина, сверкавшая никелем труб, привлекала девчат, что работали по всей дороге, они отрывались от бурачных куч и с любопытством глядели из-под ладоней, выпачканных землей, на разнаряженных музыкантов.

— Эй, заглежалки! — задевали их ребята. — Сыграть вам па-де-де? Чтоб веселее работалось?

Ромка хватал с колен валторцу и, пузырясь на ветру плащом-боловней, рвал студеный осенний воздух рублеными пронзительными алуками «Лебединого озера»: «Лата-та-тата-а-тара-та-а-а...»

В ответ летели бураки, грохали по машине, парил, с хохотом пригibasясь, прятали головы за высокие планчатые борта, а Пашка, схватив тарелки, ловко, по-теннисному, со звоном отбивал ими свеклу.

— Полегче, полегче там! — кричал он с азартом, поправляя сбитую кепку. — Чего урожай расходуете!

— Взяли б да помогли! — кричали девчата. — Ишь, вырядились! Тунеедцы.

Машина пропоспалась мимо, а по сторонам, зажигаясь шутливой перебранкой, уже бежали к дороге, к грузовику, новые стайки девчат и дружно бомбили кузов бураками.

— Эх, соскочу! — хохотал Пашка. — Ой, поймаю курлосую! — Под градом бураков он уже не отбивался, а лишь закрывал лицо тарелками, тогда как Ромка, высунув за борт только раструб, продолжал неистово дудеть, подзадоривать студенток: «Ги-та-та-та-а-а...»

Шофер неожиданно тормознул, в решетке заднего окна показалось его злое лицо.

— Вы что, чокнутые? Стекла побьют!

Дядя Саша, старший в оркестре, от самого завода ехавший стоя, облокотясь о кабину, и тоже во время палета девчат вынужденный пригнуть голову, обернулся и осадил парней:

— Хватит вам! Павел, ты как с инструментом обращаешься!

— А что ям сделается? — Пашка с недоумением повертел выключенными дисками.

Дядя Саша нахмурился.

— Положи тарелки. Нашел игрушки! И вы тоже — угомонитесь.

— Все, старшой, все!

Ребята нехотя рассаживались по стульям.

А дядя Саша ворчал:

— Разбаловались, понимаетесь... Не на свадьбу едем. Поимать надо.

— Ну все, отбой. Мир-дружба.

Серенькая, в мелком крапе кофка старшего была надвинута до самых бровей. От встречного ветра фиолетово сипели впалые щеки, чисто выбритые перед самым отъездом. Из кармана жесткого шевятового плаща воронкой кверху торчала его сольная труба в черном сатеновом чехольчике. По давней привычке он всегда держал ее при себе.

Ромка снова принялся за свои байки, ребята обступили его, висли на плечах друг у друга, гоготали вовсю. А дядя Саша, расстегнув плащ, из-под которого сверкнула на пиджаке красная орденская звезда, достал из бокового кармана сигарету и, раскурив ее в записке, за кабиной, продолжал отрешенно глядеть на бегущую встречу дорогу.

Мимо с глухим ревом и чадными выхлопами прошел КраЗ. В кузове, нарощенном грубыми неоструганными досками, и в двух его прицепах дядя Саша успел разглядеть серые вороха еще не просохшей свеклы. Следом промчались два голубых близнеца-самосвала — тоже со свеклой, и у обоих на дверцах по белому знаку автотранса. Колхозы спешили,

нока позволила погода, управиться с самой докучливой культурой.

Великая русская равнина в этих местах постепенно начинала холмиться, подпирать небо косогорами, отметки высот уже уходили, пожалуй, за двести метров ввысь. В глубокой древности эту гряду холмов так и не смог одолеть ледник, павнувший из Скандинавии. Он разделился на два языка и пополз дальше, на юг, обтекая гряду слева и справа.

И, может быть, не случайно на этих высотах, не одолённых ледником, без малого тридцать лет назад разгорелась небывалая битва, от которой, как думалось дяде Саше, спасённые народы могли бы пачать новое летоисчисление. Враг, грозивший России новым оледенением, был остановлен сначала в междуречье Днепра и Дона, а потом разбит и сброшен с водоразделенных высот. В августе сорок третьего, будучи молодым лейтенантом, тогда ещё просто Сашей, он заскочил на несколько дней домой и успел захватить следы этого побоища на южном фланге. К маленькой станции Прохоровке, куда был нацелен один из клещевых вражеских ударов, сапёры свозили с окрестных полей изувеченные танки — свои и чужие. Мертво пабычась, смердя перегоревшей соляркой, зияя рваными пробоями, стояли рядом «фердинанды», «тигры», «пантеры», пашы самоходки и «тридцатьчетверки», союзные «черчиллы», «шерманы», громоздкие многобашенные «викторины». Они образовали гигантское кладбище из многих сотен машин. Среди них можно было и заблудиться.

Дядя Саша курил на ветру, оглядывая высоты, ныне дремлющие под мирными нивами, а сзади него ребята шумно обсуждали какую-то поселковую новость.

— Зойка приехала? — слышался возбуждённый Пашкин голос. — Заливайшь!

— Сам видел, — рассказывал Роман. — Юбка — во! До пят! С каким-то флотским.

— Хахаль небось.

— Да похоже — муж. В упивермаге ковер смотрели. Я подхожу: привет, Зоя. А она черными очками зырк-зырк: «Это вы, Рома? Я вас и не узнала. Богатым будете».

— Про меня не спросила? — с целовкостью хохотнул Пашка.

— Нужеп ты ей больцо!..

Тогда, в Прохоровке, дожидаясь попутной машины домой, на сахарный завод, дядя Саша долго ходил среди танковых лавазов. Знойный августовский ветер подвывал в поникших

пушечных стволах, органно и скорбно гудел в стальных расклеванных солнцем утробах. Но и мертвые, с пустыми глазницами триплексов, танки, казалось, по-прежнему не павидели друг друга. Дядя Саша разглядывал пробонны, старался распознать, кто и как обрел свой конец, пока не затолкнулся в одном месте па тошнотворно-сладкую вонь, исходящую от «тигра» с оторванной пушкой. Видно, наши саперы, перед тем как оттащить танк с поля боя, по небрежности не обнаружили внутри, проглядели труп немецкого танкиста. А может, в тот момент он еще и не был трупом...

— Спорим, уведу! — все кричал, горячился Пашка за спиной дяди Саши. — Нет, спорим?!

— Кого, Зойку? От этого морячка? Сядь, не рыпайся.

— Давай па бутылку коньяку. Жорик, будь свидетелем!

— Брось, дело дохлое, — успокаивал Ромка. — Морячок — что надо. Бумажник достал за ковер платить — одли красненькие.

— Плевал я на красненькие. Только пальцем поманю. Я ж с ней первый гулял.

— Ты первый? Ну, трепач!..

Теперь этого танкового кладбища нет. Оно распахано и засеяно, а железный лом войны давно поглотили мартены. Заровняли, сгладили оспленные рытвины от мин и фугасов, и только по холмам остались братские могилы.

Дядя Саша, иногда паведываясь в поле с ружьем, замечал, как трактористы стороной обводят плуги, оставляют нетроутыми рыжие плешины среди пашни. И как пастухи, выгоняя гурты па живые, не дают скотине топтать куртилки могильной травы. Лишь иногда просеменит меж хлебов к такому месту старушка из окрестной деревни, постоит склоненно в немом раздумье и, одолев скорбь, примется выпалывать с едва приметного взгорка жесткое чернобылье, оставляя травку поласковой, позднее: белый выюшок, ромашку, спние цветы дикория, а уходя — перекрестит эту траву иссохшей щепотью. Случалось, дядя Саша и сам печально пабредал па такой островок, где в жухлой осепней траве среди пашни охотно ютились перепелки, и подолгу задерживался перед ржавой каской, вептавшей могильное пголовье. Иногда сидел здесь, усталый, до самой вечерней зари, паедине со своими мыслями, смотрел, как печально сочатся закаты пад этими холмами, и казалось ему, будто зарытые в землю кости все прорастают то тут, то там белыми обелисками и будто сам он, лишь чудом не polegший тогда во рву, прорастает одним из них...

— Дядя Саша! — не сразу услышал старшой. — А, дядя Саша!

Он обернулся и увидел грапеный буфетный стакан, протянутый Севой-барабанщиком. Круглое лицо Севы с выступающей пз-под берета ровной челочкой было деловито озабочено. От хода грузовика водка всплескивалась, подмачивая половипку соленого огурца, которую он придерживал большим пальцем поверх стакана.

— С вами за компанию, — поддержал Ивап, по прозвищу «бейпый», высокий нескладный парень, с белесым козьим пушком на скулях, пгравший в оркестре на бейлом басы.

Дядя Саша чуть было не сорвался, чуть не крикнул на Севу: «Ах ты паршивец! Ты ж еще в девятый класс ходишь, еще молоко на губах не обсохло! Выгоню к чертовой матери пз оркестра!» Но не выдержал его мальчишески ясного, доброго, терпеливого взгляда, смягчился и только сказал:

— Я не буду. Спасибо.

— Дядя Саша! Ну, дядя Саша! — наперебой загомонили ребята: и Ромка, и альтовик Сохпн, и второй тенор Белибин.

Дядя Саша недовольно молчал.

— Ладно тебе, шеф! — с обидой сказал Пашка. — Холодно ведь. До костей продуло. — Он зябко потер ладоши. — А ты не будешь, так и мы не будем.

— Нет, ребята, — твердо сказал дядя Саша. — Вы как хотите, а я не могу дышать водкой в мундштук. Мне гвям сегодня играть, — и отвернулся.

— Так и пам играть! — почему-то обрадовались ребята. — Что ж теперь — выливать за борт.

— Да заткнитесь вы! — оборвал Ромка.

— Севка! — обжжеппо крикнул барабанщику Пашка. — Дай сюда стакан! Дай говорю, — и, досадливо кривясь, целясь из стакана в горло бутылки, зажатой меж колен, обрызгивая брюки, стал переливать водку. — Ну и черт с вами! — ворчал он громко неизвестно на кого. — Все такие идейные стали. Еще попросите, а я не дам.

Въехали в знакомую Тихую Ворожбу. Напово отстроенное село больше не угрюмилось соломенными кровлями. Перед домами за весело раскрашенными штaketпиками багряно кучерявилась вишнями молоде. На еще зеленой уличной траве мальчишки, отметив кирпичами футбольные ворота, азартно гоняли красно-синий мяч с западающими боками. Увидев грузовик с оркестром, они всей ватагой помчались следом, свистя и горапая. И долго еще гналась вслед рыжая собачонка, с хриплым лаем подкатываясь под заднее колесо.

Сева, перевесившись через борт, поддразнивал ее, замахиваясь барабанной колотушкой.

— Ну, честное слово, как маленькое, — досадливо обернулся дядя Саша.

Ему почти не верилось, что на этой тихой улочке, по ее мураве, некогда тянулись глинистые, гнойно-желтые рубцы окопных брустверов, зияли под ногами стреляные гильзы и сухой ветер рассеивал золу с горячих еще пепелищ.

Громыкнул под колесами расшатанный мостик, впису холодно блеснула осенняя вода, усыпанная палым листом, и сразу же на той стороне, на взгорке, завиднелись избы, но уже другого села, Заполья, тоже восставшего из праха.

Свернув с большака, проехали еще какие-то деревни и раза два пересекли похожие друг на друга речушки. Они во множестве начинались здесь, среди этих водораздельных высот, и разбегались на все стороны света: одни — на запад, к Днепру, другие — к Дону, иные же, сливаясь с притоками, несли свою ключевую свежесть далекой Волге.

За последней деревней, за сырым кочковатым лугом, выпер очередной увал. Сквозь редкие ольхи черпал он осенней пахотой, был крут и паг, как все здешние высоты, на которых из-за ветров и безводья не принято было устраивать жилья, а лишь ставились в прежние времена ветряные мельницы, сгинувшие бесследно в огне последней войны. Мельниц там больше не возводили, а только под осень выметывали соломенные стога, у которых потом, уже по снегу, мышковали голодные лисы. Отсюда, снизу, казалось, что нахолодавшие облака снизу брюхом задевали неприютную хребтину, и там, на ветряном юру, вдруг стала видна на черной перепашанной земле большая пестрая толпа. Люди вдали безмолвно по-мурашьи копошились, перемешивались на одном и том же пятачке, и оттого порой пронзительно вспыхивало под низким солнцем стекло стоявшей там автомашины. Глядя на этих людей, на их молчаливое топтанье в пустынном поле, уже прибранном под зиму, на котором не могло быть никакой работы, никакой причины собираться гуртом, парни в кузове невольно присмирели, поняв, что это и есть то самое место, куда их вез старшой.

Молча въехали проселком на крутую гору, по свежим колеям свернули на тряскую пахоту. Чуть поодаль от толпы, за соломенной скирдой, стояли мотоциклы, грузовые машины, прямо на земле лежали велосипеды. У брошенной сенокосилы белела «Волга». Люди толпились на доске петропу-

той желтой стерни, вокруг покрытого брезентом невысокого копуса. Тут же, у подножья, валялись оставшиеся от кладки битые кирпичи, доски опалубки, заляпанные цементом. Школьники в ярких галстуках и белых одишаковых пилюточках старательно собирали весь этот мусор.

К машине с оркестром тотчас подошло несколько человек, и дядя Саша сразу узнал бывших фронтовиков из здешних деревень, с которыми не раз встречался в райбольнице, на птаковских комиссиях. Прямо через борт он обрадованно пожал руку Степану Холодову из Долгушей, Тихону Аляпину с железподорожного разъезда, однополчанину Федору Бабкину, еще двум-трем незнакомым мужикам и делу Василию, который, не глядя на хромоту, шустро суетился вокруг грузовика.

— Давай, ребята, струмент сюда,— хлопотливо распорядился дед Василь, ланонью отбивая крючья заднего борта. На нем была артиллерийская фуражка тех лет, еще свежая, незапашенная, должно быть, он берег и надевал ее только по торжественным случаям, а на груди, совсем не по уставу, прямо на новенькой синей телогрейке, покачивались белые и желтые медали.— На травку струмент несите, па травку.

Он припаял через борт самую большую, спящую пикелем трубу и берсжно понес ее перед собой, как горячий самовар. Тихон в однурукий Степан погасили за растяжки барабан. Вслед поехали, ближе к обелиску, все остальные дудки и трубы. Тут же, на стерне, уже были разложены рядом еловые ветки с яркими бумажными цветами.

— На траве оно мягче,— уважительно приговаривал дед Василь.— Струмент все-таки. Вещь ценная...

По всему было видно, что, кроме оркестра, ждали еще кого-то. Под скирдой в затишке сидели женщины. Возле них помошшили дети, затеяли беготню вокруг соломы. Пашка, а за ним и остальные заводские, словно бы невзначай, подошли к местным парням и девчатам. После церемонных рукопожатий гарни сразу закурили, и вот уже Роман под одобрительные смешки принялся травить свои байки.

Несколько мужчин, должно быть, председатели колхозов, все в коротких плащах и шляпах, обособленно держались возле светлой «Волги». На загорелых шеях белели негнущиеся воротники нейлоновых сорочек. Они тоже покуривали без пужды и были несколько скованы непривычной торжественностью своей одежды и ожиданием предстоящего.

Фронтовики постояли возле сложенных труб, разглядывая хитросплетения блестящих колес и клапанов, потом, как

всегда при встречах, припились вспоминать, кто и где воевал, докуда дошел, где застала победа.

— У тебя, Федор, вроде б «Слава» была? — спросил дядя Саша.

Федор махнул рукой сокрушенно:

— Да не нашел. Кинулся в сундук — вот эти лежат, а «Славы» нету. Небось впуск, демопенок, баловался и заделал куда-то. Приставал, помню: дай попросить, дай попросить. Ну, иа, говорю, померяй, побудь в героях. А он, вишь, и забельшил невесть куда.

— А то, глядишь, променял дружкам на какую свистульку, — дед Василий смеялся беззабывым ртом. — Понятнее никакого пету, чем за это плачено.

— Да опи, медали-то, вроде как уж и без надобности были, — сказал незнакомый дяде Саше мужик в литых резиновых сапогах. — Победу и ту снова забыли спраздновать. Самый для ордепов подходящий день. Многие поотвыкли, вроде и совестно выряжаться. Это вот теперь опять надевать начали.

Старые солдаты, смущаясь, исподволь разглядывали друг на друге боевые награды — у кого сколько и какие.

— Медали пришилить — куда яп шло, — сказал Степан Холодов, взглянув на новую телогрейку деда Василия. — От них на одежке никаких следов не останется. А ежели, к примеру, Красную Звезду, дак эпон какая дырка! К маю купил новый костюм, и сразу задача: надевать ее ай пет? И надеть охота, и костюм дырывать жалко.

— Оно ежели б как раньше: навишил, да и носи без съему, — поддакнул фронтовик в резиновых сапогах.

— Ну да, ну да, — кивнул Холодов. — Не стапешь же потом всякому пояснять, что дырка-то не простая, а почетная.

Солдаты посмеялись незатейливой шутке, и Холодов спросил:

— Ты, Федор, за свою «Славу» сколько получал?

— Уж и не помню... Рублей тридцать, кажись. Еще старым.

— Выходит, трешку по-понешнему?

— Дак пыче и вовсе ничево, — заметил Тихон Аляпин.

— Знаю, что ничево. Это я так, прикинуть. А вообще-то надо бы опять платить наградные. Раз уж ордена начали носить.

— Всем платить — ого, сколь надо!

— Да уж сколь? Всего-то рубльничко за «Отвагу».

— Тебе рубль да другому рубль — миллион и лабежит. Одной «Отваги» и то знаешь сколько?

— Ну, не скажи. Теперь не больно-то густо осталось,— возразил Холодов.— Много ее, «Отваги»-то, на красных подушечках отнесли. Одних маршалов сколь проводили. По газетам гляжу: то один, то другой в черной рамке. А уж нашего брата и подавно большой укос. Да вот считай: тогдашним повобранцам и то уже под пятьдесят...

— Так-то оно так. Костлявая чипов не разбирает...

— Выходит, казне полегче теперь стало. Можно бы каковую мзду и начислить солдату, который еще уцелел.

— Ну и крохобор ты, Степк! — сплюнул Федор.— Дай награду тебе, да еще мзду в карман. Да пусть мы наемники, что ли? Не чужое обороняли, свое, кровное. К тебе, допустим, в хату воры полезли, а ты их взял да и поколотил. А потом матери своей говоришь: «Я воров прогнал, проявил героизм, давай, мать, за это трояк!» Везд не стапешь у своей же матери требовать? Не стапешь! Так и это надо понимать.

— Ну, уел, уел он тебя, Степка! — засмеялись фронтовики.— Ничего не скажешь!

— Да я про что? — тоже рассмеялся Холодов.— Мне разве деньги пужны, чудак человек. Трешка — какая пожива? А когда прежде их платили, вроде бы пустяк, табачные деньги, а — приятно! Вот я про что. Идешь, книжечку предъявляешь — тебе очередь уступают, глядят с уважением.

— Тебе и сейчас уступают, воп рукав пустой.

— Да по дюже-то раздвигаются.

— Э-э, мужички! — воскликнул дед Василий.— Какой разговор завели! Скажи спасибо, живы остались. Сам бы от себя платил!

К фронтовикам подошел председатель здешнего колхоза Иван Кузьмич Селиванов. Грузавый, страдающий одышкой, он был тоже увешан орденами, тесно лепившимися вдоль поджатых бортов. И даже покачивался на голубой ленте какой-то иподержавный «лев», который за непременным местом расположился почти на самом животе. Казалось, Селиванов потому так тяжело дышал и отдувался, что непривычно нагрузил себя сразу такой уймой регалий.

— Привет, гвардия! — сипло пробасил он, расплывался в улыбке своим добрым простоватым лицом, и сам тоже, как и все прежде, вскользь, ревниво пробежал живыми серебристыми глазами по патрадам собравшихся.

Дед Василий плутовато сощурился:

— Упрел, однако, Кузьмич! Шутка ли, такой иконостае притащил. Никаких грудей не хватит — наедай, наедай.

В другом месте так лихо и не посмел бы созоровать дедко, но тут, в кругу бывалых окопников, действовал свой закон братства, отстрапавший всякие чины, и прежний ездовой безо всякого подкузьмил прежнего командира полка, а пыно — своего председателя. Да и все знали: Кузьмич — мужик свой, не чиновный, с ним можно. Если к месту, конечно.

Иван Кузьмич тоже не остался в долгу перед дедом Василием:

— Свои-то ты, поди, гущей начистил? Сверкают — с того конца поля видать.

— Не-е, Кузьмич, не угадал! — зареготал дед Василий. — Это не я. Это мне баба надраила.

Фронтовики засмеялись.

— Ей-бо, не брешу. Я хотел было так иттить, а она: нехорошо, говорит, с такими нечищенными на парод.

— Ай да молодец баба! — весело похвалил Иван Кузьмич. — Вот кому ордена посить — женщинам нашим!

— Это точно! Ежели по совести, то в самый раз пополам поделить. Одну половинку нам, а другую им. Нам за то, что воевали, а им за то, что тыловали. А это ничуть не слаще войны.

— Значит, это старуха тебе так паблистила?

— Опа, опа! Да и как не паблистить? — развел руками дед Василий. — Ну, которые там медные, ладно. А то ить из серебра, а вот, скажи ж ты, тоже портятся, тускнеют. Я их и в сухое место прятал, на комель, — все едино гаснут. Нету того блеску, как было.

— Время, отец, время работает, — сказал Иван Кузьмич.

— Что там медали! Мы и сами, гляди, как потускнели, поистератились, — заметил Федор. — У всех вон седина из-под шапок.

— А у меня дак и вовсе волос упал, — дед Василий сдернул фуражку и засмеялся: — Во, как копейка! А в Будапешт таким молодцом вступал.

— Ну ты, Василий Михайлович, и теперь еще герой. — Иван Кузьмич потрепал старика по плечу.

— А я не ропщу! — готовно кивнул дед Василий. — Кукарекаю помаленьку. А то вон которых и совсем уже нет.

— Ох, и верно, мужики, бежит время! — Тихон Аляппа досадливо пересушил на седой голове путевскую фуражку с молотками. — Соберемся когда вот так, солдаты, глядь — того нет, этот не пришел... Совсем мало нас остается...

— А что ж ты хотел, — сказал Федор. — Ты думал, уцелел, дак война тебя мпшула. Не-е! Сидят она у всех нас. Грызет,

подтачивает. Кого рапы доканывают, кого простудные болезни, а кто животом мается. Даром не прошли эти четыре года...

Дядя Саша достал дюралевый портсигар и протянул его в круг на ладони. Все молча потянулось за сигаретами.

Наконец подкатил райисполкомовский «газик», остановился возле белой «Волги». Придерживая шляпу, из машины вышел сам Засекин. Он тоже был в свежей сорочке с галстуком, но в яловых сапогах, изрядно забрызганных грязью. Видно, по пути заезжал куда-то еще, а потому немного припозднился. Вслед за ним выбрался райвоенком, пожилой сухоощавый капитан с плащ-палаткой, притороченной на ремешках. Третьим был инструктор ДОСААФа Бадейко. Засекин торопливо пожал руки стоявшим у белой «Волги» и, озабоченно взглянув на часы, сразу же направился к обелиску, собирая за собой, будто невидимым бреднем, быстро густеющую толпу. Молодцеватый инструктор в ухоженных троекуровских баках, с фотоаппаратом через плечо, забегал вперед, громко оповещал:

— Товарищи, товарищи! Давайте подходите ближе! Давайте, давайте! Жепщины у скирды, вас тоже касается.

Пока вокруг обелиска собирались люди, теснясь плотным кольцом, дядя Саша подошел к ребятам, уже разобравшим инструменты. Он и сам вынул из кармана свою маленькую трубочку, похожую на пионерский рожок, снял с нее чехол и по привычке неспешно, беззвучно подул в мундштук и попробовал клапаны. Музыканты, поглядывая на небо, перемывались, пританцовывали в своих легких модных плащах. И действительно, было холодновато. Откуда-то набегали легкие серые тучи. Они закрыли солнце, и стало ветрено, неуютно на открытом и голом угоре.

— Значит, так... — дядя Саша оглядел строй оркестрантов. — Как только снимут брезент — сразу Гимн. Прошу никуда не отлучаться.

— Да не волнуйся, шеф. — Пашка разглядывал себя в сверкающую тарелку, как в зеркало. — Слабаем, что надо.

— Вы мне бросьте это — «слабаем»! — дядя Саша нахмурился. — Ты, Павел, тарелками не очень-то авякай. Только тебя и слышишь.

— А что? Я все по уму. И в потах указано: форто.

— Форто, форто... Слушать надо. Чувствовать надо мелодию. И весь оркестр. А ты лупишь, как сторож в рельсу.

Пашка обиделся:

— Зря придираешься, старшой.

Тем временем народ вокруг ожидающе притих, и военком, выйдя к подножию памятника, открыл митяг. В районном военкомате он служил уже давно, и знали его многие, особенно фронтовики. С раздробленной осколком нижней челюстью, которая срослась не совсем ладно, искривив ему рот, он выглядел урюмовато, но был тихим, несприятельным человеком. Еще в самом начале войны, во время эвакуации Шенетовского укрепрайона, он потерял семью — жену и двух девочек и с тех пор жил бобылем со старенькой матерью, и на его окнах всегда можно было видеть клетки с чижами и серенькими чечетками.

— Друзья мои! — заговорил он, наклонив голову и по привычке поглаживая, засты уродливый шрам ладонью. — Матери в отды... братья и сестры... дети и внуки! Мы все собрались тут, чтобы почтить память... кто отдал свои жизни...

Быть может, под гулками сводами зала голос оратора, усиленный микрофонами, и звучал бы как подобает. Но здесь, среди пустынного поля, под необозримым оцепным небом, слова показались далекими и бессильными. Толпа задвигалась, еще больше уплотняясь, и детишки, прошмыгивая меж ногами у взрослых, начали пробираться в передние ряды, где слышнее. А Пашка все гудел обиженно:

— Вечно на меня бочку катят. Вон Курочкины ноты прочитать до дела не может, так ему ничего...

— Помолчи, пожалуйста! — досадливо обернулся дядя Са-ша, пытаясь сосредоточиться, уловить речь военкома.

Налетевший ветер принимался трепать угол брезента на обелиске, порой заглушая речь хлопками, и тогда лишь обрывки фраз долетали до дяди Саши:

— ...дожди смыли кровь павших с этих высот, вы собственными руками заровняли воронки и окопы, засеяли поля хлебом, и мирное солнце светит теперь над вами... Но ничем нельзя смыть нашу скорбь, заровнять наши душевные раны, притупить нашу память...

Военком, забывшись, убрал руку от подбородка, взмахнул ею, рассекая воздух, и стало видно, как нервно напряглась какая-то жила под его щекой, как потянула она всю правую сторону лица кверху.

— Вот возьму и уйду! — Пашка в самом деле отошел в сторону.

— Павел, — прошептал дядя Саша гневно, — встань в строй.

Пашка молчал, упрямо глядя на свои новые штиблеты. Кто-то обернулся в их сторону.

— Встань, говорю! — так же шепотом повторил старшой.

Парень, кисло глядя в поле, пехотя подчинился. И тут, перебивая воинкома, раздался возмущенный голос инструктора Бадейко:

— В задних рядах! Прекратите базар, честное слово. Людей надо уважать, в конце-то концов.

Военком вскоре закончил свое выступление и отошел в сторону. Бадейко, пошептавшись с Засекиным, припался разматывать перевку, витками охватившую покрывало. Освободившийся брезент еще громче заколотился, потом взметнулся пузырем. Бадейко держал его пеловко, беспомощно. Несколько человек подбежало помочь. И когда брезент был усмирён и стащен, перед всеми предстал серый цементный конус, местами еще не просохший, со столбцом фамилий на металлической желтой табличке:

Агапов Д. М., рядовой
Апкин С. К., рядовой
Борвепков В. В., мл. сержант
Вяткин К. Д., рядовой
Гаркуша И. С., рядовой
Захорьян А. Ш., сержант
Иванов И. П., сержант
Махов А. Я., старшина

Это были имена людей, никому здесь не известных и уже давно не существующих, заглянувших в сегодняшний мир спустя много лет в виде знаков алфавита.

Мокряков Т. С., рядовой
Мурзабеков Б., рядовой
Нечитайло Х. И., рядовой
Ноготков С. С., мл. лейтенант
Нурiev А., рядовой
Обрезков П. С., рядовой
Парфенов А. М., мл. сержант

Дядя Саша подумал, что в этом списке его место было бы сразу за Парфеновым, потому что фамилия его тоже на «п» — Полосухин. Лежал бы он, конечно, не рядом с этим самым Парфеновым А. М., а может, сверху него, может, — под ним. Это уж как положат. Там ведь клали не по алфавиту...

Ему уже махали рукой, делали знаки, чтоб оркестр начи-

пал, и дядя Саша, спохватившись, поспешно положил пальцы на клапаны трубы.

— Три-четыре! И-и... — вобрав в себя воздух, он кивнул ребятам уже с трубой, прислоненной к губам.

Медь дружно рвадула: «Союз нерушимый республик свободных...» Он не услышал своего корпета, а только почувствовал пальцами напряженную дрожь диаструмента. Сотни раз на своем веку играл он Гимн с тех самых пор, как впервые разучил его на фронте. Но когда снова и снова брался он за трубу, какой-то озноб охватывал его. Он поднял взгляд на парней, уже отрешенно-сдержанных, враз посерьезневших, и одобрительно прикрыл глаза.

Засекли первым снял шляпу и склонил голову. Вслед за ним то здесь, то там замелькали руки, стаскивающие шапки. Желщины с прилипшими к ногам ребятишками тоже сняли с них клочки и, скорбно понурившись, тербли лепокрытые мальчишечьи головы. И только военком не снял своей фуражки, а, приложив руку к малиновому околышу, стоял навтыяжку, напряженно мигая, и пальцы подрагивали у его седого виска.

«...Мы в битвах решали судьбу поколений...» — мысленно выговаривал слова текста дядя Саша, следя, как ладно и вовремя отскакают ритм звонкие всплески Пашкиных тарелок. «Молодец! Вот может же, когда захочет».

Перебирая клапаны, дядя Саша слушал оркестр и вспоминал, как летом сорок четвертого под Быховом он в первый раз разучивал Гимн. Молодых офицеров вызвали специально в штаб дивизии, где под баян познакомили с напевом, чтобы потом они научили своих солдат. Музыка показалась тогда очень трудной, и, возвращаясь со спевки, командиры, чтобы не забыть, донести мелодию до окопов, всю дорогу напевали ее вполголоса. Наверно, странно было в прифронтовой полосе видеть разноголосое, нестройное бормочущих офицеров. Многие, пока шли, незаметно для себя все-таки перепутали вить напева, переиначили на свой лад, и потому в окопах солдаты сперва исполняли Гимн вразнобой — один навод так, другой — этак. Но зато слова знали все назубок.

Дядя Саша дал отмашку, и музыка смылкла. В общем, мелодию проиграли сносно, и даже новичок Курочкин пробасил уверенно, без сбоя.

— Спасибо, ребята, — поблагодарил старшой, вытирая мундштук сатиновым чехлом. — Молодцы!

— Ну вот, а ты все ворчал, — бросил Пашка.

К памятнику сквозь толпу, пара за парой, уже шагали

проперы в белых пилоточках, несли венки в черно-красных лентах. Шествие возглавляла молоденькая вожатая с высоким начесом каштановых, должно быть подкрашенных, волос, и тоже в красном галстуке.

Девушка ступала торжественно, ни на кого не глядя, молодое лицо ее пылало и было тоже торжественно, даже строго.

Подножие со всех сторон обложили венками. Двое школьников — мальчик и девочка — замерли справа и слева, подняв руку в салюте. Остальные, отойдя, выстроились рядами, четко обозначенными белыми шапочками.

Митинг начался.

Сначала речь держал председатель здешнего колхоза Осипкин, на чьей земле был сооружен этот памятник. Невысокий энергичный крепыш, на котором, как на молодом кочане с мороза, все поскрипывало и похрустывало — и новенький синтетический плащик с опояской, и крепкие каблукастые полуботиночки, — он быстрыми шажками сменил воскома у подножия, снял узкую тирольскую шляпу и обвел всех живыми цыганскими глазами. Колхоз его славился вокально-танцевальным ансамблем, гвоздем которого считался знаменитый «Тимоша», инструментованный старинными рожками, сопелками и кугиклами и каждый год бравший первые премии на областных смотрах. Этот ансамбль был, так сказать, увлечением Осипкина, да он и сам не прочь и спеть, и станцевать при случае. Осипкин же почитался душой различных слетов и районных мероприятий на воздухе, вроде Дня тракториста или праздника урожая, и непременно избирался во всевозможные жюри. Но при всем при том вел хозяйство расчетливо, даже прижимисто, не любил рисковать, тратить копейку на «востер», и прежде чем завести какую-нибудь новую машину, скажем, дождевальную установку или суперзерпосушку, сначала посмотрит у соседа, стоит она того или не стоит. Говорил он всегда безо всяких бумажек, на память называл многозначные цифры распаханых под зябь гектаров, падоеспных центнеров молока, сданных яиц, заготовленного силоса, внесенных удобрений, называл суммы доходов и расходов, капиталовложений, неделимых фондов. Словом, любил цифру и умел ее подать, а потому слушали его всегда с оживленным вниманием.

Здесь, на открытии памятника, Осипкина тоже слушали с интересом. Он рассказывал, как было развернуто соревнование на уборке урожая за личное право положить первый кирпич в основание обелиска и что в результате их колхоз сдал уже больше половины сахарной свеклы и, несмотря на

отдаленность от приемного пункта, занял на вывозке третье почетное место в районной сводке.

А дядя Саша все смотрел на цементный конус, отыскивая на табличке место, на котором его прервали.

Праведников Г. А., рядовой
Проскуряк С. М., рядовой
Пыжов А. С., лейтенант
Рогачев М. В., мл. сержант
Родионов Н. И., рядовой

Как и все остальные здесь, дядя Саша тоже не знал никого из этого списка, по имени неотвратно притягивали к себе.

— ...Итоги подводить нам еще рано, — продолжал Осипкин, — по то, что мы сделали, это уже весомо. Это, товарищи, ни много ни мало, а тридцать шесть тысяч центнеров сырья для нашей сахарной промышленности, или, если учесть, что из одного центнера бурака можно получить пуд сахара, то — миллион двести пачек рафинада, можно сказать, уже положили на прилавки наших магазинов. А чтобы вам это представить более зримо, то получите по пачке сахару на каждого жителя таких городов, как Харьков или Новосибирск.

Романов Ф. С., мл. сержант, —

про себя читал дядя Саша.

Салымов М., рядовой
Савько А. Д., рядовой

— ...Вот сейчас закончим свои дела в поле, — воодушевленно говорил Осипкин, — подчистим там кое-что и перемся доделывать новый клуб. Денег мы на это не пожалеем: надо миллион — отпустим миллион, надо полтора — дадим полтора. А как же? Хорошо поработали — будем культурно отдыхать, верпо, девчата? А отдыхать у нас тоже умеют. Вот был наш ансамбль на ВДНХ, — пожалуйста, еще один диплом привезли.

Говоря, Осипкин время от времени косил карие глаза в сторону Засекина, как привык на активах и совещаниях бросать взгляды в президиум.

Сыромятников В. С., рядовой
Тихомиров П. К., рядовой
Тугариков М. З., рядовой

Вчитываясь в эти фамилии, дядя Саша как-то и не заметил, когда Осипкина сменила пионервожатая. Придерживая концы отутюженного галстука, которые ветер то и дело забрасывал ей на плечо, она начала звонко и четко рапортовать об успехах школьных следопытов. Старшой слушал эту чистенькую расторопную девочку, а перед ним встала вдруг в памяти картина, виденная все там же, под Быховом.

...Зимой они сменили пехотную часть на плацдарме по ту сторону Днепра. Поредевшую, измотанную шквальным огнем, ее незаметно отвели обратно за реку. И дядя Саша, командовавший тогда ротой, увидел в бинокль перед занятыми позициями убитого бойца. Он прычком висел на немецкой колючей проволоке, спикнув посипевшей стриженной головой. Из рукавов шишели торчали почти до локтей голые, иссохшие руки. Казалось, этими вытянутыми руками он просил землю принять его, непринятого, скрыть от пуль и осколков, которые все продолжали вонзаться и кромсать его тело. Но проволока, видно, крепко вцепилась в солдата и не пускала к земле. За зиму на нем вырос горб снега, пеленный, уродливый. Это был, по всему, наш сапер или, может, разведчик. Он, лейтенант Саша Полосухин, дважды посылал по почтам своих людей снять убитого. Но труп был пристрелян немцами, и только зря потерял еще двух человек. Больше за убитым он уже не посылал. Так солдат провисел до самой весны, и все было больно и совестно смотреть в ту сторону. А в апреле труп оттаял, позвоночник не выдержал, переломился, и убитый обвис на проволоке, сложившись вдвое... Только в июне была прорвана оборона врага. Он, Полосухин, повел роту через проделанные проходы в проволочном заграждении и вдруг с содроганием увидел, что у висевшей шишели ворот был пуст и ветер раскачивал пустые рукава...

Узяков С. Н., рядовой
Умеренков К. Г., рядовой
Федунец М. С., старшина

Кто же был тот, на проволоке? У него ведь тоже были фамилия, имя, отчество...

И дядя Саша подумал: как по-разному может сложиться судьба солдата. Даже если он пал смертью храбрых. Это благо, если его вовремя подобрали с поля боя, если опознали при этом и если ротный, составляя списки потерь, вторых по перебрал, не пропустил его фамилии. Это благо, если донесение попало в вышестоящий штаб и если тот штаб не окружил потом, не сожгли, не разбомбили с воздуха вместе

с пиварскими сундуками и сейфами. Если... Да мало ли этих «если» на пути солдатского имени к такой вот табличке на братском обелиске! А еще на этом пути и болота, и черные топи, реки и речки, заливы и проливы, обрушенные блядажки, обвалы домов, сгоревшие тапки и эшелоны и многое что другое... А еще — прямое попадание, когда на том месте, где солдат только что бежал с автоматом, через мгновение уже черн и смрадно дымит воронка и комья выброшенной земли, падая, мешаются с кусками одежды, даже не успевшей окровететь...

Фомичев В. А., мл. сержант

Ходов С. М., сержант

Цукапов А. Ф., мл. сержант

В это время ппонервожатая выкрикнула:

— Никто не забыт, ничто не забыто!

Она произнесла последнюю фразу особенно звонко и, довольная, что нигде ни разу не запнулась, пылая счастливым лицом, на носочках перебежала от обелиска к стоявшим в строю ребятишкам.

Выступило и еще несколько человек: заведующая здешним клубом — жепщина уже в годах, но еще проворная, в искусственной дошке под леопарда и крепко отдающая духами; недавно демобилизованный паренек, падавший по этому случаю свой совсем еще новенький мундир с яркой нашивкой на рукаве и, по недавней армейской привычке вытянув руки по швам, отскакивавший о преимущественности боевых традиций; после него в круг вышел, опираясь на самодельный костылик, согбенный учитель истории из ближайшей деревни. Начал он Александра Невского, с Ледового побоища, перешел к Куликову полю и тут хотел к случаю продекламировать стихи и уже прочел первые три строчки:

Воткнув копьё, он сбросил шлем и лег.

Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга

Колола грудь, а спину полдень жег... —

но неожиданно затнулся и умолк. Старичок мучительно потирал пальцами восковой висок, напрягая память, твердя последние слова: «а спину полдень жег...», «а спину полдень жег...», однако так и не вспомнив продолжения, сокрушенно махнул рукой и, растерянно улыбаясь, бормоча: «извините, извините», — отступил в толпу.

Вышла и еще женщина, видно, из колхозниц — в апырей тулуповой шали, с запертым лицом. За ней побежал было

мальчик лет шести, но на него зацикали, потянулось сразу несколько рук: «Нельзя, нельзя туда! Ты что ж это?» Однако мальчонок увернулся, прошмыгнул-таки к памятнику и стал рядом с женщиной, упрямо пабычась.

— Ничего, пусть у памятник постоит, — сдержанно улыбнулся Засекин. — Ишь ты какой герой!

А женщина, не замечая парнишку и еще не произнеся ни слова, сразу поблдепела лицом, как только оказалась у памятника, и лишь потом выкрикнула высоким запальчивым голосом:

— Я вам так скажу, товарищи: моих полегло двое. А я хоть и живая, а тоже порапетая па всю жизнь...

И вдруг закрылась руками, грубыми, негнущимися пальцами, какие бывают от бурака и стылой осенней земли.

Постояв так в сдавленной немоте перед притихшим пародом, она, наконец, отняла руки, ожесточенно оглядела толпу, ища внутри себя те слова, которыми хотела выразить свою старую боль, и, не сумея найти таких слов, вдруг подхватила мальчика, подпила под мышки и, повернув его к обелиску, выкрикнула в полуплаче:

— Смотри, Витька! И запомни! Вот она какая, война.

Мальчонок, ничего не понимая, замерев, испуганно глядел па грапепое острое обелиска.

От имени фронтовиков взялся сказать несколько слов Иван Кузьмич Селиванов.

— Ну что тут можно добавить? — трудно, задышпиво начал он, вздымая грудью всю тяжесть своих ордепов. — Ну вот поставлен еще один памятник товарищам по оружию. Это хорошо, это пужно. Теперь будем все сообща беречь его, следить, чтобы время не стерло их имена. Ну, конечно, памятник не ахти какой видный. Делали его наши местные мастера. Слов нет, Осипкии мог бы пригласить и поименятей специалистов, поставить и повыше, и поосповательпей, скажем, из мрамора или из гранита: денег у него па это хватило бы — в миллиоперах ходит...

Стоявший неподалеку Осипкии потерпеливо переступал, похрумкал скрипучими штиблетами.

— Он ведь как рассудил? Могила, мол, не в людном месте, в стороне от туристских дорог, паломничества не будет, можно и поскромнее.

— Брось, брось, Кузьмич! — не сдержался Осипкии. — Памятник типовой, не хуже, чем у других. Мы в Тарасовке смотрели: там тоже такой, наш даже повыше.

— Доло, в конце концов, не в мраморе и высоте памятни-

а, — продолжал Селиванов, — а в нашей памяти. В нашем юшмаппи того, какой цепой замлачено за победу над самым ютым на врагов, когда-либо нападавших на русскую землю. — Селиванов перевел дыхание. — Мой полк прошел от Воронежа до Белграда. Были моменты, когда в полку оставалось только триста с небольшим человек, и то вместе с ранеными. А когда мы в конце войны вместе с начальником штаба подсчитали, сколько прошло через наш полк людей, то сами себе не поверили. Двадцать две тысячи! Двадцать две! Вы спросите, куда они девались? А вот они! — Иван Кузьмич указал на обелиск. — Тут! Правда, многие остались позади полка по госпиталям и лазаретам. Но многие вот так — в чистом поле. Полк шел на запад, а за нами — от села к селу, от города к городу цепочкой тянулись могилы — путь к нашей победе. За это время я сам вот этими руками подписал и отправил многие тысячи похоронных извещений. И где-то, во всех уголках нашей земли, получали их и неслышно для нас закладывались горем тысячи овдовевших женщин и осиротевших детей... Полк мой не проходил по этим местам, но здесь шел чей-то другой полк, другая дивизия. И путь во был такой же!

В толпе кто-то вскрикнул, а Иван Кузьмич, постояв в раздумье, снова поднял голову:

— Заканчиваю, товарищи... Я не стану вас призывать достойно трудиться на этой земле. Вы об этом и сами знаете. Я только хочу, чтобы вы, мужчины и женщины, бывшие солдаты и солдатские жены, участницы и очевидцы, пока еще живы, пока это не стало достоянием исторических книг и архивариусов, передали бы своим детям и внукам свящую память о павших из рук в руки, от сердца к сердцу. Вот это я хотел сказать.

Ему дружно похлопали.

Больше желающих выступить не оказалось, хотя бывшие фронтовики и подбадривали друг друга: дед Василий — Федора Бабкина, а тот подталкивал в спину Тихона Аляпина, который застенчиво упирался и посылал Федора:

— Какой из меня говорильщик. Ты пограмотней мою. Да и что говорить? Вон Кузьмич все сказал.

Так они преписались тихонько, а слово там временем было предоставлено самому Засекину.

Засекин вышел в круг и взглянул на часы...

Сегодня дядя Сама слышал в завкоме, что на завод должны были прибыть чешские специалисты. Ожидали их к вечеру, но уже с утра девчата драили столовую, и было слышно,

как в заводской гостинице гудели пылесосы. Летом, во время подготовительного ремонта, чехи устанавливали в цеху свои новые диффузионные аппараты повышенной мощности и теперь, когда завод начал сезон, должны были притихнуть снова, чтобы проверить оборудование под полной нагрузкой. Засекину надо было их встречать, однако митинг затягивался, к тому же его открыли позже, чем намечалось, и предрик, похоже, успокоился.

Но подсчет чехов дядя Саша только предполагал, а возможно, у Засекина могли быть и другие неотложные дела: все же на его плечах целый район, да еще в такую напряженную пору, когда то здесь, то там ломался график уборки сахарной свеклы.

Говорил он, однако, без заметной торопливости, обстоятельно и толково, обрисовывал международное положение, рассказывал о достижениях района и его текущих задачах, назвал передовиков. Слушали и смотрели на него с особым интересом, потому что многие видели Засекина вот так близко впервые.

Но тут, в самый разгар его выступления, вышла непредвиденная заминка. Подвыпивший мужичишка, растрепанный востром, в расстегнутой до пупа рубашке, убегающий позади толпы от кого-то, запнулся о лежавшую на стерне басовую трубу и, загремев наземь, плаксиво зашумел, забывшись:

— Ты домой меня не гони! Нечего меня гнать. Я тоже воевал. Я, может, тверезей тебя!..

Засекин прервал речь, на мужика зашикали. Ребята-оркестранты подхватили его под руки и без церемоний, волоком, потащили по пахоте к грузовику. А тот, загребая ногами землю, все выкрикивал визгливо:

— По какому такому праву! Я тоже воевал!

— Но, по! Раскудахтался! — весело покрикивал на мужика Пашка, пользуясь случаем поразмяться, запясться каким-нибудь делом. — Будешь выёгиваться — мухой на пятнадцать суток постригу. Жора, давай ножницы!

— А чего она, закуда... Указница! Нынче наш день. Хочу — гуляю!

Женщина в упавшем на плечи платке понуро шла следом к грузовику, подобрав на пахоте оброненный башмак.

Засекин молчал, сдержанно покашливая — пережидая.

— Это твой артист? — спросил он наконец Осипкина.

— Да тут один... В примаках живет.

— Зачем привезли такого?

— Да ведь кто ж знал? Пока везли, вроде ничего был, ве-

заметно. Это он уж тут, наверно, с кем-нибудь... Приеду — мы с ним разберемся. Вот шельмец!

— Нехорошо получается, товарищ Осипкич.

Парня дружно подняли и кулем перевалили шумливого мужика через борт в кузов, и женщина зашвырнула туда ботинок. Происшествие оживило публику, толпа задвигалась, вагудела, мужики стали закуривать. А из кузова несло разудало:

И все отдал бы за ласки взора-а,
Лишь ты владела б мной одна-а...

— Перебрал Никитич, перебрал! — снисходительно журил в толпе мужика. — Вот ведь и печник хороший, а — с изъязом.

Засекки после этого говорил недолго, и вскоре митинг объявили закрытым. Оркестр снова проиграл Гимн. Но и когда смолкли трубы, толпа еще стояла вокруг обелиска, и мужички не надевали шапок.

— Все, товарищи! Все! — вскринул руки Бадейко. — Спасибо за внимание.

Люди, словно не понимая, что все уже кончилось, расходившись нехотя, оглядываясь, будто ожидали чего-то еще.

Засекки, бегом попрощавшись и уже на ходу напоминая: «Так завтра сессия, товарищи! И — никаких опозданий!», направился со своими спутниками к урчавшему мотором «газнику» и сразу же уехал. Вскоре разошлись по машинам и председатели.

— Василий Михайлович! — окликнул из своей «Волги» Сеппавов. — Садись, подброшу.

— Да вот не знаю... — растерялся дед Василий. — Тут ребята маракуют того... Я, поди, еще побуду маленько. Дак и ты, Кузьмич, давай к нашему салашу.

— Спасибо, братцы! Мне этого теперь — и-и-и!.. — Иван Кузьмич положил руку на орден. — Барахлит что-то...

— Ну, сжели так, то копейно...

Иван Кузьмич, насажав полную машину попутной малыш-п, тоже уехал, и было видно, как скособочилась на одну сторону перегруженная старелькая машинешка.

Поле постепенно пустело. Умчалась машина с веселыми пионерами. Вниз по склону покатались мотоциклы, велосипеды. Неспешно побрели и пешки, те, кому идти было далеко, до ближайших деревьев, что отсюда, с косогора, виднелись как на ладоши.

— Все отдал бы за ласки взора-а... — продолжал выкрики-

вать мужичонка, высовываясь из-за борта и опять оседая па дно кузова.— И ты б... и ты б...

Подошел Федор Бабкин, взял дядю Сашу под локоть.

— О чем, солдат, задумался? Пойдем, посидишь с нами.

Под скирдой уже пристроились Степан Холодов, Тихон Аляпин, дед Василий и еще несколько человек.

— Во, еще один орелик! — оживился дед Василий. — Садись-присаживайся. Какую-никакую, а поминку справим. По старому по нашему обычаю.

Фронтовки охотно раздвинулись, высвобождая дяде Саше место в кружку на соломе. Откуда-то объявилась стопка, налитая дополна, в дяди Сашину руку вложили помидор.

— Давай, товарищ лейтенант, — кивнул дед Василий. — А то говорить поговорили, а добрые слова не скрепили. Они и отлетят дымом, слова те.

Старшой на этот раз не отказывался и, подняв стопку, взглянул на обелиск.

— Ну, простите, братья! Пусть будет вам пухом...

— Вечная память... Вечная память, — пестройно и торопливо заговорили и остальные, опять снимая шапки. — Вечная вам память.

Дядя Саша выпил в молчаливом окружении старых солдат, опустивших седые скорбные головы.

Неожиданно появился Пашка, хотел что-то спросить, но, увидев склоненных людей, в перешпальности замялся.

— Тебе чего, Павел? — поднял глаза дядя Саша.

— Да... хотел узнать... Играть больше не будем?

— Нет.

— Тогда нам тоже можно порубать?

— Садись, пожалуйста, — подвинулся Федор.

— Да нет, спасибо. У нас своя компания. — Он постоял, разглядывая мужиков, потом с обидой сказал: — С нами так не стал, старшой.

— Иди, Павел, — попросил дядя Саша. — Я сейчас приду.

— Да чего уж, сиди, — сказал Пашка. — Я ведь только спросить, будем играть или пошабашили.

Что-то насвистывая, Пашка ушел к ребятам, где на поваленном плашмя барабане стояла бутылка и Жора, шурша бумагой, раскладывал закуски.

Федор Бабкин, поглядывая на женщин, уже рассевшихся по грузовым машинам, украдкой наливал, закрывался полой, и обносил рюмку по кругу.

— Давай, Степ, бери... Тихон, твой черед...

Фронтовики торопливо выпивали, тыкали дольками помидоров в спичечный коробок, в мокрую розовую кашлицу соли, и, не дожидаясь еще, лезли в карманы за куревом. А с машин торопливо окликали:

— Эй, мужики! Вы чего там колдуете? Поехали!

— Да сейчас! — отмахнулся Федор. — Сейчас едем.

— Ждать не будем! — кричали с машин.

— Ох эти бабы! — подосадовал дед Василий, вставая. — Никакого понятия. В кои-то разы собираемся так вот. Может, и не свидимся больше.

Фронтовики нехотя начали подниматься.

— Так пусть себе едут, — сказал дядя Саша. — У меня тут своя бортовая. Тебе, Сорокин, куда?

— Да мы вот с ним, с Хмызовым, из Березовки. А Федору вот с Тихоном в Махотино надо. Дальше, за нами.

— Ну, не волнуйтесь, всех отвезем.

Обрадованный Федор побежал сказать, чтоб их не ждали. Машины начали разъезжаться.

Вернувшись, Федор выкопал из-под скирды еще одну бутылку, принялся оделять по поному заходу. То обстоятельство, что теперь не надо было никуда спешить, располагало к воспоминаниям, и Степан Холодов оживленно хлопнул себя по колену:

— А вот, братцы, был у нас один случай!..

— Ну, ну, давай.

— Брали мы под Орлом одну высоту. И высота-то не больно какая, а не подступишься; все открыто, ни кусточка, ни заборюшки, а по низу — топь. Ну, раз сунулись — не вышло, в другой — никаких делов. Строчят и строчят из дота. Пробовали бить по нему из минометов — дым, пыль, ну, дуем, все, накрыли! Сунемся, а он опять: тра-та-та-та... Живой, гад! Оно б пальнуть из артиллерии, может, что и получилось, да не было при нас никакой артиллерии. Одни ротные минометы. Ну, а у тех силенок оказалось маловато: фук-фук, а пемец цел. И потери у нас уже немалые. Командир батальона по телефону нашего ротного материт, чтоб к такому часу высота была захвачена, да и только!

— Ну дак вы бы ее ночью-то, по-темному...

— Погоди ты, ночью... До ночи вон сколь было ждать. Да... Сидит наш ротный в траншее, курит, на сапоги плюет — злой-презлой. Мы тоже помалкиваем, отпыхиваемся после атаки. А что скажешь? Видит око, да зуб пеймет. Вот тебо подсаживается к нему один солдатик, пацан пацаном. Товарищ командир, говорит, отпустите вон в ту брошенную де-

ревню. Если я найду, что мне нужно, — даю слово, после обеда сковырем немца.

— А что ж ему такое нужно-то было?

— Не перебивай. Сказать, так неинтересно будет. Слушай... Ну, отпустили его, похолол парень. Глядь — вертается, полокот что-то в мешке. Полдеревня, говорит, обшарил, а нашел. Только теперь надо обождать, когда солнце к немцу за спину пойдет.

— А-а! — засмеялся Федор. — Разгадал — зеркало!

— Ну, разгадал — печого теперь и рассказывать...

— Давай, давай!..

— Изготовились мы к новой атаке, ждем. Только солнце начало к немцу воротить, парень и достал из мешка свою хитрость. А стекло во какое, с газету! Давай, наводи, говорит ему командир. Ну и уцелил он что ни есть в самую амбразуру. Немцу, конечно, это не понравилось, а что он может сделать? Кинулись мы все как есть, немец давай пулять, да стрельба уже не та, а куда попало. А парень ему зеркалом-то все в рожу, в рожу! Ну, конечно, там, окромя пулеметчика, и еще были, да мы их тут быстро разделили. Так потом и поехали с собой зеркало, пуще глаза берегли. Как секретное оружие.

— Да-а это ж на Одере так вот прожектором ослепляли.

— Э-э, браток, на Одере когда было? А то еще под Орлом. Оно, может, потом про наш случай и до генералов дошло, до самой Ставки. Ну дак, ясное дело, у генералов вся техника в руках. А придумка, выходит, солдатская...

— А то вот раз было... — начал фронтовик в резиновых сапогах.

И пошло, и пошло... Заговорили мужики, покраснелись лицами, заблестели глазами — не от воды, нет! Что там вода, если вспомнить нечего! А уж вспомнить им было чего — и германского, и горше горького...

Возле обелиска не осталось теперь ни одного человека, и он, серый, цементный, одиноко высился среди черной предзимней наготы полей.

— Сколько же их там лежит? — в раздумье спросил Степан Холодов.

— Сорок девять, — ответил дядя Саша.

— Да-а... Где-то сорок девять дворов осиротело. Деревня целая.

— Да-а они из разных мест, должно.

— Ну, это я так, к примеру.

— Сорок девять еще немного.— Холодов полез за новой папироской.

— Бывало, и по сотне, а то и больше в одну яму клали. Наш полк в три дня целый батальон потерял.

— А говорят, будто только по нашей местности четыреста таких памятников будет поставлено,— сказал Холодов.— Лектор один приезжал, так рассказывал...

— Вполне может быть.

— Сколь же тогда по всей России? — прикидывал дед Василий.

— А вот и считай...

— Да еще по Польше, да по разным другим сторонам. Под Берлином одним триста тысяч легло.

— Сказано: всего двадцать миллионов.

— А немца сколь?

— Что-то миллиона четыре с небольшим,— сказал дядя Саша.

— Только-то? — удивился Холодов.

— А что — мало?

— И-да-а... Как же так, билл-билл, а только четыре миллио-на пахлопали? Выходит: мы его одного, а он наших пяти-рых...

— Да, чудак человек,— сказал Федор.— Мы одних толь-ко ихних солдат, а они кого попада: и баб наших, и пацанов. Вот у военкома — и женку, и обеих девчушек... А сколь в Германию поутнал, в лагерях сгноил. Вот двадцать миллио-нов и набралось.

— Ох, лихо, лихо,— вздохнул дед Василий.— Не заесть, не запить этого. Не заесть, не запить...

Дед Василий помолчал, но вдруг, пересев половчее, ска-зал как-то осяпно, осветясь лицом:

— А все ж, братцы мои, помереть солдатом в бою с не-приятелем — слятое дело, што ни говори! Из всех смертей смерти! Ну вот што я? Ну, еще покопчу свет маленько, годка три-четыре, да и помру на печи. Спасут за деревню и зако-пают. И вся недолга. Потому как помер от старости. А вот ежели бы я там, солдатом смерть принял — это уже смерть моя такая! Глядишь, и мне памятник бы поставили.

Долго дымили сигаретами. Было слышно, как возле ба-рабана о чем-то спорили музыканты:

— Не, Жорик, мелкобюджету ничего не светит. Кому там играть, где у них форварды? Там кнрюхи одни.

— Не скажи! Вот увидишь, воткупут.

— Слабо! Они даже райпотребсоюз продуют.

Стопан Холодов поправил пустой рукав телогрейки, вышившийся из-под ремня.

— Ты говоришь — четыреста... — сказал он. — Оно ежели все памятники поставить, как положено, по тем боям, что тут были, так и пахать негде будет.

Дед Василий, сощурившись, оглядел дальние косогоры, будто прикидывал, где они должны стоять, эти не воздвигаемые ещеobeliski.

— Надо бы раньше начинать ставить-то, — сказал Федор. — По свежим следам. Молодняк вон подрос, должен видеть и знать, во что обошлось. А то уж подзарастать начало. Долго ли: плугом прошелся — и все. Ровно, гладко, как ничего и не было.

— Я вам так скажу, — дед Василий обтер ладонью усы. — Это вот пешку, к примеру, сшибли в игре, а в другой коп опять ставь, опять двигай. А у солдата жизнь одна-разъедина. Солдата не веротишь. Ну, а коли он свою голову сложил, то нету цены ей.

Возле барабана дружно смеялись ребята.

— Вот дает! Залпваст!

— Чого? — кипятился Пашка. — У них один Зюзя чего стоит!

— Дерьмо твой Зюзя.

— Зюзя — дерьмо? Хах-ха! А ты видел, как он штрафпой был? Видел? Вот как от скирды до того памятника. С тридцатью метрами. Как врежет! Под самую планку.

Мужики помолчали, прислушиваясь к спорившим музыкантам.

— Н-да... — Тихон поскреб под черной путевой фуражкой. — Я как-то на совещание в Белгород ездил. В дистанцию пути. А там, может, видели, на площади вечный огонь горит. А над огнем женщина пригорюненная такая. Из камня. Ночевать я не стал, думаю, уеду каким-нибудь товарищом. Иду часу во втором ночи-то через площадь, смотрю, пацаны возле вечного огня колготятся. Лет по шестнадцати. Хохочут, на гитаре дрыпчат. И девчатки с ними, все в белых платьицах. Гляжу, на гравите бутылки, стакан. Ах, говорю, поганцы вы этакие! Да разве для этого огонь тут зажгли? А что, говорят, мы такое особенное делаем? Мы ж ничего не портим. Марш, говорю, по домам! Осерчал я. А они в толк не возьмут. Мы тут до утра будем. Рассвет встречать. У нас, говорят, выпускной. Во как!

Сквозь тучи низко, у самого горизонта, пробилось солнце. Оно ударило багряными пучками по дальним угорам, что

друг за другом псобозаримо убегали на виду. Его лупи отыскали среди этих холмов неприметную дотолѣ церквушку. Трѣпетный, бегучий свет быстро перемѣщался, накатываясь все ближе и ближе, и вот уже огнем полыхнула межѣвая пѣпочка тополей на соседнем склоне, медным отливом затеплились пашни, и среди них радостно зазеленѣли полотнища озими.

Фронтоники, привалившись к теплѣму боку скирды, заглядѣлись невольнѣ на это неожиданное прозрѣние солнца, на торопливый и просветляющій бѣг лучей по землѣ.

И вдруг на фонѣ темного неба, загроможденнаго тучами, пронзительно, как вспышка, высветилась кияжальнѣ острая грапь обелиска. В этот предвѣчерний час он выглядел особенно отрешенным, как бы вознесшимся над булѣйной суетой, и, может быть, потому пышная кипень венков у подножья — эта пестрѣта бумажныхъ цвѣтовъ, сосновой зелени, тертыхъ и красныхъ бантовъ — показалась дядѣ Сашѣ какимъ-то тѣтенымъ и непужнымъ убранствомъ. Какъ старый музыкантъ, не разъ имѣавшій дѣло с погребеніями, он не терпѣл венковъ. Скоро они пожелтеютъ, осыплется хвѣя, дожди смоютъ с лѣтъ непрѣтѣныя слова, написанныя зубнымъ порошкомъ, и нетъ ничѣго печальнѣе видѣть потомъ на могильной плитѣ этотъ пожухлый мусоръ.

Солнце, посветивъ педолго, опять затянѣлось хмурѣй наволокой, и по краю разлилась багровая полоса заката. А вскорѣ предвѣчерняя спѣль и вовсе скорбно окутала холмы.

— Пора, однако, по домамъ. — Дѣдъ Василій отзѣвался вѣбѣ. — Кабы дождя не натянѣло. Вторѣй дѣнь что-то морозитъ вѣсѣ, окаянная.

Остальныя, вспомнивъ про разныя свои дѣла, тоже зарѣбѣлись, и дядѣ Саша пошелъ сказать своему шоферу, спавшему в кабинѣ, чтобъ тотъ развѣз фронтониковъ по домамъ.

И вскорѣ, пофыркивая и покачиваясь на ухабахъ, машина увезла и дѣда Василя, и всехъ прочихъ.

Къ вечеру поутихло. Тучи присмирѣло сгрудились, непрѣнимаемой толщѣй повисли надъ головой. Началѣ моросить — сперва одной только мокрой пылью, а потомъ посыпало и всерьѣз. Оркѣстранты, оставивъ лежать на живѣе инструменты, укрылись подъ застрѣхой обдерганной скирды.

Ужѣ в который разъ выходилъ дядѣ Саша на край пахоты, подолгу гляделъ в сторону большака, откуда потъ ужѣ два часа дожидались машины. Но кругѣмъ было глухо, какъ бывастъ только в осеннемъ пѣнастномъ полѣ.

— Ну что, старшой? — нетерпеливо окликали его оркестранты.

Дядя Саша молча возвращался к стогу.

— Небось самогон трескает, — заключил о шофере Пашка. — Это точно.

Ребята угрюмо дымили сигаретами. Было слышно, как в душной утробе скирды пищали и возлились мыши. Кто-то вспомнил, что сегодня наши играют на кубок с испанцами и что теперь не удастся посмотреть, потому что игру будут транслировать в семь, а уже начало седьмого.

— А у меня сегодня верная десятка гавкнула, — сказал альтовик Сохин, до самого подбородка обросший бакенбардами. — А то и побольше.

— А тебе куда? — поинтересовался Иван-бейный. — На «жмурика»?

— Ха, на «жмурика»... — Сохин брезгливо поморщился. — На «жмуриков» я уже давно не клюю. Это ты, поди, тройки там сшибаешь. На свадьбу в одно место приглашали.

— Свадьба — это дело, — согласился Иван. — Я быва-ал. Только играть помногу заставляют.

Иван-бейный припился выдергивать слежало запахшую солому, долго по-собачьи уминал ее, подтыкал под бока и наконец затих. Вскоре раздался его мерный храп.

— Гаммы проигрывает, — усмехнулся Ромка.

Дождь заметно прибавил прыти, зачастил по плащам, парни, подбирая под себя ноги, все теснее жались к скирде. Один Иван-бейный беспечно похрапывал, не замечая сырости. Откуда-то палетела стая грачей, густо усеяла небо и полетела гомопящей полосой на восток, к ночевкам, исчезая, растворяясь в серой кисее дождя. С пролетом грачей вечер окончательно загустел, близко обступил скирду сумерками, и оттого время потянулось еще тягучей. Пашка снял с себя свою куцую болонью, попробовал укрыться, но не улежал под нее, сырость и копившееся раздражение подняли его, он отшвырнул плащ и, как затравленный хорек, широкими зыркнул по сторонам.

— И на кой хрен надо было отдавать машину! — сплюнул он, яростно тряхнув за плечком рыжей всклокоченной головой. — Теперь вот припухай.

— Да, тут старшой переумудрил, — отозвался Сохин, неприязненно поглядывая, как дядя Саша назад-вперед прохаживается вдоль стога.

Остальные сдержанно помалкивали.

— Всего-то пару раз сыграли. Стоило ли переться в та-

кую даль! — продолжал распаляться Пашка. — Другого оркестра не могли пайти, что ли? Да теперь в каждом колхозе полно духачей. — Он рывком опять натянул на себя плащ, ткнулся головой в солому и уже из-под болоньи выкрикнул: — Небось старшой сам и напросился!

— Да помолчи ты, наконец! — оборвал его дядя Саша.

Сдерживая себя, он побрел к инструментам, тускло поблескивавшим в стерне. В сумерках едва не споткнулся о барабан, плащмя опрокинутый поодаль. На кожаной деке вокруг опорожненных бутылок мокли клочья газеты, яичная скорлупа, остатки недоеденной хамсы. Старшой весь закипел от гнева: хотя бы убрали за собой эту пакость, черт возьми. И, чувствуя, что уже не владеет собой, вдруг крикнул:

— Разобрать инструменты!

Парни, не поняв, что стряслось, затаенно остались лежать.

— Встать всем! — глухо проговорил дядя Саша, чувствуя, как немеют челюсти.

Музыканты, еще помедлив, нехотя завозились в соломе.

— А в чем дело, старшой? — с небрежной растяжкой осведомился Сохин. И, не получив ответа, пожал плечами. — Что это он, а?

Поеживаясь от дождя, на ходу вытряхивая из пиджаков и штатов полову, оркестранты понуро побрели разбирать трубы. Послышались раздраженные голоса:

— Чья альтауха?

— Да тихо ты, козел, валторву раздавишь. Смотреть надо!

— Заткнись!

— Иван, забрай свою перихонскую!

Дядя Саша, не дожидаясь, первым ступил на глыбистую, уже порядком промокшую папью. Оркестранты, увязая в раскисшей земле, вразнойой плелись следом. На проселке старшой остановился и, когда выбрались все остальные, скомандовал:

— По три разбери-сь!

Ребята недовольно запротестовали:

— А зачем? Что мы, новобранцы, что ли? Кому это нужно?

— Прекратить разговоры!

Порядок построения оркестра все знали хорошо: корпеты — вперед, за ними тенора, альты, басы... Но было непонятно, зачем идти строем, да еще в дождь.

— Да брось фасопить, старшой, — снова попробовал говорить Сохин. — Ну, чего ты?

— Стать в строй! — Голос дяди Саши звучал непривычно чужим и непреклонным.

— Ого! — отпрянул Сохин и с недоуменной усмешкой втиснулся между Курочкиным и Белибыным.

— Барабан здесь? — окликнул дядя Саша, оглядывая хмурые переминавшиеся оркестрантов.

— Здесь! — подал голос Сева из заднего ряда.

— Бейный бас?

— Ну, вот он я... — неохотно отозвался Иван.

— Шагом ар-рш! — Дядя Саша круто повернулся и зашагал вниз. — И не отставать!

Шли в отчужденном молчании, было только слышно ляпкое чавканье подошв на осклизлом проселке да бряцающие труб, задевавших друг друга. Иногда кто-нибудь чиркал спичкой и, застыя от дождя, закуривал на ходу. И только Пашка продолжал недовольно бубнить, попося шофера, дорогу, погоду и свою горькую судьбу.

— И куда мы? — с язвительностью спросил Сохин.

— Куда, куда! — сразу пыхнул Пашка. — С кудыкиной горы — в тартарары.

— Ясное дело: теперь до большака, — предположил Жора.

— Ничего себе! Километров десять! Ну, а там что?

— А там — на попутку.

— Плевать! — фыркнул Пашка. — Идем до первой деревни.

— А на работу? — с растерянностью спросил Курочкин. — Мне завтра в первую заступать.

— А это старшой отвечает. Наше дело телячье.

Склон был крут, ноги ступали будто в пустоту. По сторонам все выше дыбились горбы соседних холмов, и все меньше оставалось над головой тускло-серого неба. Угор нескончаемо сбежал и сбежал вниз, дорога уже едва различалась, и оркестранты, скользя и разъезжаясь погами, спускались будто в преисподнюю, сокрытую дождем и надвигавшейся темнотой.

Где-то ниже вдруг охватило подвальным холодом, дохнуло стоялой водой, жухлой осокой. Под погами зачавкала жижа.

— Все! Начерпал в корочки, — кисло объявил Пашка. — На той неделе тридцатку отдал, теперь хапа им.

— А ты ходи по камушкам, — усмехнулся Ромка.

— По каким камушкам? — окрысился Пашка. — Какие тут камушки — сплошное болото.

Дорогу обступили черные громады ракушек, под которыми

сразу стало темно, как в пещере. Дождь глухо шумел где-то высоко над головой, путаясь в чащобе веток, и лишь отдельные капли разреженно и тяжело колотили по спицам. Строй окончательнo рассыпался, оркестранты брели как попало, прощупывая места потверже. Под ногами захрустел скользкий хворост, должно быть, паваленный шоферами в топких колдобинах. Ветки пружинили, цеплялись за штаны, больно хлестались, из-под них при каждом шаге с хлопом выбрызгивалась грязь. Иван-бейный вместе со своим басом залетел в какую-то канаву и долго шуршал кустами, отыскивая кепку. Выбравшись на твердое, он стал уверять, что идут вовсе не туда, не по той дороге, и вообще зря стронулись с места.

— Вот увидите, запремся куда-нибудь,— ворчал он, деловито и неуклюже перепрыгивая по затонувшим следам.— Днем, когда ехали, никакого болота не было.

— Это точно! — алорадствовал Пашка.— Завел Сусанну! И чтоб я еще куда поехал! Мотал я такую самостоятельность! Дядя Саша остановился, подождал Пашку.

— Ты вот что, Павел,— сказал он, придерживая парня за рукав.— Возьми-ка у Севи барабан.

— А почему, спрашивается, я?

— Да потому, что у тебя одни тарелки.

— Пусть Курочкин несет, любимчик твой. С его мордой только барабан таскать.

— Нет, понесешь ты,— жестоко сказал дядя Саша.

— Все Павел да Павел,— передразнил Пашка.— Целый день придираешься.

— Ну, хорошо. Не возьмешь барабан — понесу я.

Пашка угрюмо молчал, пытаясь освободить рукав из крепко державших дяди Сашины пальцев. И вдруг заорал:

— Севка, паразит, давай свое грохало!

— Ладно, дядь Сах, я сам,— откликнулся Сева.— Мне еще не тяжело.

— Отдай, отдай! — строго настоял дядя Саша и, отпустив Пашку, пошел вперед.— Пусть понесет.

Пашка сорвал с подошедшего Севи барабан, сунул ему тарелки и, зло выматерившись, дал парнишке пинка.

— У, оглоеди!

Ребята гуськом проходили мимо Пашки, не ввязываясь в спор. А Пашка, усевшись на барабан, жадно курил и, когда все прошли, поплевался сзади, чтобы ни с кем не идти рядом.

Держась за хлипкие перильца, ощупью шли какой-то мосток, который то ли был, когда ехали сюда, то ли не был.

Накопец кончился ракитник, и постепенно начал угадываться подъем. Небо расширилось и, казалось, даже чуть посветлело. Все ожидали появления деревни. Но дорога, праз раскисшая, налившаяся водой по колеям и выбоинам, все тянулась куда-то с удручающей прямизной, все маячили надослышно телеграфные столбы в серой хляби меркнувшего неба, и ничего не было слышно, кроме дождя, хлеставшего по спинам и трубам. Парни нахохленно брели за дядей Сашей, уже не обходя ни луж, ни колдобин. Двенадцать пар башмаков, еще утром начищенных до щегольского сияния, пестройно и безразлично чавкали, осклизались, хлюпали в сметанновязкой жиже, и в этой беспорядочной толчее пог старшой улавливал скрытое недовольство самолюбивых, пичего еще не видевших мальчишек, почитавших себя на этом пути мучениками и жертвами несправедливости и произвола. В общем-то, конечно, получилось довольно нескладно, и дядя Саша испытывал неприятное чувство вины перед ними, но ведь должны же и они понимать то главное, ради чего он это сделал — отдал фронтовикам машину.

...В сорок третьем на запасного полка вывел он сотни три вот таких же зеленых, необстрелянных парней. И так же лили дожди и непролазны были дороги. Шли только почамми: остерегались авиации. К рассвету делали по тридцать-сорок километров. Тяжелые кирзачи, мокрые, разбухшие шипели, не успевающие просыхать за время коротких дневков, скудный паек и сон не вволю. Парни усыхали на глазах: осунулись, потемнели лицами. К концу недели засыпали на ходу: глядишь, идет, уронив голову, держится за соседа, как слепой. Несколько минут такого неодолимого забвения — и опять топает, месит нескончаемую грязь прифронтовой дороги. Последние тридцать верст уже не шли, а буквально домучивали. Помнится, как в рассветной мгле наконец завиднелась постройка пункта назначения. У всех билась одна мысль: дойти, свалиться и спать, спать — все равно где, на чем...

И вдруг конный посыльный: прибывшее поколение будет встречать сам командир полка. По колонне понеслось: «Подтянись! Разобраться по четыре! Оправить обмундирование!» На перекрестке в открытом «вилище» стоял старый усатый подполковник. Он поднял руку к забинтованной голове, отдал честь едва тапчившейся роте. «Поздравляю со вступлением в Действующую армию! — хрипло выкрикнул командир полка. — Всем присваиваю звание гвардейцев!» И в тот же миг за его спиной оркестр грянул веселый празд-

ничный марш: «Утро красит нежным светом...» Утро было хмурое, лохматое, в глинистых лужах пузырился осточертевший дождь. Попурье, забрызганные грязью солдаты как могли подровняли пестройные, разорванные шеренги, приподняли отяжелевшие головы, первые ряды даже попытались отбить строевым — так радостно, ободряюще гремела музыка, так звала она к чему-то прекрасному и необыкновенному! «Кипучая, могучая, никем не победимая!» — звонко, серебряно пели трубы, и рота, воспрянувшая и сливающаяся, вторила им тяжелым и грохотным шагом. «Хорошо идете, товарищи гвардейцы! — перекрывая оркестр, крикнул дрогнувший лицом старый подполковник. — Благодарю за службу, сынки!»

В то утро дневки не было. Роте выдали оружие и вручили приказ на новый тридцатиклометровый форсированный бросок. Тем же вечером дядя Саша подил их в первую контратаку. Прорвавшийся враг был остановлен, но многие из них тогда не вернулись...

— Подтяни-псь! — подбодрил парней дядя Саша, прислушиваясь к разреженным шагам на дороге.

На взгорке возле крайней избы старшей остановился. Сквозь перхлест дождя из окон бил яркий и ровный электрический свет, выхватывавший из темноты мокрый почерневший штaketник, за которым в палисаднике взалбел булькала переполненная кадка. Один по одному к избе молча подходили все остальные. Иван-бейный снял с плеча свою «перехопскую», опрокинул ратрубом книзу и вылил скопившуюся воду. Почувяв за воротами чужих, во дворе загремела цепью, заметалась собака. На ее хриплый, остервенелый брех в коридоре послышались плетающие шажки, гроыхнул деревянный засов, и в освещенных дверях появилась делушка в долгополом халате.

— Ой, кто это? — отпрянула она, увидев сверкавшие на свету трубы.

— Бремские музыканты, — нарочитым басом отозвался Гомка, всегда готовый потреться с девчатами.

— Ой, ничего я не знаю! Ма, а ма! — девушка убежала, бросив дверь открытой. — Ма, там пришли-и...

В распахнутом коридоре были видны клеенчатый конторский диван с высокой спинкой, лопушистый фикус, белые цинковые ведра на деревянной скамье. Серый кот клубком спал на лоскутном коврике, постланном у порога на чистом

крашеном полу. Потревоженный кот вытянул передние лапы в сладком зевке, поцарапал коврик и недоуменно уставился на незнакомых людей, столпившихся у крыльца.

Вышла жепщина, круглолицая, полнеющая, в теплом платке на плечах. Дядя Саша сказал, кто они и откуда.

— Ой, лихо, в такой-то проливень! — сочувственно ужаснулась она, выглядывая за порог. — Да что ж вы стоите! Проходите уж, чего зря мокнуть.

Оркестранты стали было складывать инструменты на свету под окнами, но хозяйка запротестовала:

— И музыку заносите. Пропасть не пропадет, а кто ж ее знает... Машина нечаянно колесами даедет или еще что... Чего ж бросать...

Ребята, пошмурыгав о траву туфлями, пообтрусив плащи, начали подниматься на крыльцо, сразу наполнив коридор запахом дождя и мокрой одежды. Кот предусмотрительно улизнул в кухню. Не зная, оставаться ли им здесь или можно войти в дом, парни неловко теснились, озираясь по сторонам.

— Проходите, проходите в горницу, — ободрила их жепщина. — Машина мимо пойдет, куда она не денется. По такой дороге не вот-то проскочит. Ее в доме будет слышать.

Поквадав в коридоре плащи и башмаки, ребята присмирело, гуськом прошли через кухню в горницу.

Возле кафельной грубки, спрятав руки за спину, стояли четыре девушки, пастороженно поглядывавшие на незваных гостей.

— Еще раз адрасьте, — вкрадчиво сказал Ромка. Подойдя к девушке, открывавшей им дверь, протянул руку топориком, представился:

— Рома.

Девушка пыхнула, некоторое время смущенно смотрела на Ромкину ладонь, наконец решившись пожать ее, тихо промолвила:

— Вера.

— Очень приятно! — удовлетворился Ромка и передал ладонь другой девушке: — Рома.

— Серафима, — охотно назвала себя другая девушка, в черном спортивном костюме.

— Рома.

— Надя.

— Рома.

— Ноппа.

— Очень, очень приятно. А это все моя охрана. — Ромка

повел рукой, указывая на обступивших оркестрантов. — Знаете, как поется: «Ох, рано встанет охрана!»

Девушки засмеялись. Неловкость первых минут была преодолена, и вот уже Ромка, подкладывая хворост в запывший костерок беседы, попытывался:

— Значит, все четверо — родные сестры?

— Ага, спамские близнецы, — подтвердила Серафима.

— Ясно.

— Бурачные побратимы, — уточнила Надя.

— А это уже неясно.

— Что ж тут неясного? Приехали в колхоза бурак копать.

— Значит, студенты! Так это вы в нас бураками кидались?

— Когда? — удивились девушки.

— Где? — спросил Ромка.

— Что — где? — переглянулись девчата.

— Это вы спрашиваете — где.

Девушки, наконец разгадав подвох, расхохотались.

Дядя Саша остался на кухне с хозяйкой, только что принесшей со двора ведро с прессованным углем.

Гремя совком, подбрасывая брикеты, мокро шипевшие на огне, она сетовала на дождь, которому можно было бы и повременить, поскольку в полях еще много свеклы. Ей-то дождя ничего, она работает под крышей, на ферме, а другим жепщинам теперь достанется: благо ли возиться с бураком по такой земле! Вот и девочки из города у нее квартируют, прислали на уборку. Та вон, в халатике, — ее дочь Вера, а остальные приезжие. Только вернулись с поля, едва успели умыться, переодеться, а завтра чуть свет опять идти. И Вера с ними ходит, оторвали от занятий. В этом году десятый копчает, класс ответственный, а тоже не посмотрели, отирали на бурак.

Говорила она охотно, с той гостеприимной приветливостью, которая неплохо усвоена безмужними деревенскими жепщинами.

— Да вот решила угольком протопить, просушить девчачью одежду, а то пришли, как гуща. Можно б и русскую печь затопить, девок теплом побаловать, да опасно — дымить начнет, столько времени нетопленная. Да теперь и редко кто топит печи, все больше плитками обходятся. Мешает хлопот. Это ж раньше сами хлеба пекли, да скотине всякого варева на каждый день. А теперь все это отпало. Думали даже сломать печку-то, в доме попросторнее, да как-то

рушить жалко, привыкли. Еще девочкой на ней сидела, уж годов, годов той печке!

— Дом-то вроде новый, — заметил дядя Саша, оглядывая ровный потолок и свежую матицу.

— Да домок-то, верно, новый, после войны ставленный, а печка старая, еще от той хаты. Это ж как немец спалил деревню, так одни печи и торчали. На нашей весь кирпич пулями да осколками попсечен, такие щербатины были! Потом, правда, глиной позамазали, а если обмазку колупнуть, так на ней, бедной, живого места не сыщешь. Она у нас геройская печка, хоть медаль цепляй, — улыбнулась хозяйка. — Жалко разорять теперь.

Из боковушки, опираясь о дверной косяк, выползла старуха в подшитых валенках, тихо, без интереса поздоровалась.

— Да вот, мам, про нашу ночь заговорили, — чуть громче обратилась к ней женщина. — Как ее пулями-то посеколо.

— А-а. — Старуха, придерживая одной рукой поясницу и опираясь о стол, медленно опустилась на табуретку. — Было, было, — она уже оживленней поглядела на нового человека.

— От печки все и пошло. Вся наша жизнь теперешняя. Как немец-то ушел, — сказала женщина с добродушной веселостью, — вылезли мы из погреба на свет божий, а света божьего и нет. От нашего двора — ни былиночки, ни поживочки, одна черная печка. Поглядела — а труба без крыши-то до того высокая, страшная! А окрест глянули — и деревни нету. Одна дорога. И поле — вот оно, совсем близко.

— Про щи скажи, Пелагеюшка, про щи, — напомнила старуха.

Женщина засмеялась:

— У нас щи перед тем в печи варились. Еще до пожара. Ну, сквырнули крышку-то, а там одна сажа.

Старуха улыбнулась слабо:

— Упарились.

— Ага... Ну дак что было делать, с чего начинать? Как жить? Стали мы нашу кормилицу плетнем оплетать да глиной плетень обмазывать. А сверху крышу из бурьяна наклали. Сарай не сарай, а затишок вроде вышел. С того и начали.

В кухню выскочила раскрасневшаяся Вера, хозяйкина дочь, спросила:

— Мама, можно яблок ребятам дать?

— Да разве жалко? — готова согласилась Пелагея. — Свои, не купленные. Сходи, доченька, набери.

Девушка вышла в сени и, воротясь, быстро прошла в горницу с решетом крупной, улежалой антоповки. Из комнаты тянуло сигаретным дымом, дядя Саша слышал, как Ромка, видать уже освоившись, трепался там всяку, и девчонки то и дело прыскали смехом.

— Может, и вы чего покупаете? — обернулась к дяде Саше хозяйка. — Весь-то день, поди, в поле играли. — И, не дожидаясь ответа, аасуетилась у полки, достала хлеб, из крышки налила молока в кружку, обтерла и поднесла гостю. — Оно бы лучше чего горяченького, да девчатки припли, все подобрали.

— Кушай, кушай, — попросила и старуха и, помолчав, спросила: — Это ж на каком поле играли, не расслышала я?

— Да вот там, за вашей деревней, — кивнул дядя Саша. — Как мосток перейти.

— Ага, ага...

— На заружкой позже, мама, — пояснила Пелагея.

— Ага, ага... На заружкой... — повторила за дочерью старуха. — Дак там-то дюже сильные бои были. Сколь недель бились: он — наших, а наши — его, он вот как палит, а наши не уступают. Коса на камень. Уж так изрыта пожня была, так пзрыта! А уж гранатов этих да всякого смертоубийства оставлено — как ребятишки убегут туды, аж сердце захоловет. Сколь покалечено беспонятных. Дикое поле сделалось, весны две не пахали, все, бывало, голодные собаки туды бегали.

Дядя Саша придвинул кружку, и, пока ел, обе женщины как-то вдруг смолкли и, пригорюнившись, с тихим влпманием, исподволь смотрели, как сидит он у них за столом, этот немолодой, усталый мужчина, как ест хлеб и прихлебывает молоко.

— Ох-хо-хо, — вздохнула каким-то своим думам старуха и темной рукой погладила на столе скатерку. А он, запивая хлеб молоком, чувствовал на себе их взгляды и думал, что, паверно, давно за этим столом не кормили мужчину и даппо, должно быть, живет в этом доме тоска по хозину.

Вера опять выбегала в сени с опорожненным решетом, и в горнице пессло гомолпал, наперебой хрустели яблоками.

— А чем расспытываться будем за такой сервце? — слышался голос Ромки.

— Да что вы! Ничего и не надо, — отвечала Вера. — Вы уж лучше сыграйте что-нибудь.

— Это всегда пожалуйста.

Старуха, склонив голову, некоторое время тугоухо прислушивалась к разговору в комнате, потом сказала:

— Наш Лексей тоже, бывало, на гармошке играл. Вот так же соберутся, и пу шуметь.

— Дак и Коля тоже играл, — живо заметила Пелагея.

— И Коля, и Коля... — согласно закивала старуха. — Коля тоже веселый был. Они оба веселые были.

— Сыновья? — спросил дядя Саша.

— Сыно-очки, сыно-очки, — опять закивала старуха. — Вот ее, Пелагеюшкины, братья. Принеси, Пелагея, карточки-то, покажь человеку.

Пелагея сходила в темную, без света, боковушку, вынесла небольшую рамку с фотографиями, окрашенную голубой масляной краской, так же как и цветные горшки на подоконнике, как рукомоиник в углу, и, на ходу протирая стекло переднимком, сказала звонительно:

— Висела в горнице, а Верка: сними да сними. Говорит, будто не вешают теперь всех заодно в одной рамке, не модно. Теперь, дескать, в альбомах надо держать. Ну, я взяла и сняла, перевесила к маме в темную.

Хозяйка поставила рамку на стол, прислонила к стене. Старуха, щурясь, напрягаясь лицом, потянулась к фотографиям:

— Я дак теперь и не различаю, который тут где. Это вот не Лексей ли? Ну-ка, Пелагея, ты зрячая.

— Это Коля с дружками. Еще в эмпезе снимались.

— Ага, ага... Дак а это кто же тогда, не пойму?

— И это тоже Коля. — И уже дяде Саше пояснила: — Коштных тут целых три карточки. Вот еще оп. С Василем. Это наш, деревенский. Они в одной части были. А Леша одна-разъединственная. Леша-то наш, вот оп. Как же ты, мама, забыла? Он всегда у нас с этого края был.

— Дак, может, переставили когда... — оправдывалась старуха. — А так, как же, помню... Лексей... сыночек...

Она дрожащими пальцами потрогала стекло в том месте, где была вставлена крошечная фотокарточка с уголком для печати. Дядя Саша и сам едва различил на ней уже слабые очертания лица, плохо пропечатанного каким-то фронтовым фотографом, погасшего от времени. На снимке просматривались одни только глаза да еще солдатская пилотка, косо сидевшая на стриженной голове. Вот-вот истают с этого кусочка бумаги последние человеческие черты, подернутся желтым налетом небытия. И дядя Саша подумал, что, должно быть, старуха мать, сама угасающая и полуслепая, уже

не обращается к этой карточке: она давно для нее блеклая пустота. И даже память, быть может, все труднее, все невернее воскрешает далекие, годами застывшие черты. И только верным остается материнское сердце.

— Лежеся-то помню... — как-то отрешенно, уйдя в себя, проговорила старуха. — Как же, первенец мой. Уже зубочки резались, а я все грудью баловала. Уж так прикужит, бывало... — Старуха провела по пустой ситцевой кофте и, наткнувшись на пуговицу, успокоила на ней мелко дрожащую руку.

— Ну, а это мы тут со Степой, — встревоженно метнув взгляд на мать, поспешно и даже весело сказала Пелагея. — Сразу как поженились. Это уже опосля войны. — Пелагея задержала тихий и грустный взгляд на фотографии, где она, простенько, на пробор причесанная девочка, радостно-настороженная, едва доставала до плеча строгого, уж и в летах мужичины. И уважительно, чуть дрогнувшим голосом, добавила: — Со своим Степаном Петровичем...

Она помолчала, предоставляя дяде Саше поглядеть на себя молодую и на своего Степана.

— Ну, а это все двоюродные да тетки. Весь папш боковой корень. Только папы нашего здесь нет. До войны как-то не успел сняться, а потом просили-просили, чтоб с фронта прислал, так и не дождался. Все есть, а его нету...

Хозяйка взяла со стола рамку, опять отнесла ее в темную боковушку и, воротясь, подытожила:

— Четверо легло из нашего дома. А по деревне так и по счесть.

— А четвертый кто же? — спросил дядя Саша. —

— А четвертый Степа мой. Мы с ним уже после войны поженились. Он-то до самой Германии дошел, а это потом смерть и его нашла, уже дома достала. Раны у него открылись. Перемогался, перемогался, лег в больницу, да больше и не вышел оттуда...

Лицо Пелагеи дернулось, и она быстро прошла к плите, высыпала из ведра остатки угля. Потом долго через конфорку шуровала кочергой, разгребала, уравнивала брикеты.

— Степа-то мой у себя лежит, ухоженный, — вздохнула она, не поворачиваясь от плиты. — И оградку мы ему поставили, и карточки подменяем. Я сразу десять штук увеличила, чтоб надолго хватило, пока сама жива. Да и так когда сходишь поплачешься, бабье дело... А уж как те мои родненькие лежат, и где они... Ездил я года два назад поискать папину могилку. Сообщили, будто под Великими Луками он. Ну, поехала. В военкомате даже район указали. Около стан-

ции Локни. И верно, стоят там памятники. Да и под которым паш-то? Великая слава, а кому — не написано. А может, и не под которым. Местные-то люди рассказывают, будто и теперь еще из ошмар да болот костяки достают... С тем и вернулась я... Ну, а Николай в морской армации служил. — Пелагея понизила голос: — Того и искать нечего... А Леша паш до сего дня без похоронной... Я раньше тоже ждала, да что ж теперь... Столько лет прошло... Одна мама все надеется..

Старуха ревниво прислушалась, потом подняла глаза в потолочный угол, выдохнула скорбный полусмехот:

— Ох, светлы мои батюшки! Ох, неприбранные лежат страдальцы наши!

— Что ты, мама! — испуганно возразила Пелагея. — Как так можно? Неприбранные! Выдумает тоже.

Дядя Саша молча курил, глядя на черные стекла ночного окна, по которым, подсвеченные из комнаты, косо чиркали трассирующие капли дождя. И опять ему привиделся тот неизвестный солдат на проволоке под дождем и пулями, спящими руками просившийся к земле. И как потом осыпался он из своей шинели костями и прахом... А старуха, утвердив обе руки на коленях, безмолвно сидела, уставившись в малиновое поддувало, сидела так, как, поверно, привыкла за долгие годы сидеть в терпеливом ожидании чуда.

В соседней горнице девочки опять стали просить Ромку сыграть что-нибудь:

— Ну чего вы, правда! Что вам, воздуху жалко, что ли?

— Шейк? Босса-пова? — небрежно кивнул Ромка.

— А играете? — обрадовались девушки.

— Спрашиваете!

— Ой, шейк, мальчики! Шейк!

— Ну как, братва, слабаем?

— Рванем!

— Ой, давайте, давайте! — студентки забили в ладоши.

На пороге кухни появился Ромка, по-хозяйски навалился на косяк, возбужденно сказал:

— Шеф, там девочки шейк просят сбавать. Как смотреть?

Дядя Саша даже не понял сразу, о чем говорил ему Ромка. Он не сразу оторвался от окна, посмотрел на него как-то невнятным взглядом и опять отвернулся. Ромка озадаченно помолчал и спросил уже потише, поспокойней:

— Дядь Саш? А дядь Саш? Поиграть можно?

Тут подала голос старуха, она уловила Ромкин вопрос и, тронув дядю Сашу за руку, тоже попросила:

— Сыграй, милый, сыграй. У нас прежде в дому завсегда весело было. Лексей музыку любил. Он гармошку и на фронт забрал. Я пу его укорять: Леша, сынок, куда ж ты пошу такую, помеху-то? Будет ли тебе там когда играть? А он смеется: сгодится, мам! сгодится. Ну, да он и там время отыщет, он такой... Дак и Коля тоже любил... Сыграй, милый, сыграй.

Дядя Сапа пристально взгляделся в старуху и услышал ее. В раздумье повернулся, посмотрел в попрошающие Ромкины глаза, сказал негромко:

— Давай, правда, сыграем, Роман.

И убежденно добавил, вставая:

— Несите-ка инструменты.

В комнате притихшие было ребята сразу загалдели, загремели стульями, живо вышли в сени за трубами. Подали в дяде Сапе его черный чехол, и он вслед за Пелагеей шагнул в горницу. И старуха приковыляла, села в сторонку к окошку. Девчата уже поспешно составляли к стене стол, стулья, освобождали место под танцы.

— Ты что ж, Спм, так и будешь в тренировочном костюме?

— А что? Шейк веды! Вон и Вера в халате.

— Я не буду, — замялась Вера. — Я по умю такке.

— Ну что ты! Чего тут уметь. Пойдем, пойдем, я тоже туфли падену.

И девушки скрылись за занавеской.

— А ты почему не взял инструмент? — Дядя Сапа покосился на Сохипа, в стороне желавшего яблоко.

— Да я лотапцую. Хватит вам и одного альта.

— Ты мне пужен как раз. Иди возьми.

Сохипо передернул плечами, недовольно вышел.

Ребята, каждый со своим инструментом, окружив старшего, изготовившись, поглядывали, как он распускал на чехле завязку, как не спеша обнажал свой прекрасный, сверкающий чистотой корнет. Делал он это, как никогда, торжественно, сосредоточенно, будто незрячий. Принаряженные девчата, сдержанно переговаривались, расселись возле Пелагеи, и та участливо осматривала их прически и платья.

Дядя Сапа постучал ногтем по корнету.

Трубы замерли в подготовке.

И, глядя вниз, на свои пальцы, что уже лежали на клавишах, выждав паузу, он объявил, разделяя слова:

— Шелец... Соната... номер... два.

Какое-то время оркестранты смутенно смотрели на стор-

шого, глазами, немотой своей как бы спрашиваючи: какая соната? при чем тут соната? Кто-то удивленно шепнул: «Чего это он?» Девчата тоже переглянулись. И только Пелагея, ничего не поняв, продолжала улыбаться и радостно ожидать музыки.

Дядя Саша опять постучал по трубе:

— Играем часть третью. Вы ее знаете.

— Ну знаем, конечно... — сдержанно кивнул за всех Ромка.

— Прошу повнимательнее.

Он еще раз отглядел оркестр.

— Начали!

И, все еще недоумевая, думая, что произошла ошибка, оркестранты с какой-то обреченной неизбежностью грянули сибемольный аккорд, низкий, тягучий, как глубинный подземный взрыв.

Пелагея, для которой слова «соната», «Шопен» означали просто музыку, а значит, и веселье, при первых звуках вдрогнула, как от удара. Она с растерянной улыбкой покосилась на старуху, но та лишь прикрыла глаза, положила одна на другую ревматические, сухие руки.

Дядя Саша кивком головы одобрил вступление и сделал знак повтора. Парни, все разом переведя дух и взяв чуть выше, уже уверенней, увлеченней повторили эти басовые вздохи меди. Ему было видно, как пристроившийся позади Иван-бейный старательно надувал щеки, вперив смятенный взгляд в какую-то одну далекую точку. Возле него маленький круглолицый Сева, давая отсчет тактам взмахами коло-тушки, отбивал тяжелую медленную поступь траурного марша. И Пашка с еще не просохшими после дождя вздеро-шенными волосами вторил Севе тарелками, которые всплескивались среди басов и баритонов тревожной медной звенью.

Звуки страдания тяжело бились, стонали в тесной горнице, ударялись о стены, в окопные, испуганно подрагивающие стекла.

Когда была проиграна басовая партия, вскинулись, сверкнув, сразу три корнета, наполнив комнату неутешным взры-дом.

Принаряженные девчата, потупив глаза, уставились на свои туфли, обмякла плечами и Пелагея, и только старуха, держа большие темные руки на коленях, сидела недвижно и прямо. Серое ее лицо, изрытое морщинами, оставалось спокойным, и можно было подумать, что она уснула под музыку и вовсе не слышит этого плача труб в ее бревенчатом

вдовьем дому. Но она слышала все и теперь, уйдя, отрешившись от других и от самой себя, затаенно и благостно выбирала эту скорбь и эту печаль раненой души неизвестного ей Шопена таким же израненным сердцем матери.

И дядя Саша вспомнил, что именно об этой великой сонате кто-то, тоже великий, сказал, что скорбь в ней не по одному только павшему герою. Боль такова, будто пали войны все до единого и остались лишь дети, женщины и священнослужители, горестно склонившие головы перед неисчислимыми жертвами...

И тут Вера, впучка, вдруг закрыв лицо руками, кинулась за занавеску.

Девушки тоже поднялись и одна по одной, ступая на носках, пошли к ней. И как проливается последний дождь при умытом солнце — уже без туч и тяжелых раскатов грома, — так и дядя Саша пошел мелодию на своем корнете в тихом сопутствии одних только теплор: без литавр, басов и барабанов.

Это было то высокое серебряное соло, что, успокаивая, звучало и нежно, и трепетно, и выплаканно, и просветленно.

Освободившись от игры, ребята — басы, баритоны — в немой завороченности следили за этим необыкновенным девичье-чистым пением дяди Сашиного корнета, звучавшим все тише и умпротвореннее. Печаль как бы истаявала, иссякала, и, когда она истончилась совсем, завершившись как бы легким вздохом и обратясь в тишину, дядя Саша отнял от губ мундштук. Бледный, вспотевший, он торопливо, потеряннополоз в карман за платком. Он почему-то не стал возвращаться к басовому началу, которое у Шопена повторялось в самом конце шествия. Видно, ему не хотелось заглушать свет этой успокаивающей и очищающей мелодии тяжелой аптафней.

И когда он утер лицо и не спеша, устало принялся зачехлять трубу, в горнице все еще молчали. Было только слышно, как изредка всхлипывала за ситцевой занавеской Вера.

Старуха наконец встала и, отстранив рукой Пелагею, которая кинулась было поддержать ее, поковыляла одна, шаркая подшитыми валенками.

— Ну, вот и ладно... — проговорила она. — Хорошо сыграли... Вот и проводили наших... Спасибо.

И, остановившись посередине горницы, перекрестилась в угол.

Оркестранты молча закуривали.

Они шли к большаку непроглядным ночным бездорожьем. Все так же сыпался и вызванивал на трубах холодный пивидный дождь, все так же вязли и разъезжались мокрые башмаки.

Проходили пабухшие водой низины, глухие распаханные поля, спящие деревни, откуда веяло палым садовым листом и редким дымком затухающих печей. Нигде уже не было ни оговька, и лишь недремные деревенские псы, потревоженные чавканьем ног на дороге, взახлеб брехали из глубины дворов.

Шли молча, сосредоточенно, перебрасывались редкими словами, и старшой слышал близко, сразу же за собой, тяжелое, упрямое дыхание строя.

Как тогда, в сорок третьем...

И дядя Саша, придерживая рукой разболевшееся, глухо ноющее сердце, что донимало его последние годы, громко подбодрил оркестр:

— Ничего, ребята, ничего. Скоро дотопаем...

СОДЕРЖАНИЕ

Во дни торжеств и бед пародных. <i>М. Алексеев</i>	5
<i>А. Толстой</i> . Русский характер	9
<i>М. Шолохов</i> . Судьба человека	16
<i>А. Твардовский</i> . Из утраченных записей	45
«Лявониха»	49
Мирной дед	53
В самой Германии	56
Кёнигсберг	59
У моря	62
<i>К. Федин</i> . Старшие и младшие	65
<i>Л. Соболев</i> . Батальон четверых	79
<i>В. Кожевников</i> . Март — апрель	88
<i>И. Грибачев</i> . День и две ночи	107
<i>К. Симонов</i> . Пехотинцы	124
<i>А. Платонов</i> . В сторону заката солнца	138
<i>В. Гроссман</i> . Жизнь	147
<i>Г. Николаева</i> . Гибель командарма	173
<i>Ю. Бондарев</i> . Незабываемое	200
<i>В. Богомолов</i> . Зося	211
<i>В. Астафьев</i> . Ясным ли днем	258
<i>Е. Носов</i> . Шопен, соната помер два	286

В35 Версты мужества. М., «Сов. Россия», 1975.

336 с. (Подвиг).

На обороте тит. л. сост. Н. И. Камбулов.

«Нет, не только во сне плачут покинутые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...»

Так кончается один из самых прекрасных рассказов о прошедшей войне, рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека».

Во имя того, чтобы не видели дети, как плачут мужчины и женщины, как гибнут близкие, как горят города, во имя этого наш народ принес неисчислимые жертвы и навсегда сохранил в памяти «ту войну». Память войны — это память о самопожертвовании и героизме, память о великом подвиге народа, отстоявшего мир от фашизма. Память войны — это наша прекрасная литература, запечатлевшая время, когда измерялась и выверялась нравственная сила народа и Советского государства, когда, как сказал наш удивительный и востыну народный поэт Твардовский, «по всей земле шел смертный бой не ради славы, ради жизни на земле».

В 70302—155
М—105(03)75 102—75

Р2

Составитель Николай Иванович Камбулов

ВЕРСТЫ МУЖЕСТВА

Редактор В. М. Курганова
Художник Н. Т. Дворников
Художественный редактор Г. И. Свукон
Технический редактор О. Ю. Ципшевская
Корректор Л. В. Копкина

Сдано в набор 13/1-74 г. Подписано к печати
22/1-75 г. Формат сум. 84×108¹/₂. Физ. печ. л.
10,5. Усл. печ. л. 17,64. Уч.-изд. л. 19,5. Изд.
инд. ЛХ-731. А08228. Тираж 75 000 экз. Цеп.
87 коп. в перепл. Бум. № 1.

Издательство «Советская Россия»,
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров
РСФСР по делам издательства, полиграфии и
книжной торговли, г. Электросталь Московской
области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ № 2488.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге
и пожелания присылать по адресу:
Москва, проезд Сапунова, 13/15,
издательство «Советская Россия».

БИБЛИОТЕКА ИСПИ

215098

Дорогие читатели!

Предлагаем вашему вниманию книгу,
удостоенную Государственной премии РСФСР
им. М. Горького

Анатолий Калпкин. Эхо войны. Возврата нет.

Повесть «Возврата нет» — о русской женщине, человеке большой души, с честью прошедшей через испытания, выпавшие на ее долю.

Повесть «Эхо войны» покоряет щедростью донской речи, истинным драматизмом, глубокими раздумьями над событиями эпохи. Две матери живут на страпцах повести: старая сельская учительница, воспитавшая двух сыновей, погибавших за Родиной, и кулацкая вдова, сыновья которой становятся предателями.